
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

XIX

НЬЮ-ИОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW

Под редакцией
М. М. КАРПОВИЧА

XIX

6-ой год издания

Н Ъ Ю - И О Р К

1948

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.,
417 Lafayette Street,
New York 3, N. Y.
Phone: GR 3-5536

О Г Л А В Л Е Н И Е :

Б. Зайцев. — Жуковский	5
Р. Гуль. — Конь рыжий	44
В. Яновский. — Американский опыт	89

С Т И Х И :

И. Бушман, Ю. Иваска, Ю. Одарченко, В. Смоленского	133
--	-----

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:

В. Маклаков. — Еретические мысли.	141
Ю. Денике. — Новая идеологическая политика.	165

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

В. Александрова. — Белинский и наша современность....	180
Б. Филиппов. — Николай Клюев.	191

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

Н. Тимашев. — Население послевоенной России.	200
Б. Николаевский. — Пораженчество 1941-1945 годов и ген. А. А. Власов.	211
В. Петров. — Из воспоминаний.	248
Г. Федотов. — Н. А. Бердяев-мыслитель	266
М. Вишняк. — Б. Э. Нольде.	279

БИБЛИОГРАФИЯ:

М.*Карпович. — Книга Д. Н. Шуба о Ленине.	290
А. Зак. — Книга Г. Ласки об Америке	292
М. Лазерсон. — D. Hecht, "Russian Radicals Look to America"	297
Г. Аронсон. — «Звездочеты с Босфора» А. Седых	301
В. Налбандов. — Письмо в редакцию	302
От редакции	304

ЖУКОВСКИЙ*)

(Главы из книги)

С ПРОТАСОВЫМИ

Старшая дочь Бунина, Авдотья Афанасьевна, еще в начале восьмидесятых годов вышла замуж за Алымова, начальника таможни в Кяхте — и уехала туда с ним. Выпросила у родителей разрешение взять с собой младшую сестру Екатерину, девочку лет двенадцати. Для чего отпустила эту Катю Мария Григорьевна за тридевять земель, из раздолья мишенского в алымовский сибирский дом? Возможно, и для того, чтобы девочка подрастающая не видала связи отца с Сальхою и не знала о ней.

Екатерина Афанасьевна, тогда еще Катя Бунина, попала в Сибирь совсем в другой мир. Сестра ее в замужестве не оказалась счастливой.* Детей не было, с мужем она жила неважно. Некий сумрак глухого севера лежит над отрочеством и юностью Екатерины Афанасьевны в доме Алымовых.

Дух жизни строже. Нет ни крепостных, ни разлива помещичьего, ни побочной семьи. Но в самой законной семье тоже нет свету и радости. И притом дикий, далекий край, одиночество, мечтательность...

Странно, но и волнующе подумать, что где-то в азиатских дебрях, близ Китая, русская девочка-девушка утешается и живет внутренне Жан Жаком Руссо. Нельзя сказать, чтобы в той полосе жизни своей была она религиозна церковно. Но, конечно, «религия души» в ней жила, направляясь по другому руслу. Евангелием ее оказалась «Новая Элоиза». Это была

*) См. 17-ую книгу «Нового Журнала».

Copyright 1948, by "New Review". All right reserved.

главная, если не единственная книга, которую она читала в доме начальника таможи кяхтинской. Знала ее чуть-ли не наизусть — рядом с ней и «Адель и Теодору» Жанлис. Видимо, много и в одиночестве думала, видела жизнь сестры незадачливую — и слагалась в девушку самостоятельную, замкнутую и крепкую. Несколько и суровую. Что надумала среди сибирских пихт и лиственниц, под музыкальное сопровождение Руссо, то уж и сделает. Сама себе владыка.

Так прожила она восемь лет и, наконец, с той-же сестрою Авдотьей, разошедшейся с мужем, в 1790 году возвратилась в Мишенское. Тут нашла много перемен. Мать с отцом помирилась, Афанасий Иваныч жил в большом доме, а не с Сальхой во флигеле. Сальха обратилась в тихую и степенную Елизавету Дементьевну. Кроме того, бегал кудрявый и милый мальчик Вася Жуковский, который тут-то и оказался ей братом. Она была старше его на четырнадцать лет. Он считал ее вроде тетушки, называя на вы — «Екатерина Афанасьевна». Она его — ты, Васенька. Ни она, ни он не подозревали, как свяжет их в дальнейшем судьба.

Через год Бунин скончался. Еще через год Екатерина Афанасьевна вышла замуж за Андрея Протасова, Орловского уездного предводителя дворянства.

Так что жизнь снова отдалила ее от Мишенского и мира Буниных. Новый мир вряд-ли ей был близок — Андрей Иваныч любил жить широко, шумно. Да и положение обязывало. Балы, обеды предводительские, открытый дом... — так полагалось. Но азартная игра в карты, предприятия спекулятивные, с надеждой вдруг стать миллионером, а в действительности разоряясь и залезая в долги — этого у предводителя дворянства могло и не быть. К несчастью для Екатерины Афанасьевны, у Андрея Иваныча как раз было.

Все это привело к тому, что он запутался, раззорился и умер. В страшный год Аустерлица (1805) она осталась вдовой с двумя девочками, Машей и Александрой, двенадцати и десяти лет. Долгов оказалась куча. По векселямросло вдвое и втрое против того, что было под них получено. Екатерина Афанасьев-

на все приняла. Долги — так платить. Не в ее духе увертываться, выворачиваться. Она стала распродавать имения. Скоро осталось одно Муратово, Орловской губернии. Но там не было господского дома — жить негде. Разумеется, недалеко Мишенское со всей широтой его жизни. Но повидимому, от своих она отошла сильно — да и правда, вся юность ее и ранняя зрелость прошли вне дома. Характер сдержанный, гордый, обязываться не хотела. Приняла решение устроиться хоть и скромно, но самостоятельно. Для этого наняла в Белеве небольшой дом и там с детьми поселилась.

Замкнутая и одинокая жизнь для нее не новость. В сибирском уединении, в чтении и размышлениях о важнейшем — религии, нравственности — выработался характер. Цельный, не без властности, он теперь и проявился.

В Белеве можно представить себе ее жизнь как полу-монашескую. Очень мало похоже на орловскую. Портрет показывает нам молодую Екатерину Афанасьевну женщиной видной, скорее изящной, одетой по моде того времени, нечто действенное и решительное в лице, очень привлекательное. Пусть небогатая теперь, но знатная барыня — этого нельзя скрыть. Живет спокойно, с достоинством. Много работает — отлично рисует, вышивает шелками и бисером целые картины по собственным рисункам. Воспитывает детей. К этому времени входит в русло религиозности православно-церковной, с некоторой внутренней прямолинейностью и честностью. Девочек ведет довольно строго, в духе церковном, сама ходит с ними аккуратно на богослужения.

Несомненно, была она на виду, пользовалась уважением и влиянием. Вот случай, рисующий и положение ее в Белеве, и характер.

В городе вспыхнул пожар, при сильном ветре. По тем временам средства тушения были ничтожны — две-три бочки с водой да какая-нибудь кишка. Огонь двигался, остановить его не удавалось. Он уже подбирался к церкви, под которой был сложен в подвалах порох, до трехсот пудов. «Порох надо убрать», заявила Екатерина Афанасьевна начальнику белевской

полиции. «У меня нет людей». «Как нет людей? А арестанты в остроге?»

Градоначальник не возражал, но видимо не оказался расторопным. Считал-ли он это ненужным, робел-ли чего, но сам за арестантов не взялся. Екатерине-же Афанасьевне действовать разрешил. По тем патриархальным, да еще провинциальным нравам не показалось странным, что вдова предводителя орловского явилась в тюрьму и вывела арестантов. Провела через город к церкви, еще державшейся. И наблюдала, как тащили они из подвалов мешки с порохом, бросали в Оку. Скоро занялась и сама церковь, сгорела.



Молодой «появившийся» поэт Жуковский был еще появившимся человеком-Жуковским. Он еще только слагался. Много было для него туманно, а хотелось ясности. Сил много, благодатных сил молодости. Напряжение их изливается в областях высших — вековые вопросы мучают и жизнь хочется создать достойно. Хочется и учиться и путешествовать, и завести семью. Есть планы поездки за границу с Мерзляковым, в Геттинген для университета. Есть думы и томления о Боге, вере — все надо выяснить и решить.

Тяготения религиозные проявились у него уже в детстве, во времена смерти Бунина, поцелуев херувима на царских вратах, позже через духовные гимны Штурма в Благородном Пансионе. Далее — переживание смерти Андрея Тургенева. Душа расположена. «Счастье — в вере в бессмертье». Это для юноши-Жуковского уже ясно, но самой веры, полной и настоящей, еще нет. Пантеистическое-же не удовлетворяет. За гробом он хочет с Андреем встретиться. Однако, если «по смерти душа, как духовный атом, отделенный от души всемирной, объемлющей все своею беспредельностью, должна к ней приобщиться и в нее кануть, как в океан капля, то какая утешительная мысль о будущем свидании может оживлять человека, разлученного смертью со своими любезными?»

Если только капля, то с Андреем не встретишься. Нужно

бессмертие личное. А это так трудно для разума, так трудно понять и так, кажется, невозможно представить себе... — это гораздо безумнее азиатской «капли». Да, он знает: религия необходима. «Она нужнее и действительней простой умственной философии; но только хочу; испытаю и увижу».

А пока-что — колебания. Им, оказывается, помогли и некоторые впечатления жизни: не все так розово было и в Мишенском. Он живо себе представляет, «какое блаженство должна давать прямая религия». Это в теории. А в действительности с ранних лет видел он христиан только по имени, не имевших понятия, как ему казалось, «о возвышенности чувств христианских». Чувства их и расходились «с правилами и словами». Так что закваска его христианская была кое-чем отравлена.

Но вот дружба цельна, трещин в ней никаких. В дружбе — стремление к добродетели, выход из одиночества и нередко тоски из милых приюточных мест, с детства знакомых. Пусть друзья далеко — Александр в Германии, Мерзляков в Москве, Блудов, Кайсаров тоже далеко, все-таки они и с ним, в духе и переживании. Может он чувствовать и одиночество свое, находят на него полосы упадка. Ничего не клеится и работать дома не хочется — все-таки есть кому написать и есть от кого получить ответ.

Жуковскому двадцать два года. Еще ничего по части сердца. (Смутное, очень беглое и сентиментальное увлечение в 1803 году М. Н. Свечиной — типа *amitié amoureuse* — не в счет). Никаких и Лаис, Дорид Пушкинской юности. Никак не коснулась его Афродита Пандемос. Тургенев Иван Сергеевич, вовсе не бурного темперамента, все-же с ранней юности прошел через крепостную распущенность. Жуковский был незаконным сыном, но у него самого не было незаконных детей. В этом юность его вообще такова, будто он подготавливался к монашеству.

Но, конечно, он к нему не готовился и оно было ему вполне чуждо. Напротив, много и серьезно думал о любви, семье. Представлял себе, несколько сентиментально, с прекраснующим и нежностью, желаемую жизнь: для заработка трудиться,

читать, заниматься садоводством, иметь верного друга или верную жену. «Спокойная, невинная жизнь». Занятия литературой. Любопытно еще в программе — и характерно для всего Жуковского: «удовольствие некоторых умеренных благодетелей» (этим будет заниматься всю жизнь, и даже «неумеренно»). Наконец, «счастье семьи, если она будет».

Это несколько вяло, но у Жуковского вообще голубая кровь, не в смысле барственности, а по отсутствию кипения жизненного. Это избавило его от многого тяжелого и грубого мужской юности. Мучеником пола он никогда не был, в этом его чистота, счастье и некоторый ангелический характер природы. Это-же и лишало той силы, которая дается стихией. Его лазурность есть одновременно и разреженность.

Он мечтал о любви и женщине, и семье — возвышенно и туманно. Судьба вела его так, как надо. В деревенском уединении были у него и некоторые знакомства приятные (например, сосед барон Черкасов, который нравился ему просвещенностью и умом). Но для сладостного излияния сердца все это неподходящее. А сердцу пора уж было изливаться.

**
*

В 1793 году, в самом начале бурь, надвинувшихся на Европу, в орловской глуши родилась у Екатерины Афанасьевны Протасовой дочь Маша. Через два года другая, Александра. Обе они возрастали в тишине и довольстве барства русского (разрушение Андрея Ивановича было не за горами, но девочки этого, разумеется, не чувствовали) были они разные, и по внешности, и по характерам. Старшую, Машу, изображения показывают миловидной и нежной, с не совсем правильным лицом в легких локонах, с большими глазами, слегка вздернутым носиком, тонкой шеей, выходящей из романтически-мягкого одеяния — нечто лилейное. Она тиха и послушна, очень религиозна, очень склонна к малым мира сего — бедным, больным, убогим. Русский скромный цветок, кашка полей российских. Александра другая. Эта — жизнь, резвость, легкий полет, гений движения. Собою красивее, веселей и открытей сестры, шаловливей. Вез-

де, где проносится — смех и забава, ее надо иногда и унять. Она может кататься верхом, грести в лодке, брить кошкам усы — последнее даже любит. Ее звонким голосом полон белевский дом.

В 1805 году Маше было двенадцать, Александре десять лет. Надо учиться, а средства скромны, это не Мишенское время старого Бунина.

Но вот оказалось, что все складывается правильно — учитель есть, совсем рядом, свой же близкий, Вася Жуковский, бескорыстный, бесплатный, поэт --- уже с некоторым именем. Екатерина Афанасьевна согласилась. Уроки начались.

Домик Жуковского в Белеве был уже готов. Но, видимо, он в нем не жил. Надо полагать, там поселилась мать его, Елизавета Дементьевна. Ему же удобнее было в Мишенском; из Мишенского он ходил пешком ежедневно за три версты в Белев на урок к Протасовым. Охотно видишь, в весенние, летние дни романтическую фигуру в плаще, может быть в шляпе широкополой, из под которой кольцами выются кудри, шагающую среди тульских полей к скромному домику в Белеве — там ждет строгая маменька и две тоненьких девочки.

Уроки скучная вещь. Но вот бывают-же и не скучные. Эти белевские были такими именно. Нельзя представить себе, чтобы для девочек приход ежедневный милого, ласкового учителя-юноши, юноши-поэта, который на полях плаща своего приносит в дом всю поэзию и природы, среди которой только что брел. и души русской — чтобы приход этот не был праздником. Это не пядь, не вышивание матери, не нянюшкино бормотание. Целый мир новый являлся, в очаровательном облике. Открывал он им и еще миры — прошлого и настоящего.

В теплом веянии дней майских, июньских девочки записывали гусиными перьями в ученические тетрадки выдержки из поэтов, историков, имена прославленных корифеев Европы. Можно-ли было быть невнимательной, не приготовить заданного?

Учитель учил их так, будто и им предстоял путь поэзии и литературы — нечто от своего Благородного Пансиона внес в

белевское преподавание. История, философия, изящная словесность. При том некоторая система (для «романтика» этого всегда типичная): утром история и сочинения. Вечером философия и литература. Понятия о натуре человека и логика. Теология и нравственность, грамматика, реторика, изучение поэтов, эстетика. Позже (уроки продолжались года три, девочки подрасли) — сравнительный литературный метод. Во всяком случае, в Белеве читали Шиллера и Бюргера, Гете, Шекспира. Трагедии Расина чередовались с Корнелем и Кребильоном, оды Горация с Державиным.

На уроках присутствовала и Екатерина Афанасьевна. Частью надзор, частью самообразование.

Девочки, быстро вытягиваясь в девушек, усердно, легко воспринимали. Юный учитель и сам обучался с ними. Он в то время еще не был силен в германской литературе, возрос на французской, и язык немецкий знал неблестяще. Все это совершенствовалось на глазах Екатерины Афанасьевны. Девочки делали успехи, учитель был ими доволен и они им довольны, но о чем Машенька мечтала оставаясь одна, ложась спать, или в звездную летнюю ночь глядя из окна девической своей комнаты в сторону Оки и Мишенского, куда ушел, в летнем сумраке Базиль со своею поэзией — этого мать не знала. Знала подушка, может быть немного сестра Саша. Но все это еще так неясно, и томно, и обольстительно. Не жизнь, а мечтательное преддверие жизни. Может быть, в чем-то эта скромная Маша-полевая кашка — предваряла и Таню Ларину, и Лизу Калитину.

В том-же роде и чувства «Базиля», — чем дальше, тем больше. Вот он сам говорит — ему слово: «Что со мной происходит? Грусть, волнение в душе, какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание! Можно-ли быть влюбленным в ребенка? Но в душе моей сделалась перемена в рассуждении ее! Третий день грустен, уныл! Отчего? Оттого, что она уехала! Ребенок! Но я себе ее представляю в будущем, в то время, когда возвращусь из путешествия, в бóльшем совершенстве».

Вряд-ли записывая угадывал что́ будет для него этот «ре-

бенок», с которым, когда вырастет она, мог-бы быть счастлив, — о жизни семейной, дружеской и возвышенной юный Жуковский уже думал по поводу Машеньки. Думал и о том, как мысли о ней будут оживлять его и «веселить» во время путешествия. Думал и о Екатерине Афанасьевне, ее отношении ко всему этому — и ничего не угадал: как мечтатель, прозорливостью вообще не отличался.

Сердце его возжигалось, но поэзия еще в ущербе: за весь 1805 год всего три стихотворения. Следующий, однако, 1806-й богаче. Писание идет разными пластами. Самый обширный — басни: Флориана, Лафонтэна. Усердно переводит их, печатает в том-же «Вестнике Европы», где появилось «Сельское кладбище». Это — скорее для заработка. Для большой литературы дает он очаровательную элегию «Ручей», нечто нежно-пейзажно-меланхолическое, полное легкости и музыки. Вдохновлено печалью прохождения и жизни, и того, что в ней особенно высоко: дружбы. («И где-же вы, друзья?..»). Это — мужское стихотворение, опять мелькает тень Андрея на фоне идеализированного приокского пейзажа, как бы и пропетого.

Ручей, вьющийся по светлому песку,
Как тихая твоя гармония приятна!...

.....

Тихая эта гармония проникает всю элегию, — «как тихо веянье зефира по водам» — может быть, именно она привлекла Чайковского. Слова знаменитого дуэта Лизы с подругою в «Пиковой даме» взяты отсюда:

Уж вечер... облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает...

«Легкозвонность» Жуковского принимает здесь оттенок зеркально-прозрачный, отблеск солнца вечеряющего от спокойных вод лежит на всем, всему сообщает прелесть, одухотворенность.

Не для «внешней» литературы еще один слой писания его,

отныне долго он будет сопутствовать, потаенно, по разным записочкам и альбомам явному ходу поэзии. Это мотив Машеньки, прославление белевской Беатриче. Вот он дарит ей, на 16-ое января, альбом стихов. В середине заглавного листа рисунок сепией: мужчина, женщина, холмик с вазой, деревня. Наверху надпись: «Памятник прямой дружбы». И затем, на обороте листа, четверостишие:

Да будущего мрак Тебя не устршит!
Мой друг бесценный, будь спокойна!
Душа Твоя чиста! Ты счастья достойна!
Тебя Всевышний наградит.

В летописи литературы не так значительно, в летописи сердца важно: первое звено цепи, его к ней и ее к нему приковавшей. Знала-ли уже об этом Екатерина Афанасьевна? Вряд-ли могла бы одобрить хоть и вовсе невинное и поэтическое, все-же возжигание чувств в полуробенке. А оно продолжается. Того-же октября 1806 года и другое стихотворение, ею-же вдохновленное («Младенцем быть душою...»), полное того-же лучеиспускания. За весь 1807 год всего одно четверостишие, но это еще ясней и ярче («М. при подарке книги»).

На новый год в воспоминанье
О том, кто всякий час мечтает о Тебе,
Кто счастье дней своих, кто радостей исканье
В Твоей лишь заключил, бесценный друг, судьбе!

Какое может быть уж тут сомненье? Маше скоро пятнадцать. Своего полу-дядю — наставника знает она слишком хорошо — иначе как всерьез ко всему в нем относиться не может. Обращая к ней эти стихи он, конечно, брал на себя ответственность. Но легкомыслия в этом не было.

— “L’amor che move il sole e l’altre stelle” — Любовь все движущая и его вела, давала право. Права на чувство он у Екатерины Афанасьевны не спрашивал. Но она, если бы знала об этом стихотворении, должна была бы ужаснуться.

А в то время ход жизни его вел к тому, что из белевских

краев предстояло удаляться. Звала литература. Точнее, в ней практическая деятельность. Он в деревне не мог больше оставаться. И уехал в Москву.

.....

.....

СНОВА ПРОТАСОВЫ

В 1808 году Жуковский уезжает в Москву, ему предложили быть редактором «Вестника Европы». Он проводит в Москве два года, много работая для журнала. Пишет и помещает в нем и стихи, и статьи. Но в 1810 году вновь возвращается в деревню, к тихой и созерцательной жизни, да и ближе к Протасовым. Эти же два года в Москве проходят у него под знаком «деятеля».

Екатерина Афанасьевна Белевом не удовлетворилась — решила перебраться в Муратово. Для этого пришлось строить там новый дом.

Не без удивления узнаешь, что Жуковский, из Москвы уже возвратившийся, не только изготавил план муратовского дома, но и взялся наблюдать за постройкой — вот, ему нравилось заниматься и такими делами.

Для себя-же купил небольшое имение рядом с Муратовым, некий поэтический Tusculum. Деньги — все то-же бунинское наследство, но и все очень скромное, как в Белеве: домик на берегу реки. Чистота, свет, порядок — любимые черты жизни для него. Много цветов. Перед окнами целые их террасы: ландыши, розы, тюльпаны, нарциссы. Все это сходит к реке «едва приметным склоном». Мельница «смиренна» шумит там колесами, вздымающими жемчужную пену.

Мелькает над рекой
Веселая купальня

— он сам так описывает в стихах свое жилье, разумеется, с условностью анакреонтической. Мило изображает швабского гуся, который домик свой

На острове, под ивой,
Меж дикою крапивой
Беспечно заложил.

Здесь поселяется Жуковский, один — вроде гуся этого, но «вблизи» кое-кого. Маша теперь совсем близко. Уроков он ей больше не дает, но, конечно, все с нею и связано, если-бы не она, никакого Тускулума бы не появилось, да и теперь он постоянно в Муратове.

Это не значит, конечно, что его жизнь беспорядочна или пуста. В Тускулуме своем непрерывно работает. Пишет сам, составляет антологию поэтическую «Сборник лучших русских стихотворений», занимается самообразованием. История увлекает его. Он вдруг убедился, что очень мало по этой части знает, выписывает чрез Ал. Тургенева книги, сидит над разными Гаттерерами, составляет хронологические таблицы, пишет конспекты по периодам историческим: начало того методического Жуковского, который впоследствии будет воспитывать Наследника. Этим всем хочет восполнить образование, сам считает его слишком поверхностным, в Тускулуме обучение свое полюбительски и продолжает. Берется за древность — латинский язык, чтобы в подлинниках читать поэтов. Но и тут недалеко уходит. С древними поэтами знакомство его окажется чрез переводы. Но не в древности, не в истории сила. Она в вечной стихии, вечно волнующей человека. Маша, «маткина душка», которую опекает сурово сибирская мать — вот она и рождает в нем «звуки небесные», подземно дает славу.

Имя где для Тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть Твою!
Лиры нет для Тебя!

Что песни? Отзыв неверный
Поздней молвы о Тебе!
Если-б сердце могло быть
Им слышно, каждое чувство
Было бы гимном Тебе!

Маша за сценой, смиренно невидима и неслышима. (Стихотворение это сохранила в своем портфеле. Нашли его после ее смерти, а напечатано оно после смерти Жуковского).

Он же живет полной, не вялой жизнью, в напряжении, творческом труде, огне любви. Позже об этой полосе своей скажет: «То была поэтическая жизнь и только тогда я был поэтом». Последнее, разумеется, неверно. Но что жил он в Тускулуме поэтически-пронзительно, сомнения нет.

Было некоторое метание: между творчеством и любовью. Какие-то противоположности, волны душевные, но размах их не мал и в столкновении сила.

Скучно не было. С внешней стороны жизнь не отшельническая. По тем временам даже разнообразная. Кроме Муратова ездит он в Чернь, имение нового своего приятеля Плещеева. Там ему очень хорошо — совсем по другому.

Плещеев богатый русский барин, натура художническая, одаренный любитель. Музыкант сам — играет на виолончели, сам сочиняет немного: По его нотам жена его, красавица Анна Ивановна (которую он называл почему-то «Нина»), поет отличным голосом романсы — среди них много на слова Жуковского: музыку писал муж.

К ним ездил Жуковский за сорок верст как домой. Там любили его, там он меньше стеснялся, чем с Екатериной Афанасьевной в Муратове. Дом Плещеевых — пышный, веселый наряд, украшение. Хозяева молодые, с артистическими чертами. Привет, широта, гостеприимство. Смуглый Плещеев с толстыми губами, черными кудрявыми волосами, сам развлекался и развлекал гостей. Праздники, увеселения. Домашний театр — сам писал и комедии, для опер сочинял музыку, всякие пантомимы, фарсы, конечно, не без Жуковского. Сам отлично чи-

тал, режиссировал, выступал на сцене со своими дворовыми актерами. Лицо его было некрасиво. Но что-то в нем чувствовалось милое, и в азарте сценического исполнения, в воодушевлении театральном он просто даже и трогал. Жуковский очень его любил (в письмах называл «черная рожа», «мой негр»), тот тоже любил его. Жуковский у них жил подолгу, как поэт при маленьком дворе, но как поэт-друг, а не прихлебатель. Тут он был на равной ноге, при неравном богатстве: уравнивалось тем, что для них он не просто Жуковский, а Жуковский-надежда, чистая восходящая звезда России.

Когда от них уезжал, то из Тускулума своего переписывался в стихах, сам писал по-русски, «негр» отвечал французскими стихами. (Все или почти все это было шуточное, вероятно. До нас ничего не дошло — дом в Черни сгорел, с ним и все, что Жуковского касалось. Но, конечно, пропало неважное. Важное сохранилось).

В это время он написал «Громобоя», романтическую поэму по повести Шписа «Двенадцать спящих дев».

«Громобой» как и «Людмила» — то писание Жуковского, которое теперь читается исторически. Есть отличные места, есть стихи, вошедшие в грамматику примерами, в общем же наивно, простодушно и полно ужасов не ужасающих.

Однако, чрез «Людмилу» и чрез «Громобоя» должен он был пройти. Если-б они пропали, как шуточные стихи Плещееву, в ткани литературного развития его оказался бы прорыв.

К Шиллеру он подходил долго и неуверенно, но как раз теперь встреча произошла внутренне: чрез него можно было сказать нечто и о себе. (В «Жалобе» это просто стон по «маткиной душке»).

Именно теперь некоторый кинжал пронзает ему сердце.

Маше семнадцать лет. Ему самому двадцать семь. Между ними уже все ясно, — в светлом и высоком духе. Дело идет к соединению жизней. Однако, не может быть речи о браке, пока не благословит мать.

Повидимому, первое объяснение Жуковского с Екатериной Афанасьевной произошло в 1810 году. Ссылаясь на близкое

родство, она заявила, что брак невозможен. В благословении отказала ему начисто.



Год рождения Маши (1793) был годом Вандеи, разгара французской революции. Ее раннее детство, как и юность Жуковского, проходили в гигантской Скифии, еще сумрачно помалкивавшей, защищенной лесами, равнинами, морозами.

Для европейского человека это страна царя и рабов. Запад кипел уже. Громы, паденья царств, молния Наполеона пронзали его. Россия все еще отсиживалась дома. Выпустила, правда, и свою молнию, мгновенно сверкнувшую и исчезнувшую — Суворова. Позже тоже посылала свои войска на Запад, медленно, на чужой земле начала проливать кровь своих сынов — и неудачно.

Гроза нарастала. Жизнь-же в России шла попрежнему. В Белеве, в Москве и в Муратове Жуковский писал стихи, Маша училась, молилась, мечтала о любви и наконец, полюбила, и весь тон, весь дух и цвет жизней их, мирных и поэтических, так далек был от надвигавшихся событий! Да и понимали-ли они в них что-нибудь? Маша читала и Гете и Шиллера, да и многое другое, о Наполеоне слышала, конечно, как о чуде, но вот именно в дали неизмеримой — в другом мире. Какое он имел отношение к ее жизни?

Жуковский был более ответствен и писатель, одно время и редактор. Но и он в этих делах не много смыслил.

«Знакомый с лирными струнами, напрячь он лука не умел». Ивику надлежало петь бесхитростные песни, возвеличивая любимую, меланхолически мечтая и тоскуя. Он так и поступал, однако и он, в 1806 году, когда Россия воевала еще на чужой земле — написал «Песнь барда», отклик на современность.

Но это еще все далеко, глухо. «Нас не касается» — Эйлау, Фридлянд, очень тягостно и кроваво, но где-то в Восточной Пруссии, там-же Тильзит, два молодых императора о чем-то сговариваются, празднуют, заключают мир — навсегда малень-

кий городок прославивший, но никакого мира в мир не принесший.

В то самое время, когда Жуковский помогал Екатерине Афанасьевне строить в Муратове дом, когда писал «Громобоя», просил руки Маши — тут-то для родины назревало. В 1811 г. людям, следившим за политикой, было уже ясно, что война неизбежна. И война страшная. За Наполеоном Европа, он действительно властелин, это борьба за Россию. Но Жуковский, даже когда занимался журналом, политики сторонился. Теперь, в Тускулуме, и того менее. 1811 год шел для него под знаком неудачи объяснения с Екатериной Афанасьевной — и еще печаль постигла его в месяце мае. Закончилась давняя, путанная, греховная — в общем-же приведшая не ко греху история с его собственным появлением на свет. Скончалась Марья Григорьевна Бунина, его воспитательница и образовательница, а чрез двенадцать дней и мать настоящая, Елизавета Дементьевна, некогда девочка Сальха из Бендер. Странно скрестились эти жизни. Началось с горя, прошло чрез рождение светлого дитяти, через примирение «соперниц», из которых одна — барыня, а другая — рабыня. Кончилось тем, что рабыня-соперница как-бы не смогла даже пережить смерти барыни — привязанность взаимная существовала между ними уже давно. 12 мая 1811 года скончалась Мария Григорьевна, 25-го мая того-же года — Елизавета Дементьевна.

Эти уходы по разному отзывались на Жуковском. Мария Григорьевна уже легенда, миф детства, величественное и далекое, с жизнью его теперешней мало соизмеримое. Нечто и благосклонное, но связанное с тяжелым в самом основном. Существо, к которому отчасти питал благодарность, отчасти боялся его, отчасти пред ним благоговел. Любил-ли просто, по-человечески?

В матери настоящей ничего жуткого, никакого смущения перед высшим, начальственным. Но и любви недостаточно — надо бы больше. Он и сам угрызался, а любовь не являлась. Можно быть и почтительным, и послушным, но... — «я люблю ее гораздо больше заочно чем вблизи». Это его томило. Чувств

к родителям по-настоящему не знал, ни к матери, ни (тем менее) к отцу. Прямо высказывал горечь, завидовал тем, в чьей жизни родители что-то значили.

Всетаки с этими женщинами уходило нечто от женского и дорогого.

Жил-же он настоящим. Настоящее это Муратово, Маша, и Александра, сестра ее, да и сама Екатерина Афанасьевна. К ним приростал он кровно.

Основное светило Маша. Но как раз к этому времени из младенчества переходит к юности и младшая сестра — Александра, та, что наполняла дом шутками и проказами, брила кошкам усы, хохотала, играла, пела.

Маша *Penseroва*, Саша *Allegro*, так он их называет. *Allegro* он очень любит, совсем по другому, чем Машу, она будет милым, домашним гением его, светлым видением, оживляющим все вокруг. Будет ему верным другом, поклонницей и переписчицей.

Разумеется, все о томлениях его с Машей ей известно. Это союзная и родная душа. Блеск жизни ее только еще начинается. И вот входит она уже в русскую литературу — более даже открыто, чем Маша (ее незачем скрывать). Ей посвящен был «Громобой» — с особым двенадцатистишием. Теперь появилась «Светлана». Это гораздо больше. «Светлану» он тоже ей посвящает, но тут связь с нею гораздо глубже, она сама как-бы Светлана, баллада ею вдохновлена. Саша Протасова живет в хореях этих, ее свежесть, ясность, жизнерадостность брызжет из каждого стиха, несмотря на «жуткие» сцены с завыванием метели, женихом-мертвецом.

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали,
За ворота башмачек,
Сняв с ноги, бросали.

Во всем легкий мороз, крепость, даже суховатость, редкая у Жуковского, и непобедимо-мажорный тон. Страшное только приснилось. Это не трагедия, как у Людмилы, а тяжкий сон пе-

ред зеркалом, в гаданьи видит его Светлана, мучась в разлуке с женихом, а с пробуждением ее, в том-же русском святочном морозе, с колокольчиком, сквозь туман и блеск солнца на снегу в санках подкатывает настоящий жених: вернулcя.

Ты, моя Светлана,
Будь Создатель ей покров!

.....

Будь вся жизнь ее светла
Будь веселость, как была,
Дней ее подруга.

Точно бы светлая стихия Светланы оказалась тут сильнее самого Жуковского. Он ей поддался и написал один из ранних шедевров своих, весь проникнутый свежестью ключа. «Светлана» — удача художника. Остро и сдержанно, немногословно и поэзия, порождено вдохновением и одето ризами неветшающими — чего большего может желать поэт? Самой Саше Протасовой дано как-бы новое крещение, в литературе. С этого времени входит она в жизнь Светланой: дала душу балладе, сама приняла отблеск прекрасного и светоносного имени, как бы еще ее возносящего.

А времена были грозны. Ночью комета блистала хвостом своим, «зверь из бездны», над которым не один Пьер Безухов ломал голову, собирал рать многоплеменную на самых уже границах России. Александр молчал. В молчании этом нельзя еще было разгадать будущего упорства, желания итти до конца. Гений действия, победы жег Наполеона. Гений охранения, сознания великих тайных сил страны владел Александром.

В начале лета 1812 года французские войска перешли Неман. Война началась.

Первое время она заключалась просто в движении войск на восток. Витебск в июле — решающая минута. Наполеон остановился. Мог-бы и зимовать, все наладить с продовольствием армии, ее устройством, ждать весны для похода на Москву, Все так и советовали. Поколебавшись, он двинулся дальше.

5-го августа был под Смоленском. С боем взял его. Можно думать, что Россия поражена страхом нашествия. Горестью и тревогой. Несомненно, все что близко было от смоленской дороги старалось бежать. Но немного в сторону — та-же глушь и ширь, годами налаженное мирное житие. Муратово Екатерины Афанасьевны в Волховском уезде Орловской губернии, Тускулум Жуковского, Чернь Плещеевых под ударами не находились — это южнее, в стороне, все-таки от Смоленска не более 200 верст. Тут все по прежнему. Война войной — жизнь жизнью. 3-го августа день рождения Анны Ивановны Плещеевой. По тем временам (тем движениям сведений) в Черни наверно не знали, что Смоленск уже в опасности. Война далеко, Бог с ней. Пока что — семейный праздник с угощениями, театром, танцами, чтением. Все муратовские барышни тут, другие — соседи, соседки, Жуковский из Тускулума своего.

Торжество проходило блестяще. В августовской ночи летели падающие звезды. «Негр» распоряжался, успевал всюду. Красавица-рожденница сияла. Рядом с фейерверком, в ее честь возносившимся, поэт устроил и свой собственный, к ней не имевший отношения: в этот день нашел подходящим прочесть свое стихотворение «Пловец». Плещеев написал к нему музыку, Жуковский собственно «пел».

Буря занесла «пловца» «в океан неисходимый». Мрак, бездна, ветры... Челн погибает. Пловец в отчаянии, совсем пал духом. Но «невидимой рукою, сквозь ревущие валы» Провидение ведет его и не дает погибнуть. Мрак вдруг исчезает и

Вижу райскую обитель,
В ней трех ангелов с небес...

Они его и спасают. Он-же ничего не хочет для себя.

Дай все блага им вкусить
Пусть им радость, мне — страданье
Но... не дай их пережить.

Что Маша была для него ангелом самоочевидно. Светлана-

Александра легким гением — понятно. Но Екатерина Афанасьевна? — Он ее очень почитал, частию души и любил, все же натяжка героична. Наверно, хотел тронуть, расположить. Действие получилось обратное. Екатерина Афанасьевна просто разгневалась — нет, это уж немножко слишком! Быть влюбленным в близкую родственницу — это его личное дело. Но на людях и прозрачно выставлять все, подчеркивать, вовлекать девушку в неосуществимые фантазии...

Бедный пловец. Объяснение вышло бурным. Известий о нем нет, но на другой день Жуковский должен был оставить Муратово... Она просто изгоняла его.

Надо думать, что еще раньше, в июле, когда обнародован был манифест о создании новых военных сил, Жуковский уже собирался на войну. Возможно, кому-нибудь в Москву и писал. Теперь же, во всяком случае, мгновенно собрался и вылетел из своего Тускулума — время самое подходящее.

12 августа он уже поручик Московского ополчения. Враг занял Вязьму и наступает на Можайск.

А в Орловской губернии Екатерина Афанасьевна, прежде чем отбыть с детьми в Муратово, объявила девицам Юшковым, племянницам своим, о любви Жуковского к Маше, его намерениях и о своем отказе.

Про Машу, конечно, они давно знали. «Базиля» обожали, все горой за него стояли и на тетку обрушились. Тотчас рассказали об этом Плещеевым (до Маши дошло все это позже через тех-же Плещеевых).

А Жуковский со своим ополчением выступил навстречу неприятелю. Дошли до самого Бородина.

Миловидный поручик с прекрасными мечтательными глазами провел ночь 25 августа лицом к лицу с Наполеоном в кустах, в резерве армии Кутузова. Ночь эта, перед сражением бородинским, была тиха, довольно холодна, небо в крупных звездах. Сначала раздавались единичные выстрелы (звук — точно рубят в лесу деревья), потом и это утихло. Заснули все, тишина неизмеримая. Только небо да звезды. Спал-ли поручик, и если нет, то о чем думал?

Утром грянула пушка, начался бой. Ополченцы стояли на левом фланге, неприятель напирал здесь всемерно, добиваясь прорыва. Фланг медленно гнулся в течение дня, но известно упорство войск русских под Бородиным: ни прорвать фронт, ни обойти французам не удалось. Ополченский резерв медленно отодвигали. В бой не вводили. Артиллерийскому-же обстрелу он подвергся — снаряды падали в его расположении.

Были потери.

Жуковскому участь князя Андрея не назначалась — не ходил он, взад-вперед, раздумывая над неразрешимым, ошмургивая сухую полынь, дожидаясь роковой бомбы, волчком перед ним взывшей. Но весь грохот боя слышал, облака дыма, к вечеру слившиеся в сплошную тучу, видел. Страду русского солдата пережил. Не так, разумеется, как толстовские герои. Зло и трагедии, малые или мировые — не его мир. Это от него отскакивало, никак не проникало, как и он в них не входил. Наполеон мог укладывать тысячи людей, ясности Жуковского не затмевал.

Ясность страшного дня затмилась ночью. Кончилось все в нищю. Но с этой ночи Жуковский со своими ополченцами и остатками армии неуклонно откатывался, отступая на Москву. Наполеон вскоре ее занял. А потом наступило затишье. Наполеон сидел в Москве, русская армия множилась и укреплялась. Жуковский успел слетать на несколько дней в родные края.

Очевидно, не так уж велик был разрыв с Екатериной Афанасьевной. Слишком эта семья своя. Слишком он врос в нее, чтобы из-за «Пловца» разойтись. Все-таки ему было предложено смирение — являлся он не победителем. Нелегко было, но явился: ибо здесь для него жизнь. И только здесь.

А Наполеон выступил из Москвы — в обратный путь. Напирая, тесня, мучая, двинулись за ним, так-же неотвратно, как отступали, русские преследующие войска. Жуковский укатил в армию — опять объяснения с Машей остались сзади. В Муратове Маша тосковала, он в раннем осеннем холоду шел за Наполеоном. На одном переходе случайная встреча: Андрей

Кайсаров, времена Университетского Пансиона, Дружеского Общества... — встреча имела последствия. Через брата своего, полковника Паисия Кайсарова, Андрей устроил его в штабе Кутузова.

У генерала Скобелева, квартиргера Кутузова, Жуковский писал приказы по войскам. Скобелев срывал даже успех его трудами, Кутузову нравилось красноречие скобелевских приказов и реляций. А тот не стеснялся Жуковским пользоваться. Так было и под Вязьмою, и под Красным.

Но это все еще не литература. Военная литература вторглась в этого неподходящего человека незадолго до Тарутина.

Жуковский написал теперь не канцелярскую бумагу возвышенного стиля, а произведение поэгическое, войной вдохновленное, вроде поэмы: «Певец в стане русских воинов».

Со стороны формы это удача. Несомненно, внесено новое. (Оссиановский мотив появлялся уже у Державина. Есть и тут он, все-таки от Державина очень далеко). Если надо кого-то воспевать и прославлять, то для 12-го года именно так и надлежало делать. Певец перебирает всех полководцев российских, начиная со Святослава, особенно напирает на современных. Чередую четырехстопный ямб с трехстопным, возглашает восхвалительные тосты. «Хор воинов» подхватывает последнее четверостишие, как бы «гремит славу» героям. Есть места блестящие. О родине сказано «навсегда» и с детства запало всем («Страна, где мы впервые вкусили сладость бытия...»), есть строки хрестоматийные, есть изобразительность и острота, как бы и неидущие к мечтательному поэту. Но нежное утро — вполне Жуковский, как и строка: «Есть жизнь и за могилой».

В целом-же это произведение «на случай». Нет самого в поэзии важного: бесцельности. Тут все имеет цель, все «нужно». Оттого шумно и смертно. Все для минуты и для дела. Отошла минута, дело отгремело и произведение увяло. Но пока дело шумит, и оно плод приносит. Не тот, не истинный, но для жизни удобный.

«Певец в стане» дал Жуковскому славу и открыл путь к трону, чего не могла сделать Маша «маткина-душка». Белевская Беатриче! С ней он безвестно изнывал-бы в Муратове. А теперь, одев блеском слова своего н у ж н о е в жизни, вступил на первую ступень лестницы, ведущей к орденам, дворцам, царям. Создатель лирики русской был связан с Машей. Будущий тайный советник Жуковский заключался уже, как в зерне, в этом «Певце в стане русских воинов».

Давний сочувственник его и покровитель Дмитриев поднес эти стихи Императрице Марии Федоровне. Ей они очень понравились. Она просила передать, что желала-бы иметь их написанными рукою автора — Жуковский, разумеется, и сделал это, приложив еще стихотворение «Мой слабый дар царица одобряет»...

В конце 1812 года «Певец» появляется в «Вестнике Европы», в январе 1813 года выходит отдельным изданием, а в мае того-же года, по желанию Императрицы, издание повторено. (В списках стихотворение ходило по всей России).

И все-таки военная поэзия, да и вообще «военное» — случайность в жизни Жуковского.

Некогда майор Постников возил мальчика Васеньку в Кексгольм, определяя в полк. Из этого ничего не вышло: он оказался в Благородном Пансионе. Теперь, в трагическую минуту России, на тяжелом повороте личной жизни кинулся он вновь туда, куда не надо. («Знакомый с лирными струнами, напрячь он лука не умел»). И вновь это лишь мелькнуло. Не только воевать, но и приказами, реляциями о сражениях не дано ему долго заниматься. Едва написав «Певца» и (после Красного) «Вождю победителей», Жуковский в Вильне заболевает. Тогда это называлось «горячкой». Было-ли у него воспаление легких, тяжелый грипп? Во всяком случае, нечто решительное и бурное. В декабре он оправился, но, очевидно, не настолько, чтобы в армии оставаться. Армия преследовала Наполеона, голодала и холодала. Ей предстояла еще борьба в Европе, Лейпциге, кампания во Франции, Париж. Ей нужны были не Жуковские.

Его отпустили с миром. 6-го января он возвратился уже домой.

.....

Дома было туманно и нелегко. Маша знала все от Плещеевых — да теперь и сам он не скрывал. «Пловец», внезапный отъезд в армию... — вряд-ли и тогда она не угадала. Теперь все было ясно. При чувствительности своей, нервной хрупкости и способности глубоко переживать, Маша трудно выносила этот год — даже хворала: вероятно, в нервном перенапряжении.

Жуковский чувствовал себя остро-возбужденно и непрочно. Сердечные дела в неясности. Решения не было, а должно было быть. Несмотря на резкую сцену в августе, не могла Екатерина Афанасьевна прервать все с ним, действительно удалить из Муратова. Для нее было в нем двойственное: и да и нет, и свой, близкий милый Базиль, с детства в доме произраставший полу-брат, и невозможный жених, смутитель покоя дочери (да и матери: не надо думать, что Екатерина Афанасьевна легко это переживала).

Ее взгляд был ясен: она з н а е т, что Базиль сын ее отца, степень родства его с Машей брака не допускает. Одно из двух: или скрыть от священника, что отец жениха Бунин, или священник венчать не станет. Она Машу любила (хоть и деспотически), и Базиля любила, но Церковь и закон выше. Церковь обманывать нельзя.

Жуковский церковным тогда не был (да в полной мере никогда и не стал). Упорство ее казалось ему странным, не-праведным. Формализмом — тем в быту христиан, что он праведно не принимал. Он близок к счастью, к радости великой и для себя и для прекрасного юного существа: ему препятствуют из законничества. На отношениях с Екатериной Афанасьевной это не могло не отражаться.

Так в колебаниях и волнениях, беспокойстве о здоровье Маши проходило время — 1813-й год. Литературе дал он, среди другого, два произведения значительных: «Тургеневу» («Друг,

отчего печален голос твой...») — полно́ меланхолии, чувства глубокого и чистого: невозвратимость ушедшего, милых друзей, кого нет больше. Давний облик Андрея, отца его Ивана Петровича, разуверенье в настоящем — это послание есть прямая летопись души. «Ивиковы журавли» более объективны. Все-таки в самом Ивике, «скромном друге богов» есть нечто знакомое. В его чистоте, простодушии, в смиренной закланности узнаётся весьма белевское.

Муратовский поэт безответен и нельзя сказать, чтобы был дальновиден. Вспомнив юные времена (Благородного Пансиона, Дружеского Общества), он вступает в переписку с прежним приятелем своим Воейковым, тем самым, в доме которого на Девичьем поле собирались некогда молодые поэты и мечтатели. Именно у него они

Святой союз любви торжествовали
И звоном чаш шум ветров заглушали.

Об этом Воейкове сохранились у Жуковского поэтические воспоминания. Он представлял его себе совсем не так, как надо было. И пригласил теперь в свои края, погостить и пожить. Воейков предложение принял — в конце 1813 года появился в Муратове.

ВОЕЙКОВ И ЖУКОВСКИЙ

Хромой, почти уродливый, гугливо говоривший человек вдруг появляется вблизи Жуковского, им-же самим приманенный. Воейков и писал, и воевал, и выйдя в отставку путешествовал по России. Ему хотелось посмотреть, понаблюдать. В нем была острота и язвительность, цинизм, но и сентиментальность. Весь он двойной — двуснастный. Мог оскорблять — и умиляться. Предавать и плакать, сочинять пасквили и каяться.

Обладал склонностью к сатире. Писал стихи, пользовался даже известностью. Влажной стихии поэзии, в которой плавал

Жуковский, в нем не было. Он Жуковскому льстил, как поэт, его не понимал и, вероятно, в душе над ним смеялся. Но вот попал под одну с ним кровлю.

Несмотря на нервность, напряжение этого года для Маши и Жуковского, в Муратове все еще жили весело — особенный блеск вносили Плещеевы. Воейков не скучал. Маша слишком тиха и задумчива, он сразу начал ухаживать за Александрой, младшею — Светланой Жуковского. Ей восемнадцать лет, она прелестна, весела, резва, шутница и проказница, бреет кошкам усы и обыгрывает в шахматы пленного французского офицера, у них с товарищем своим гостящего.

Новый Год очень весело встретили. В полночь поднялся в зале между колонн занавес. Там стоял Янус, двуликий бог, украшенный короною — свой-же дворовый изображал его. Одно лицо у него старое, другое — молодое. Жуковский, разумеется, сочинил стихи. Обратившись к молодежи в зале старым лицом, Янус декламировал:

Друзья, я восемьсот
Увы! тринадцатый
Весельем небогатый
И очень старый год.

Потом повернулся. Теперь лицо его юное. Он продолжает:

А брат, наследник мой,
Утешит вас приходом
И мир вам даст с собой.

На голове этого муратовского Януса прикреплена свеча. Строго ему наказано: если воск потечет и будет капать на темя, терпеть, терпеть... Неизвестно, потекла-ли. Во всяком случае, часы как раз пробили двенадцать. Господа начали чокаться шампанским. Янус, на кухне, освободившись от своих лиц и короны, хлопнул, разумеется, вволю российской водочки.

Воейков записал: «18,-1/1-14 г. встретил в Орловской губернии в селе Муратове в доме Катерины Афанасьевны Протасовой». Перечислив присутствовавших, добавляет: «Мне должно было быть очень весело в сем раю, обитаемом Ангелами, но... *Où peut on être mieux qu'au sein de sa famille?* и я иногда задумывался, даже грустил».

Таково время. Искренно или неискренно, без сентиментализма нельзя. Отчасти-же он и играл одинокого, бесприютного, тоскующего по семье скитальца, завоевывая девичье сердце, а еще важнее: располагая к себе мать-хозяйку и владычицу. Жуковский-же о его планах не подозревал. По наивности своей полагал, что именно ему, Жуковскому будет Воейков содействовать в сердечных его делах — собственно в том, чтобы переубедить Екатерину Афанасьевну и добиться согласия на брак с Машей.

Но это еще не сегодня, не завтра. Пока-же что широкая и беззаботная жизнь помещичья продолжается.

16 января Плещеевы отвечают праздником у себя — день рождения Анны Ивановны. «Негр» постарался. В Черни размеры всего оказались еще больше.

Утром отстояли обедню. Затем отправились в рошу, где Анну Ивановну встретила крепостная богиня и прочла у жертвенника стихотворное приветствие. Тут-же подали великолепный завтрак. (Надо думать, скорее закуску *à la fourchette*, стоя, и по преимуществу чокаясь). Прогулка по огромному парку — там заранее выстроен целый город, домики наполнены костюмированными пейзажами, есть даже рынок. Торговки раздают гостям сувениры, на память о дне рождения. В башне камера-обскура показывает портрет Анны Ивановны, вокруг нее пляшут живые амуры.

Днем, вероятно, карты, для молодежи *petits jeux*, вечером превосходный обед, а потом спектакль. Утренняя Феклуша или Дуняша, изображавшая богиню, выступала теперь в Филоктете Софокла, а затем «негр» сам смешил публику во французском фарсе. В заключение фейерверк. Плещеев называл жену почему-то Ниной («К Нине» и известное послание Жуковского).

В ее честь огненные буквы N сияли в парке. Но с этим вышло недоразумение. Война еще не кончилась. Только недавно был страшный Лейпциг. Некоторым из подвыпивших помещиков показалось, что буквы эти были в честь Наполеона... — Плещееву пришлось потом объясняться с губернатором.

Воейков во всем этом принимал участие — игры, шарады, писал девицам стихи в альбомы: отличная обстановка для ухаживания за Светланой. О 16-м января у Плещеевых записал (на полях сочинений Дмитриева): «Двойной праздник *fête de rois* и возврат Жуковского из армии в прошлом году. Меня выбрали в короли бобов. А. И. Плещеева пела Светлану с оркестром, потом Велизария, потом Клоссен играл русские песни на виолончели. За ужином все, кроме меня подпили; пито за здоровье Ангела-хранителя Жуковского, за любовь и дружбу, Горациянский ужин! благородное пьянство! изящные дурачества!

Среди этих изящных дурачеств и горациянских ужинов вряд-ли мог быть покоен Жуковский. Он писал разные шуточные стихи, много их посвящал Светлане, крестнице своей, но дело его с Машей не двигалось — время-же шло, он уже целый год дома. Надо что-то предпринимать.

31 января Воейков уехал на время в Петербург, по делам. Жуковский же собрался к Ивану Владимировичу Лопухину --- за поддержкой и укреплением. Если Лопухин брак одобрит, это может подействовать и на Катерину Афанасьевну.

Под Москвой, в роскошном Савинском, где на пруде был Юнгов остров, урна посвященная Фенелону и бюст Руссо, среди мира, тишины, книг, доживал свой век масон Лопухин, Иван Владимирович, друг покойного Ивана Петровича Тургенева, тоже гуманист, но и мистик, складки новиковского кружка. Его знал Жуковский с ранней юности. Встречал в доме Тургеневых. Как и к Ивану Петровичу, сохранил отношение благоговейное. К нему, как к могущественному союзнику, заступнику и некоему патриарху новозаветному решил совершить паломничество.

В феврале и отправился. Зима уже надламывалась. Время

к весне, погода отличная. Ехать далеко, но его несет легкая сила. «Весело было смотреть на ясное небо, которое было так-же прекрасно, как надежда». «Я не молился, но чувствовал, что Бог, скрытый за этим ясным небом, меня видел, и это чувство было сильнее всякой молитвы». Вот так и ехал, в тихой восторженности. Мечталось о прекрасной жизни с Машей, в любви и благообразии, благоговении и чистоте. В вечном благодарении Богу за счастье — и все это чрез Машу. «Так, ангел Маша, вера, источник всякого добра, осветитель всякого счастья!»

Все в ней, все через нее. Маша поднята на высоту Беатриче, Лауры, это уже полу-символ, не Дева-ли Радужных ворот Соловьева, Прекрасная Дама молодого Блока?

Это она освящает его, ведет к Богу. До этого у него были и сомнения, иногда даже противление религии — формальная сторона ее неблизка ему, то, что видел вокруг, не удовлетворяло. Нужна религия сердца. И вот чрез смиренную Машу, во всем детски матери покорную, открывается ему тайное сердце религии.

В таком настроении приехал он к Лопухину и провел несколько дней в этом Савинском — среди мудрости, тишины подмосковного патриаршего бытия. По замерзшему пруду ходил на поклон к Фенелону и Руссо, чистый вставал в чистоте февральских утр, открывал душу свою Ивану Владимировичу, в котором воплощалось теперь лучшее, что он знал в жизни: дух дома Тургеневского, память об Иване Петровиче, об ушедшем друге Андрее.

Лопухин вошел во все его сердечные затруднения. Соответственно религии сердца к делу подошел не со стороны канонических постановлений, а изнутри. На брак благословил. Обещал и поддержку у Екатерины Афанасьевны. Жуковский вполне мог считать, что поездка его имела успех.

Смысл ее во всяком случае велик. Он не столько в практическом, сколько во внутреннем. Это февральское путешествие по полям и лесам России, тайные и глубокие переживания пред

лицом Бога, все высоко-духовное настроение его не могло пройти даром. («Я говорил Отцу, который скрывался за этим светлым небом: «Ты готовишь мне счастье, Тебя достойное, и я клянусь сохранить его как залог милости, и не унижиться, чтобы не потерять на него права»).

Все это слагало Жуковского, делало его именно таким, каким вошел он впоследствии в Пантеон наш.

.....

Дело, из за которого Воейков уехал, было простое, житейское: хотел через Александра Тургенева получить в Дерпте кафедру русской литературы — и хлопотал об этом. Но и жениться собирался на Светлане. Жуковскому кажется это странным. Если Воейков полюбил, так на что ему Дерпт, профессорство... — сиди в милом Муратове, предавайся любви, счастью. Вот он пишет ему в Петербург: «Твои дела идут хорошо: говорят о Тебе, как о своем, списывают твои стихи в несколько рук».

«Ради Бога, скажи мне, на что может быть тебе нужно теперь твое профессорство?» Это имело бы еще смысл, если бы надежда на брак рухнула. Но как раз все наоборот. Неужели такая радость сидеть в Дерпте на службе и дожидаться надворного советника, когда ждет любовь?

Жуковский иногда и сам бывал жизненен, умел считать деньги, заботиться о заработке. Но тут стихия его поэтическая все затопляет. Он в пафосе прекраснодушия. Воейкова называет «брат» (словарь прежней чувствительности, времен Андрея Тургенева). Мечтает о каком-то идеальном содружестве — сожитии с тем-же Воейковым (очевидно, оба уже женаты на сестрах) — будут вместе трудиться, давать себе и другим счастье в любви, тишине и возвышенной жизни. На горизонте друзья — Вяземский, Батюшков, Уваров, Плещеев, Тургенев. «Министрами просвещения в нашей республике пусть будут Карамзин и Дмитриев и папою нашим Филарет».

У Воейкова, жениха и полу-профессора, будущего сочи-

нителя «Дома сумасшедших», такие письма вряд-ли вызывали благодушную усмешку. «Полоумный Жуковский!» Но вот он, Воейков, вовсе не такой, отлично знает, чего хочет, и своего добивается.

Александр Тургенев был в это время крупным чиновником. Вместе с Кавелиным кафедру Воейкову устроил. В Муратове воейковские дела тоже устраивались.

Полюбила-ли его Светлана? Трудно себе представить. И на нее, и на Машу Воейков по первому же разу впечатление произвел неважное. Но они обе жизненно еще дети. Близко знали всего лишь одного Базиля. Не по нем-ли и вообще о людях судили? А Воейков друг Базиля. Разве у Базиля может быть плохой друг? Маменька тоже к нему благоволит.

Воейков распускал хвост павлиний, писал восторженные стишки, изображал себя скитальцем и натурой загадочной, жаждающей, однако, брака тихого и светлого. Известное впечатление произвести мог. Несмотря на уродство свое, Светлану заговаривал.

Главное же, заговорил Екатерину Афанасьевну. Тут действовал сразу по нескольким линиям. Есть известие, что изобразил себя владельцем двух тысяч душ, доставившихся ему, якобы, от брата, раненого под Лейпцигом и скончавшегося. Богат, но несчастен, ибо одинок. И вот, наконец, встретил Ангелов. Они вернули его к жизни и т. п. При всем этом лесть и поклонение безмерные. Торжественное послание Екатерине Афанасьевне, тоже какое-то одурманивание ее, даже влияние умственное: нечто от разлагающего своего духа сумел он в нее вселить. (Выросшая в церковной строгости, Екатерина Афанасьевна, отказывается, например, под его влиянием, соблюдать посты). А для Воейкова власть — блаженство.

Многим он обделен. Ни славы, ни таланта, ни обаятельности Жуковского — пусть зато безраздельное владычество, хотя бы в семье одной. Из отлучки своей он возвращается победоносно. Кафедру получил. Правда, это и осложняет: переезд всех в Дерпт. Тем не менее он объявлен женихом — и тут

совсем уже ясным оказывается, что Жуковский в виде жениха Маши никак ему не интересен, скорее вреден. Он хочет царить в этой семье один, ничего ни с кем не деля.

Теперь видит Жуковский резкую разницу отношения к нему и Воейкову. С ним холодно, за Воейковым всячески ухаживают. Он жених. Свадьба назначена на июль — о чем Жуковский узнает стороной. Все это томит, волнует.

В конце апреля он вновь объясняется с Екатериной Афанасьевной о браке, бурно и неудачно. «Она сказала мне, что ей невозможно согласиться, потому что она видит тут беззаконие. Я отвечал ей, что ничего подобного тут не вижу, что я не родня ей, потому что закон, определяющий родство, не дал мне имени ее брата». Она отказала ему начисто. Замечательна при том двойственность положения: Жуковский считает Екатерину Афанасьевну формалисткой, законницей, не желающей уступить иоты, и сам находится на формальной почве. «Закон» не знает, что он сын Бунина, поэтому жениться можно — сам же он это знает («Я сын ее отца»).

Каковы были побуждения Екатерины Афанасьевны? Одноли сознание церковное ей руководило? Или хотелось для Маши более основательной партии? Мужа с именьями, крепостными? Жуковский, конечно, тяжело на нее негодовал. Он был чист, чистою душою рвался к счастью — своему и Машину. Счастье это отнимали.

От Жуковского идет линия осуждения Екатерины Афанасьевны. Сочувствие на его стороне, бесспорно. Тяжелого чувства к ней преодолеть нельзя. Все-же дело со сватовством этим сложно, обоюдоостро и «по-своему» в чем-то была права Екатерина Афанасьевна. (На обман священника не шла. Может быть, следовало хлопотать в Синоде. Разрешили-бы? Но этого она и не пробовала сделать!). Во всяком случае, ей самой все это нелегко обходилось. «Изъяснение с ним стоило мне опять двух пароксизмов лихорадки».

Так писала она верному другу Жуковского, той недавно овдовевшей Авдотье Петровне Киреевской, которая еще девоч-

кой, Дуней Юшковой, называла Базиля «Юпитером моего сердца». Эта юная, пламенная женщина, — портрет показывает ее задорную, очаровательную головку с полу-мужской прической — она-то и умоляла Екатерину Афанасьевну согласиться на брак. Предлагала, если тут есть грех, взять его на себя — она пойдет в монастырь, отмаливать.

Но характер Екатерины Афанасьевны упрям, чтобы не сказать упрям. Суровая юность сибирская, властное управление детьми во вдовстве — ни «Базиль», ни Дуня Киреевская, ни другие племянницы, не могли ее сломить. Намерение на счет монастыря с ужасом она отвергает, но с позиции своей не сдвигается. Маша верна себе: матери о Базиле все сказала, но воли своей нет. Как маменька скажет, так пусть и будет, и все так должно произойти, чтобы не нарушить маменькина спокойствия. Можно подумать, что Маша вообще тут не при чем. Она может плакать, сохнуть — все это втайне и не важно: только бы маменька была довольна.

Жуковский же после объяснения вновь из Муратова изгнан — пока не вернется Воейков. Весь май он скитается где-то вблизи — в Черни у Плещеевых, в Долбине у Юшковых. Горе для него этот май. То кажется ему, что еще можно бороться: Лопухин напишет, Владыка Досифей Орловский разрешит: его хорошо знает друг Тургенев. Наконец, Воейков возвратится, повлияет.

А потом другое: нет, надо все принять, смириться. От своего счастья отречься, только о Маше думать, ее спокойствию, остаться братом, сестрой, с любовью надзвездной. «Разве мы с Машей не на одной земле и не под одним отеческим правлением?» Бог-то их всех выше, Он и устроит во славу любви-дружбы.

До нас дошли тетрадки, в шестнадцатую долю листа, в синей бумаге: письма-дневники Жуковского и Маши — безмолвный, трогательно-нежный диалог. 21 июня передает он ей свой дневник за май. В нем ничего не записано, а письмо объясняет почему: слишком трудно было преодолеть мрак. «Пу-

стота в сердце, непривязанность к жизни, чувство усталости — и вот все. Можно-ли было бы об этом писать? Рука не могла взяться за перо. Словом, земная жизнь была смерть заживо».

Но вот теперь, в Муратове, в конце июня, с ним происходит странное. Он пишет письмо Марии Николаевне Свечиной (тоже родственнице, но не стороннице брака). Начало письма мрачное, «и мысли и чувства были черные». Вдруг останавливается: «будто свет озарил мое сердце и взгляд на жизнь совсем переменялся». В некой восторженности он встает, не докончив письма, идет в залу искать платка. Там Машу встречает. Она подает ему изломанное кольцо. Он дает ей свое. Все как-бы в полусне, сомнамбулически. Но нечто случилось, оба понимают, что произошло важнейшее: поменялись кольцами, обручились на новое, возвышенно-прекрасное, но в земном плане безнадежное. Кольцо даже не им дано ей, и не ею ему. Промысел ведет их высшим — пусть сейчас и горестным путем...

.....

В конце июня, в начале июля, скитается Жуковский близ Орла. Едет вслед за Протасовыми, останавливается там-же, где только что они ночевали. Маша ведет его за собой.

В Куликовке под Орлом, только печалью его и отмеченной, на постоялом дворе сидел на том-же месте, «где ты сидела, мой милый друг, и воображал тебя». Хозяйка знала, что одна из барышень этой госпожи, что останавливалась у ней, выходит замуж. Жуковский уверил ее (да на мгновенье и сам, может, поверил), что жених именно он, но не младшей, а старшей дочери.

«Вчера, подъезжая к Мценску, я смотрел на рошу, которая растет близ дороги; погода была тихая и роща была покрыта прекрасным сиянием заходящего солнца». Вот рамка горя. Оно принимает оттенок просветительно-мечтательный. Оно все-таки не безисходно, ибо за ним возвышение души, ее возношение все той-же Машей. Все для нее. Для ее счастья и радости должен он жить — это и укрепляет. О, разумеется, не всегда. Путь еще долог, труден.

Мир, тишину русского вечера деревенского он вкусил в каких-то Сорочьих Кустах. В Разбегаевке не остановился, видел, однако, там двор, «тут ночевала Маша с матерью».

«Около меня бегают три забавных мальчишка, хозяйские дети. Я перекупил у них землянику, за которую они предлагали грош, а я дал пятак. Надобно было видеть их гордость, когда они торговались, и смирение, когда торг не состоялся». Но, конечно, он их и утешил: пятак дал, а землянику вернул, между ними же и разделил. (Очень ему подходящи дети эти. Только ему, как взрослому, смиряться приходится не из-за гроша и пятака).

В Губкине лежит в сарае, в санях — на сене. Читает Виланда “*Diogenes von Sinope*”, «и часто прерываю чтение, чтобы думать о Тебе. Гулял и по кладбищу — даже и срисовал его».

Далее философствует. Провидение «располагает случаями жизни, располагает их к лучшему и человеку говорит: действуй согласно со мною и верь моему содействию. Что бы ни было, мой друг, но мы должны смотреть на все, что ни встречается с нами, как на предлагаемый нам способ с выше приобрести лучшее. Надобно только верить».

Побывал он в летнем своем блуждании и в Орле, и у Павла Протасова, дяди муратовских барышень. (Тот его подбодрял, в деле брака сочувствовал).

В конце-же концов 9-го июля оказался в Муратове. Что Екатерина Афанасьевна приветствовала брак Воейкова со Светланой еще понятно. Гораздо удивительней — Маша и Жуковский одобряли его. Оба искренне, глубоко любили Светлану, оба толкали ее на несчастный шаг. Оба поняли поздно и калялись в пустой след. У обоих ошибка, повидимому, шла от неверной оценки Воейкова — вина Жуковского больше. Со своим голубым туманом в глазах он и накануне свадьбы мог еще обнимать Воейкова, целовать его и плакать, давать «слово в братстве». — Братство! Все тургеневско-кайсаровское еще владело им. Сладостные слова мешали видеть.

Что-же сказать о Маше, которая вся была в возвышенных

книгах, религии, смирении и на все смотрела глазами Базиля?

Из-за безденежья свадьбу не раз откладывали. Наконец Жуковский продал именье свое и все отдал Светлане в приданое — денег не пожалел (жизнь его вся под этим знаком: ему Бог посылает сколько надо и он раздает тоже сколько надо).

14-го июля Светлану с Воейковым обвенчали. Жуковский присутствовал, конечно. В церкви вдруг грусть напала на него. Зашемило в душе. Не уголок-ли будущего проглянул сквозь торжество таинства? «Мне казалось сомнительным ее счастье, сердце мое было стеснено и никогда так не поразили меня слова «Отче наш» и вся эта молитва».

Для него самого эта свадьба тоже была переломом. К сердечным его делам будто и не имела отношения, все-же нечто определила. В Муратове он не остался. Уехал к Авдотье Киреевской, в милое Долбино, Екатерине-же Афанасьевне написал длинное и возвышенное письмо. В нем закрепляется новое его положение: теперь разговора о браке нет. Привязанность к Маше он сохранит навсегда. Счастья быть для него не может, жить надо и без счастья. Он так и надеется. Маша как была ему другом, так и останется и навсегда будет его благодетельницей, как и была. С Екатериной Афанасьевной он, может быть, скоро увидится. Но с семьей ее и Муратовым, «моим настоящим отечеством», растается навсегда.

Осень проводит в Долбине, под Лихвином. Там дети Киреевской, там над бюро у него висит «милый ангел» и в «шифоньере» Машины волосы, рядом-же хозяйкина печатка с вырезанным на ней четверолистником. Тут он — хоть и путник сейчас, как всегда в жизни — но дому истинный друг и поэт. Авдотья Киреевская его не выдаст.

Долбина этого никто-бы не знал, еслиб не тут изживал горести сердца своего Жуковский.

Здесь много писал. Золотая, одинокая осень в старинном доме, с уютом, любовью семьи, прогулками по пустеющим полям, лесам звонким, отдающим охотничий рог и гон гончих...

— чем не поэзия и благодать?. Одного нет, очень важного: счастья. Маша вдали.

Но не зря вел он годами ее в духе религии и искусства. Теперь, в горький для нее час, она свое горе принимает с великим смирением, а его тихо, упорно толкает к творчеству. Да, он поэт. Пусть идет горным путем. “*Tu me promettera de t’occuper beaucoup. Basile, tes compositions feront ma gloire et mon bonheur.*” Ее мучило, что истории с ней отвлекали его от искусства. Но вот теперь да не будет так. Он свободен и одинок — все для поэзии.

На него призыв действовал животворяще. Да вообще горе животворило, не подавляло. То, чего Маша хотела от него, получалось: никогда столько он не писал, как в осенние эти месяцы в Долбине.

И тотчас проступает в нем всегдашняя любовь к порядку, расписаниям. Надо приобрести полное понятие о религии — для этого чтение Священного Писания, книг моралистов, размышления, заметки. Но и непрестанные упражнения в прозе («каждый день две или три страницы»). Стихи тоже обязательно. В том-же роде распоряжения и для самой Маши — чтобы она жила если не художнической, то духовно-нравственной жизнью.

В половине сентября особенное обстоятельство его подбодрило: Екатерина Афанасьевна согласилась, чтобы он поехал с ними в Дерпт (куда назначен Воейков). Только поехал! В качестве просто друга. Но теперь она ему доверяет и не опасается. Как скромн он, как мало избалован! Чуть не счастьем кажется ему и это. И всегда, всегда завет Маши — писать.

Литературе осень в Долбине, напряженная, со сменой воодушевления и тоски, вся в остроте, на высоких нотах, дала много. Никогда столько он не писал. Исполнял-ли расписание свое или не исполнял, но как раз тут дал ряд произведений, и довольно крупных, первой линии. «Ахилл», «Варвик», «Эльвина и Эдвин», «Алина и Альсим», «Эолова арфа», «Теон и Эсхин».

Пронзителен для него мотив разлуки. Всюду проходит он теперь. Два сердца влекутся друг к другу — их разлучают. Смерть, веяние красоты и поэзии, стон арфы Арминиевой, повешенной певцом на дереве — этим питается сейчас писание Жуковского. Над «Золотой арфой» пролито было читателями море слез — плакать или не плакать зависит от характера, но баллада настолько, действительно, трогательна, так «легкозвонна», певуча, нежна и духовна, написана такими блестяще-перемежающимися строками разного размера, что и сейчас вся поет и вся говорит во славу вечной, неумирающей любви.

«Теон и Эсхин» не менее знаменит. Может быть, даже более. Это спокойнее, не так рыдательно, дальше от ткани жизни тогдашнего Жуковского, но источник все тот-же. Примирение, приятие жизни — со всеми горестями ее: для Жуковского тема основная. Зрелым художником зрело выраженная, как с детства и навсегда засели в нас прославленные стихи:

И скорбь о погибшем не есть-ли, Эсхин,
Обет неизменной надежды
Что где-то в знакомой, но тайной стране
Погибшее нам возвратится?

«Для сердца прошедшее вечно» — заповедь эта проходит чрез всю его жизнь. Осень-же долбинская и написанное в ней (под благорасположением Дуни Киреевской, истинного друга) есть истинное подтверждение того, как для художника полезна скорбь. Высота изживания скорби у Жуковского особенная: ни с кем несравнимая.

Богатство-же природы в том еще проявилось, что рядом с «Золотой арфой» написал он в Долбине и кучу стихов шуточных, для альбомов, писем — разное умещалось в нем одновременно (как бы жило в слоях души на разной глубине).

Он вступил теперь в самую острую полосу бытия своего художнического, как и в самую значительную полосу жизни. Странно связалось это с Воейковым. И замечательно разнство-вание судеб.

Воейков получил кафедру, уезжал в Дерпт с молодой и блистательною женой. Все ему удавалось. В семье он считался божком, в Дерпте должен основать прочное и устроенное гнездо.

Жуковский после ряда просьб отброшен презрительно, не без унизости. Временами ему запрещается даже бывать в доме, который для него все. Близкие его уезжают в Дерпт. Он деревню свою для них продал. Отнята надежда на брак и счастье; он бездомен; куда ему, собственно, преклонить голову, кроме как — временно — к Долбину. Он разбит по всей линии.

Победитель — Воейков, Жуковский — побежденный. Из них один пойдет под гору, во тьму и сень смертну, другой «из глубины возвах» будет восходить чистою и прекрасной стезей.

Бор. Зайцев

КОНЬ РЫЖИЙ*)

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

I

Неизвестный юнкер распахнул высокое красивое окно, в него врывается шум крушения Киева, ржанье лошадей, перекаты выстрелов и украинские крики «слава»! Это Киев, взятый Петлюрой. Это было, конечно, безумно; в разгар всероссийской гражданской войны пытаться уйти с полей междуусобицы. Но уехав с Дона, я пытался стать в сторону; заняться под Киевом сельским хозяйством. И вот в числе трех тысяч, сдавшихся Петлюре, офицеров и солдат я сижу арестованный в Киевском Педагогическом Музее.

У меня, пензяка, нет никакого касательства к Украине. Но как все офицеры и я был мобилизован гетманом. Мы сражались на подступах к Киеву с сичевиками и гайдамаками; были убитые, раненые, зарубленные сонными в хатах у крестьян, сочувствовавших Петлюре. Теперь Петлюра въехал на Крещатик и ему поднесли шашку свежерасстреленного генерала графа Келлера. А мы, сдавшиеся ему, сидим в музее, в ожидании судьбы и хорошо знаем, что в революцию люди уничтожаются оптом.

По вестибюлю тяжело ходит задыхающийся русский генерал, ждет вступить в переговоры с победителями. Отовсюду накатывается стрельба. Вот совсем близко раздались азиатские крики и с лохмами, выбившихся из-под папахи волос, весь ограначенный, с маузером на перевязи, как сама олице-

*) См. 14-ую, 15-ую, 16-ую и 17-ую книги «Нового Журнала».

творенная революция, в двери музея ворвался рябой, толстомордый солдат в желто-блакитных бантах. За ним такие же, набегу щелкают затворами, блестят штыками. Они называются: черноморский кош. Русский генерал отброшен к стене, на него наставили штыки. Но с горловым криком "Halt!" кинулся подбористый немецкий лейтенант, похожий на молодого Шиллера. Его отряд рыжих баварцев предупредил революционную резню в стенах Педагогического музея.

Оружие сдано. В вестибюле встали два караула: сичезики Петлюры и сумрачные, в стальных шлемах, немцы, ничего не понимающие в украинской Мексике, но даже несмотря на свою германскую революцию, верные чувству солдатчины и дисциплины.

В постылом плену я лежу день и ночь на паркетном полу обширного зала. Перед музеем толпится толпа жен, матерей, сестер, невест. В вестибюль на свиданье к матери меня ведет, увешанный целым арсеналом оружия, гайдамак с опереточно-запорожскими усами.

— Набалакались, — бросает гайдамак.

И едва успев рассказать то, что хотела, мать уже скрывается за дверь в толпе убитых горем женщин. А гайдамак ведет меня назад в зал, чтоб я там лежал на полу. Мне тяжело. В эти оборванные минуты я узнал от матери, что среди всероссийских казней за покушение на Ленина в Москве, в Керенске убит дядя, Михаил Сергеевич. От толпы ли лиц, от спертости ли воздуха, от недоедания ли у меня кружится голова. Штабс-капитан Саратов с лицом апаха, сидя на полу, перебирает гитарные струны и мягким баритоном поет, а лежащие вокруг него арестованные смеются.

«Ходят пленные, как тени,
Ни отчизны, ни семьи.»

И сделав разухабистый перебор из минора в мажор:

«Ах, вы сени, мои сени,
Сени новые мои!»

Может быть нас скоро расстреляют украинцы, а если не они, то наступающие с севера на Киев большевики, взяв город, расстреляют нас уже наверняка, но пока-что капитан поет:

«Черноморец, как хозяин
Раскричится иногда».

И сделав тот же перебор:

«Что ты ночью бродишь, Каин,
Чорт занес тебя сюда!»

В углу зала, у полковника Калашникова нашлись карты; там по-турецки сидя, арестованные азартно режутся в железку; они забылись. А под высоким окном, возле пришедшей с воли сестры милосердия, хищной блондинки с шапкой золотистых волос, собрались кавалеристы и под общий хохот рассказывают ей соленые анекдоты.

Я наверное устал от войны. Всё мне представляется сумасшедшим. И несвобода невыносимо тяжела. «Хорошо бы из этого человеческого месива вырваться сейчас в какую-нибудь беззвучную тишину, в поля, в леса, иль уехать бы лучше всего на Афон, в монастырь, и поступить там в монахи». Я ясно представляю медлительного, статного, с густо зачесанными назад волосами дядю, всегда с университетским значком на защитном кителе. Арестовав, его вели из дома по Керенской площади, на которой он с детства знал каждую ложбинку; потом наверное заключили в острог, что всю жизнь белел напротив нашего дома и откуда по пятницам выводили арестантов убирать площадь. И когда большевицкий керенский комиссар, бывший острожный сторож, тот что раньше, уходя в глубокий воротник чалана, недвижно сидел у полосатой будки и низко кланялся проезжавшему из управы дяде, когда этот темный сторож, по приказу Всероссийской Чеки должен был в Керенске для казни выбрать «десяток врагов народа», он сразу опознал врага в бывшем комиссаре Временного Прави-

тельства, в образованном юристе, в председателе управы и приказал его у б и т ь в числе десяти. Их убили на большой дороге, у урочища Побитого, погнав пешком на Пачелму, будто бы «ехать в Пензу, на суд». Всю свою жизнь, ребенком с отцом, подростком из гимназии, студентом из университета, дядя ездил на тройке мимо Побитого. Их убили прикладами и штыками и, разогатив трупы, бросили в чащобе осинника у дороги.

Я в подробностях представляю это убийство: лицо дяди, крики, борьбу, изуродованное голое тело; и со дна души поднимается такая ненависть, что словно вижу, как я въехал бы с отрядом в Керенск, разыскал бы убийц и сам, как собак, расстрелял бы собственными руками.

Двое украинцев несут большое ведро с мутным пойлом. Это обед. Мы садимся в круг, я из-за голенища вытягиваю деревянную ложку и хлебаю. Так нас кормят раз в день и раз в день, под конвоем, унижительно выводят на двор оправляться. В первый же день, на дворе, заговорив с каким-то бородатым офицером, я узнал от него о судьбе полковника В. Л. Симановского: его самосудом растоптала на улице родных Кобеляк случайно проходившая через город украинская банда атамана Ангела.

Люди могут привыкнуть ко всему. Мы привыкли и к музею. Кому-то даже пришло в голову устроить концерт. Украинский комендант разрешил и в громадной аудитории, под красивым стеклянным куполом, арестованные выступают. В первом ряду: сестры милосердия, украинский комендант, унылые, с споротыми погонами, наши генералы, караульные немцы в стальных шлемах и гайдамаки в великом многооружии. Позади — море заключенных.

Хор из арестованных чудесно поет лубочные солдатские песни:

«Неприятель удивлялся
Нашей стройной красоте!»

Хохочут и генералы, и гайдамаки, и комендант, и сестры,

и арестованные, смеются даже немцы, всем весело. За песенниками выступает солист, из арестованных, бывший оперный певец, он по-собиновски нежно и легко поет арию Ленского «Куда, куда вы удалились»... На мгновение он наверное забыл, где он, что он, кто его слушает; такова уж власть искусства. Бывший актер драмы декламирует «В шумном платье муаровом», а комик рассказывает смешные рассказы Аверченки. И наконец, выходит арестованный с провалившимися глазами на страшном лице труппа, бывший циркач, факир-престидижитатор; он показывает, действительно, чудеса, без крови прокалывая свою голую грудь, ноги, руки.

- - А вот если его расстреляют, врёт, кровь потечет, - - усмеется мой сосед по концерту, пожилой арестованный в серебряных очках.

Престидижитатора все наделяют шумными аплодисментами, особенно немцы; но вспомнив свое ремесло, циркач увлекся и предлагает загипнотизировать зал, затопив все водой.

— Топи, топи, просим! — кричат арестованные. Но украинский комендант, быстро встав, запрещает: с наводнением не случилось бы чего нехорошего. За циркачем на сцену выкатывается кудрявый рыжий куплетист и вихляя задом под четку припевает:

«Эх, яблочко, куда ты котишься,
В музей попадешь, не воротишься!»

Этим и кончается концерт. А ночью я вдруг привскочил от грохота, заколебавшего здание. Из высоких окон, дребезжа, летели стекла; казалось, рушатся стены, в страхе заметались вскочившие, полураздетые люди. «Господа! По нас стреляют из пушек!», в одних подштанниках кричит какой-то полковник. «Да, нет, это взрыв!», — кричит кто-то. Я сразу же подумал, что это адская машина; так чего ж метаться, кричать, бежать? Все равно некуда. Я опустился с локтя на спину и лег, как лежал. Из аудитории, где еще вечером давали концерт, сейчас

несут окровавленных людей; на спящих с такой силой рухнул стеклянный купол, что осколками пробивало не только тела, но и стулья. А в вестибюле, куда в эту декабрьскую ночь кто то, подъехав, с автомобиля бросил адскую машину, лежат, как тряпочные, раскинув ноги, трое убитых часовых. Говорят, этот кто-то, вызвав панику, хотел расправиться с заключенными. Не вышло только потому, что караульные все-таки уцелели.

Провода порваны, электричества нет, темнота. Зал освещился несколькими свечами. В полусвете, гремя оружием, ворвались черноморцы. «Панюве! Тихо, не то нагаями бить будем!» В пустые, бесстекляе окна несет снег, ворвался край отмытого черного зимнего неба. И из какого-то сказочного, древнего времени в сознание приходит: «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут». Но по полуосвещенному залу, в направлении меня идет вооруженный до зубов невзрачный черноморец и пристально вглядываясь в арестованных, указывает на некоторых и говорит идущим с ним приятелям: «це убив бы... це убив бы... це убив бы...» Я понимаю, он выбирает наиболее ему неприятных: полковников с бакенбардами, как у Александра II-го, интеллигентов в золотых очках, корнетов в красных чикчирах. Сейчас парню не позволяют этого сделать немцы, но когда в Киев въедет чека, Лацис и Португейс разрешат ему «шлѣпнуть» всех, кто «триста лет пили народную кровь».

II.

Из пустых рам приятно обдает снежным ветром. Одних увезли в Лукьяновскую тюрьму, другие освободились благодаря связям, третьи откупились деньгами и бежали. Нас, без связей, без денег, осталось человек пятьсот. Я заглядываю в выбитое взрывом окно, авось увижу какого-нибудь вольного? Никого. Снег, мороз, пустота. Вокруг музея два квартала опутаны проволокой. Под окнами в зале ветер нанес снегу. Что с нами будет? Вряд ли что-нибудь хорошее. Но вот в этот полупустой зал, где гуляют сквозняки и под окнами лежит снег, вошел человек незаметной наружности. Это авантюрист граж-

данской войны, командир украинского осадного корпуса полковник Коновалец. Он закричал, чтоб через час все были готовы к отправке.

— Куда?

На наши вопросы Коновалец не отвечает. Он — наша судьба. И всех облетает невероятный слух: полураздетых, голодных (хотим мы иль не хотим) нас вывозят в Германию. Я не могу себе этого даже представить. Но похожий на Шиллера немецкий лейтенант подтверждает, что именно он нас конвоирует до Берлина. И нет ни времени, ни возможности даже известить мать.

Я в солдатском бараньем кожухе, подпоясанном стертым ремнем, в седых разношенных валенках. Все мои и братнины вещи: жестяной чайник, две кружки, полбуханка хлеба, несколько кусков сахара. Но двери музея уже отброшены наотмашь, в них врывается холодный, кружащийся вихрь. По пустеющему залу шумят наши сапоги, шелестят валенки.

В улице нас охватывает темная тишина ночи, углубленная осадным положением. Под конвоем конных петлюровцев, в снеговой тишине мы движемся к светящейся линии трамваев. Гайдамаки на круто вертящихся от мороза конях гарцуют с саблями наголо. Но ни на пешех, ни на конных я не гляжу. Этот сухой морозный воздух, эта ночь, этот скрип сапог по снегу, эти после неволи свободные движенья ног и рук, сейчас мне дороже всего.

Конный гайдамак саблей подает сигнал и непонятно что-то вскрикивает по-украински. Мы влезаем в охраняемые гарцующими конниками трамваи. Они трогаются в темноте; катятся их зеленые, красные, желтые огни. Кавалеристы скачут все быстрее. Я вижу, рядом с окном еще на-рысх летит темный конный, лица не видно, а его запаленный вороной конь высоко подбрасывает левую заднюю; «попорчен», думаю я, «шпатит».

— Коля, гляди, у нас в столовой огонь, — и растирая замерзшее стекло блондин прапорщик припадает к трамвайному окну, он впился в какой-то свой огонь, от которого его увозят. Мелькают столбы, дома,

тумбы, улицы, снег и скачущие уже в галоп петлюровцы. Блондин прапорщик волнуется, хочет доглядеть огонь в своей столовой. У меня давно уж нет моего огня. Куда я еду? Что чувствую? Черт знает что, ничего, что-то отвратительное. Эти киевские дома, эти улицы мне чужие, я гляжу на пеленающий их снег, вот этот снег только я, пожалуй, и люблю.

Трамваи остановились. Вокзал. На темной платформе зловеще чернеет строй солдат, нас ведут сквозь него.

— Эх, афицаришки бедные, тоже, поди, дома жана, дети, — тихо говорит голос из солдатского строя.

— А зачем против народу шли?

— От це гарний буржуяка! — смеется какой-то темный петлюровец, с издёвкой показывая на толстого офицера.

По сорок человек мы лезем в черную пасть раскрытых скотских теплушек, нас запирают на замок. Я ошупью устраиваюсь в этом временном жилище, ложусь на солому и мне кажется, что этот Киев, бои на снегу, концерт, взрыв в Педагогическом музее, эта ночь с поездкой в трамваях и то, что я сейчас почему-то лежу в безглазой темноте скотского вагона, все это сон и будто во сне кто-то идет вдоль состава, ударяя молотком по колесам. Но вдруг, разноголосо завыв, поезд рванулся цепями, застонал и сквозь ветер и метель пошел. Куда? В темноту России.

III.

Дальше этой станции нет пути. Это Альтенау, Северный Гарц с вершиной Брокен, куда к ведьмам в гости на шабаш летали Фауст с Мефистофелем. Горный паровозик уперся в синий рассвет, за нами всего два вагона, остальные отцеплены, то-то ночью лязгали цепи и кто-то отрывисто кричал по-немецки.

Я выпрыгнул из вагона. Кругом все сине, мутносиние горы, ели на горах, как из каленой стали. В этом курчаво синеватом тумане немецкий городок в три улочки кажется забро-

шенной в горы игрушкой; в долине еле видны его красные черепичные крыши.

После всероссийской стрельбы тишина Германии поражает слух и обволакивает душу. Этой тишине даже не веришь. Два немецких солдата-инвалида в заплатных, но все ж аккуратных мундирах ведут нас под гору в Альтенау. Хорошо идти в горах в шестичасовом предутреннике. Мы спускаемся с кручи, ноги легко подсекаются. На гостинице, похожей на сказочный пряничный домик, прибита доска: «Здесь в 1777 году останавливался поэт Вольфганг Гёте во время своего путешествия по Гарцу». Вероятно, это было прекрасное путешествие. Цокая по камням деревянными туфлями, у колодца сошлись три краснолицых немки, без удивленья глядят на нас, за войну они привыкли ко всяким пленным. Тут они, вероятно, обмениваются сплетнями трех улечек и медленно расходятся скривленными под тяжестью ведер походками.

Вывесившись на подложенных под локти подушечках, из странного старинного дома глядит уже проснувшийся алебастровый старичек с трубкой в зубах и чему-то болванчикообразно качает головой.

— Дождался, дедушка, гостей с музеем! — смеется, идущий со мной, полтавский вартовый Юзва, украинский люмпен-пролетарий с лимонным лицом скопца.

За нами цокают деревянными туфлями немецкие мальчишки, кричат: «Русски капутцки!» Это замирающие крики войны. Но она уже немцами проиграна. С сосен и елей паром улетает туман. На полугорье у высоко зарешетченного колючей проволокой дома проминается часовой с винтовкой. Нас вводят в калитку и часовой повернул за нами ключ в замке.

Это бывший лагерь военнопленных офицеров; часовой, вероятно, принял нас за запоздалую партию пересыльных на родину. А я даже не знаю, кто мы? И кто нас, без всякого нашего волеизъявления, привез сюда, в Северный Гарц? Провожавший до Берлина лейтенант с лицом Шиллера сказал, что мы вывезены желаньем одного немецкого генерала из главного командования в Киеве, понимавшего, что Киев будет взят

большевиками и что большевики нас наверняка расстреляют. Что-ж, надо признать, что этот немецкий генерал спас нам жизнь.

В зале первого этажа нашего лагеря стоит пианино, здесь в годы войны коротали вечера пленные русские, французские, английские, итальянские офицеры. Сейчас у пианино сумерничает костромич прапорщик Воронкин, акомпанируя себе поет сладким-пресладким тенором гаремного евнуха: «Да, то был вальс, старинный, томный... Да, то был дивный вальс...»

Я открываю окно в отведенной мне комнате и вижу сначала решетку, потом голубое небо в рисунке этой решетки и далекие синеватые горы. Моя комната наполняется горной тишиной. Я слышу голос Воронкина. И вижу, как на дворе от его пенья, у кухни, краснукая рыжая судомойка Матильда, перестав чистить оранжевую брюкву, замерла в женской вечерней тоске; возле нее рубаха-парень, сибиряк, Еремеев; он охаживает ее и Матильда, вздыхая, тайно из-под фартука дает ему кусок оленины.

В иглах сосен звенит ветер. На городок, на лагерь падают сумерки, филин плачет в далеких горах. Часовой в заплатанном мундире топчется у ворот, мурлыча в усы песню, с которой когда-то ходил по Бельгии: *“eine Flasche Rothwein und ein Stückchen Brotchen.”*

Тих горный городок Альтенау. Когда комендант разрешил нам выходить, я увидел всё его несложное бытие. С проблеском рассвета, раскуривая старые трубки, с мешками на спинах, в толстоподметных башмаках дровосеки и шахтеры едут на велосипедах на работу. У колодца горбун-пастух собирает стадо чернопегих коров, нежно позвякивающих привязанными под шеей бубенцами, и под гортанные крики пастуха овчарка прыжками и лаем гонит всё стадо по лесной дороге.

Жители Альтенау мрачны, неразговорчивы. Когда я отворяю дверь небольшого магазина, раздается дребезжащий звонок, звонящий так, может-быть, сто лет. Из задней комнаты ко мне идет аккуратненькая старушка в белой наколке, в никелевых очках, она спрашивает, что я хочу? Но это, по-привычке, еще довоенный вопрос: в побежденной Германии купить

можно только мус из моркови и искусно сбитую из множества крошечных кусочков кожи подметку. Эту подметку я рассматриваю с любопытством, в ее мозаике заключена вся трудовая дисциплина этого народа.

С обрыва Вольфсвартэ над Альтенау я гляжу на клубящийся туманный Брокен, хожу вокруг по горам. Меж строевых елей поднимаюсь на Брухберг, разыскиваю водопады, но чем больше я гляжу на немецкую природу, тем сильнее мной овладевает странное чувство. Я с большим уважением оцениваю и сделанные декоративные водопады, и картинно разложенные валуны, и правильность строя насаженных сосен. Всё это прекрасно, как вековое усилие народа, но волновать эта немецкая природа меня не может. Я знаю русский простор, ширь весенней Волги, туманные Жигули, разлив серебристого Дона, Кавказ, Днепр, гоголевскую Украину, тютчевскую Великороссию с берегами лесных речек и мордовскими дремучими лесами, я вырос в хаотической божественности русской природы. И вся эта, сделанная, немецкая мне узка и даже чуть-чуть смешновата. Конечно, я понимаю, что военнопленный Франц Зонтаг с точно такой же отчужденностью глядел на наши пензенские темные леса и растянувшиеся ржаные равнины и, вероятно, также чуть-чуть тосковал. «Где он теперь? Должно-быть вернулся из Конопати к себе в Вестфалию», думаю я, спускаясь с Брухберга в Альтенау.

IV.

Когда в соседнем городке Клаусталь нас всех, вывезенных из Педагогического музея, соединили, поместив в «Гостинице Павлиньего озера», наша жизнь приняла фантастический отблеск, потому что тут мы начали получать английские посылки с продовольствием. И в тихом Клаустале, где когда-то хаживал Мартин Лютер, мы, гулявшие по его старинным улицам в островерхих папах, нагольных полушубках, кацавейках и валенках, у голодных немцев сразу же стали воплощением счастья, вызывая к себе уважение и зависть. Галеты,

варенья, печенья, мясо, сосиски, шоколад, кофе, чай, сыры, туалетное мыло, все это в поработанной Германии было давно уже силой, покоряющей всякое воображение.

Киевского хлебобоба Кривосапа немцы захватили в Клаустале в постели с двумя женщинами; ночью в лагерном бараке пришедшая полиция нашла сбежавшую от мужа немку в шкафу в комнате подпрапорщика Нескучайло; ежедневно в «Гостинице Павлиньего озера» рассказывали о невероятных происшествиях. Гостиница цвела пиршественным великолепием. Только, к сожаленью, многие наши по дурной русской привычке запили, кто от потери жены или детей, а кто просто так, от беспредметного надрыва славянской души.

В курильной комнате открылась железка; здесь игрецкая страсть опрощала все; ночь-напролет тут царствовала даже не демократия, а разумная анархия. За карточным столом, рядом с кавалерийским полковником Любимским, одетым в коричневый френч с колодкой заслуженных в мировой войне боевых орденов, сидели гетманские вартовые Пузенко и Юзва, штабс-капитан Саратов в костюме французского матроса, александрийский гусар смерти, ротмистр Кологривов, вольноперы, солдаты, офицеры в пестроте английского и французского обмундирования и в остатках русской военной формы, принесенной еще с полей войны.

— В банке сто, — сжимает колоду барскими когтистыми пальцами полковник.

— Ва банк.

— В банке двести, — бросает он сквозь щетину подстриженных усов.

— Крою во вись, — дрожит над картой вартовый Пузенко.

— Та-ж, Пузенко, державня варта! — скопческим смехом заливается его земляк, Юзва.

— Ваше, — и полковник кладет перед Юзвой колоду.

До горного голубого рассвета в курильной клубится табачный дым. Словно постарев за ночь, полковник с ненавистью взглядывает на кургузые нечистые пальцы Юзвы, мечущие банк.

А в зале, где днем стоят обеденные столы и устроена сцена, в углу прижался разбитый бехштейн. За ним в полутьме, со свечей, худенький брюнет играет скрябинскую «Поэму экстаза». Фамилия его неизвестна, все называют его паж, он очень молод, нервен, красив и любит только музыку. Но в «Гостинице Павлиньего озера» кроме маршей нет нот, а паж по памяти играет только «Поэму экстаза». И когда одни спят, а другие режутся в железу, паж ночь-напролет играет на рояле и под его пальцами разбитый бехштейн вспоминает лучшие времена. В эту лунную ночь он звучит прекрасно; по крайней мере мне так кажется из барака, а может быть это просто бессонница.

В соседней барачной комнате я слышу, как томский семинарист прапорщик Крестовоздвиженский шутит с сошедшим с ума жандармским полковником Кукушкиным. Не выдержав плена, два года назад, в их комнате повесился французский лейтенант Морис Баяр. Ночью у Кукушкина и Крестовоздвиженского фарфоровое блюдо бежит по разлинованному ли-сту, выговаривая: «Святые отцы молятся о вас и России, моли-тесь обо мне и Франции. Морис Баяр». В темноте за блюдцем крутятся столы, стулья, кровати, а поутру полковник Кукуш-кин под подушкой находит таинственное письмо, которое счастливо улыбаясь, убегает читать в лес, за озеро, а Кресто-воздвиженский катается по кровати, на весь барак хохочет густым семинарским басом.

Так уж водится: русские везде поют и пляшут. Не только в Педагогическом музее, но и в Клаустале поручик Матунько составил чудесный украинский хор и каждую субботу в зале лагеря у нас дается концерт. Когда хор поет шевченковское «Як умру, так похороните», не только у нас, даже у наших гостей, клаустальских немцев, захватывает дух и навертыва-ются слезы. Но, к сожаленью, этим программа не кончается. В балетных пачках на сцену выпархивает балерина, это кад-ровый капитан Мосин, единственный военнопленный, остав- шийся в этом лагере с мировой войны. Не в силах сдержаться немки хихикают в руку, а мы знаем, что этот замкнутый, жел-

толицей нелюдимый человек уже давно не в себе, что здесь в «Гостинице Павлиньего озера» уже в годы войны он выказывал признаки душевного заболевания. В грязных пачках Мосин танцует умирающего лебедя. Это тяжелое зрелище и, слава Богу, что капитана скоро сменяет все тот же рыжий, порнографический куплетист с гитарой, что выступал еще перед взрывом в Педагогическом музее.

«Под опеку взяла нас Германия,
Знать достойны ее мы внимания!»

А наутро рассказывают, что поссорившись за картами штабс-капитан Саратов вызвал полковника Калашникова на дуэль, стреляться из винтовок, заложив в магазин по обойме и сходясь на сто шагов по клаустальскому шоссе; кто-то с трудом их помирил. Неизменны причуды и Алексея Жигулина. В этом богатыре я любил красочную первобытность природы и безалаберную русскую дурашность. Но мне его было жаль. Этому ярославцу-купцу торговать бы красным товаром в Ярославле, а он ни с тою, ни с сего попал в немецкую «Гостиницу Павлиньего озера».

У богатыря Жигулина светлые выпученные глаза, серебряные висячие усы и трещащая октава голоса. Однажды в воскресенье, когда клаустальские немцы в праздничных костюмах, с праздничными сигарами, под руку с женами, детьми и с собаками на ремешках пришли на обычную прогулку к Павлиньюму озеру, Жигулин потряс их воображение, надолго заставив говорить о себе. Он появился возле озера в полушубке, в папахе, в высоких сапогах, нетрезвый. Как бы в забытьи он встал перед озером, невыразительно глядя на его тонкую ледяную юрку, и вдруг, закричав что-то дикое, непонятное, сел на берег и начал раздеваться.

Через минуту перед остолбеневшими немцами Жигулин уже стоял в чем мать родила и, диаконской октавой продолжая рычать всемирные ругательства, с розмаху, ломая тонкий лед, ринулся в воду. Хохоча, покрикивая из воды, он шел саженьками, напрямик режа широкое озеро. Его товарищи с платьем бежали на другой берег, крича: «Сейчас сдохнет!»

Но блещущий стекающими струями, гогочущий, рогочущий Жигулин не только легко вышел на противоположный берег, но еще больших трудов стоило уговорить его одеться.

Мировая война, революция, русская междуусобица, а в особенности эмиграция Тигулину аили совершенно неясны. «У меня ют всей этой завирухи такое, знаешь, братец, чувство, будто мне кутёнок на сердце нагадил», говорил Жигулин. У себя, в Ярославле он понимал толк в ситце, сарпинке, миткале, успешно торгуя в своей суровской лавке, окруженный молодцами-ярославцами, а когда запира лавку тяжелыми замками, то гонял по вечернему Ярославлю на рысаках, в которых тоже был знатоком.

Теперь в Гарце, в клауастальской «Гостинице Павлиньего озера» богатырь старался только забыться, залить всё алко-голем; и когда в бараке ночью с хохотом гремел какие-то песни о «денатурке», все знали, стало-быть, у Жигулина кончился коньяк и дымящийся, нетвердый, он веселится, хлеща с Червонцовым денатурат с плавающими в нем для вкуса перчинками.

«Алеша-ша!

Возьми палтоном ниже!»

— отвечает ему высоким фальцетом спившийся военный чиновник из Тулы Червонцов.

Любимский, Жигулин, Червонцов, паж, Саратов, Мосин, ржый куплетист, Пузенко с Юзвой, это все горькая судьба русского народа, обломки от взрыва революции, перелетевшие через границы России.

V.

Из Клаусталя апостольским хождением я ушел в путешествие по Гарцу, взяв направление на юг, на Нейштадт, куда с эшелонем эмигрантов из Киева приехал мой однополчанин по мировой войне Кирилл Ивановский.

Перевалив горную цепь «Auf den Acker», я вышел в перемежающиеся полями лесные долины южного Гарца. Обдавая собачьим запахом цветут желторозовые каштаны, сладостью дурманит белая акация; южный Гарц мягче, нежнее северного, от воздуха которого режет легкие. В горной деревушке Рифенсбек, отдыхая в стареньком ресторане, я пил пиво военного времени, безалкогольную безвкусную воду. Хозяйка с завистью смотрела, как в ее пустом зале я ел давно невиданное консервное мясо и белые галеты. По костюму она приняла меня за англичанина и молчала, но узнав, что я русский, старушка сразу встрепенулась, подседа к столу, взволнованно спрашивая, когда же теперь вернется ее пленный сын, работавший в годы войны в России на Мурманской железной дороге, от которого вот уж два года нет никаких вестей. Я знал, что на этой стройке погибли многие тысячи немцев, но успокоил старуху, как мог, и пошел дальше, один, по горам, по долинам к вечеру дойдя до Нейштадта.

Деревня Нейштадт приткнулась у подножья горы, под мшистыми развалинами средневекового замка. Тут, в русском лагере, я и нашел моего однополчанина Кирилла Ивановского. Он встретил меня у ворот. Но так уж всегда бывает, что встречи давно не видавшихся друзей оказываются затрудненными. Мы не знали с чего начать говорить, отыгрываясь на полковых воспоминаниях. В передней лагерного зданья я увидел какие-то выстроенные рядами длинные палки.

— Кирилл, что это за бамбуки? — спросил я.

— Это, кавалерия, — улыбаясь, ответил Ивановский.

— Какая кавалерия?

— Это по приказу генерала Квицинского для кавалеристов.

— Так, это лошади? — засмеялся я в восхищеньи.

— Нет, это пики.

Когда ж я с Ивановским заговорил, что в гражданской войне больше участвовать не буду, что в ней для себя места не нашел и искать не хочу, Ивановский не то что не понимал этого, а просто не хотел об этом думать. Ему уже было всё

— всё равно. Это был не тот, остряк, хохотун, весельчак Ивановский, любимец полка, это был потерявший всякое душевное равновесие, разбитый войнами человек.

— Если ты не поедешь, что ж ты будешь здесь в Германии делать? — неохотно говорил он, — тебя ж лишат лагерного довольствия?

— Да я только и хочу уйти из лагеря, уйду к немцам, буду работать.

— То-есть как работать?

— Да как угодно, батраком, рабочим в городе, на любую работу.

— Ах, это все твоя романтика, — затягиваясь папиросой и пуская медленные дымы цедил Ивановский, — я хоть тоже теперь ни в какую белую армию не верю, а черт с ними, поеду куда ни повезут.

Так мы и расстались. Ивановский, как и Жигулин, попал на новый фронт русской гражданской войны, в Архангельск, где покорявший север России коммунист Кедров, после поражения белых, грузил пленных на баржи и расстреливал их из пулеметов. Не менее страшно погиб и другой мой друг, одаренный рыжий Борис Апошнянский, лингвист и востоковед. Он ходил по Клаусталю с вечно дымящейся трубкой, профессорски рассеянный, грязный и совершенно не имея музыкального слуха, всегда напевал на мотив вальса «На сопках Манчжурии» две строки собственного сочинения: «Дорога идет цум Кригсгефангенеллагер». К войне он был неприспособлен, политикой совершенно не интересовался, даже газет не читал, а поехал из Германии опять в русскую гражданскую войну только потому, что везли через Англию, а он говорил: «сам не знаю почему, но с детства мечтаю взглянуть на Англию». И после того, как он «взглянул на Англию», взбунтовавшиеся солдаты армии Юденича в паническом отступлении от Петрограда подняли его в числе многих других офицеров на штыки; а он хотел жить и умел любить жизнь.

Из Нейштадта в Клаусталь я возвращался другой дорогой, по «тропе Гёте» поднялся на Брокен, но на Брокене боль-

шой ресторан и никакого следа ни ведьм, ни Фауста с Мефистофелем. С Брокена я стал спускаться вниз к Клаусталю. Была ночь, была темь, где-то плакал филин. Через шесть часов черного пути я устало подходил к «Гостинице Павлиньего озера», где паж играл ту же «Поэму экстаза», Жигулин с Червонцовым «изображали спиртовку», капитан Мосин танцевал умирающего лебедя, украинцы пели «Заповит», а полковник Любимский понтировал против горячащегося и жадного Юзвы.

VI.

Гельмштедтского лесоторговца Кнорке я и брат ждали на дворе, сидя на бревнах. Так, бывало, у нас в Конопати нанимавшиеся мужики ждали управляющего именем дядю Володю, отставного офицера, брата отца. Нанимался я на работу впервые и волновался, когда из балконных дверей вышел толстый немец с мясистым лиловым носом и дряблыми, отвисшими щеками. Кнорке вышел медленно. Недружелюбно оглядев нас, он крикнул с тем оттенком пренебрежительности, как кричал мужикам и мой дядя.

— Давно работаете на лесных работах?

— Недавно, — ответили мы и точно также, как наши конопатские мужики, почему-то поднялись с бревен.

— Русские? — грубо спросил Кнорке и улыбнулся, открыв золотую челюсть. Я понял эту скверную улыбку только тогда, когда лающе, будто подавая команду Кнорке прокричал: «Как иностранцам по тарифу платить не буду, хотите сдельно, по две марки с метра? Поняли?», и не дожидаясь ответа, лесоторговец показал нам свою толстую спину и гладко стриженный, скалообразный затылок.

Еще ребенком из окна детской я видел, как от нанимавшихся мужиков почему-то всегда вот так же, не дожидаясь ответа, уходил и мой дядя, одетый в зеленую поддёвку и высокие сапоги, а мужики у бревен начинали тогда бормотно переговариваться меж собой и чесали затылки. Сейчас мы с братом также бормотали, переговариваясь.

А в шесть утра в сосновом бору под Гельмштедтом приказчик-немец, вёрткий старичек с валленштейновской бородкой и серебряной цепочкой на вытертом бархатном жилете, отводил уж нам на порубе участок сваленных сосен, лежавших в голубой глубокой росе.

— Гутен морген! — кричит с соседнего участка дровосек.

Согнувшись над мачтовыми соснами, мы опоялем скрябками белизну их стволов. Кнорке нанял нас по-деляцки, приказав поставить на давносваленный участок, где немцы не станут работать и за двойную плату. У этих сосен кора присмолилась, скрябка не берет, срывается и на порубе летят наши ругательства, поминающие всех родителей гельмштедтского лесоторговца.

Но вот на дороге задребезжали по корням колеса. И из-за поворота вынырнула голова белой лошади. Одетый в светло-серый костюм Кнорке объезжает в шарабане участки. Возле нас он натянул возжи, передал их сыну, и тяжело зашагал через сосны. По походке я вижу, что он уже стар, артериосклероз делает свое дело.

— Морген, — бормочет Кнорке, переводя посвистывающее дыханье. Он встал позади брата: мутноватыми глазами следит, как двигается в его руках скрябка. Плотом встал позади меня и я ощущаю, как неприятно, из-за куска хлеба драть сосну под взглядом твоего хозяина. Я чувствую глаза Кнорке на моих лопатках, бицепсах, пальцах. Но я не хочу испытывать этого рабьего состояния и только поэтому разгибаюсь и ставлю скрябку стояком в сторону. Я оттираю пот со лба, медленно из-под сосны достаю бутылку и начинаю пить из горлышка. Отпив, передаю брату. Мы нарочно перебрасываемся русскими фразами, а Кнорке цепко глядит то на нас, то на полубодренные сосны, которые он торопится гнать в Гамбург.

Когда я взялся за скрябку, услышал удаляющиеся тяжелые шаги старика; Кнорке уходил к шарабану, где пофыркивала и от мух мотала головой его белая кобылка. «Хорошо так, утром, ехать по лесу в шарабане», думаю я, обдирая сосну. «Вот я так и ездил у себя в Конопати, только моя

вороная кобыла Летунья была много резвее этой стриженной лошаденки, да и шарабан был не этому чета».

В углу поруба брат наткнулся на свежесваленные балки, зовет туда. В свежесваленную сосну приятно врезаться, кора взлетает с нее легкими, вьющимися лентами. Обдирая эти сосны я думаю, что, кто знает, потеряв Россию, может быть, я вот так и останусь на всю жизнь чернорабочим в Германии у лесоторговца Кнорке и буду проводить тогда в лесу по десять, двенадцать часов в день, в голове будет все меньше мыслей, в душе все меньше сложных чувств, ибо ничто так не отупляет человека, как мускульная работа. Конечно, взамен этого я приобрету навык дровосека, научусь валить деревья, на глаз узнавать, когда срублена сосна и сколько в ней метров, буду обдирать сосны в три раза быстрее. Но после трудового дня я буду хотеть только есть и спать, а на рассвете опять пойду в лес обдирать сосны. В сущности, тогда я перестану быть человеком, я стану некой такой человекостью, скрябкой с двумя руками и двумя ногами, которая будет жить почти только для того, чтоб работать на лесоторговца Кнорке: в этом и будет состоять моя жизнь. Во мне, конечно, будет нарастать озлобление против отнимающего мою жизнь лесоторговца. И это озлобление приведет меня, наверное, к борьбе. К какой? Ну, конечно, к той самой, марксовой, классовой, о которой пишется во всех социалистических брошюрах, но которую я сам еще никогда не испытывал на своей шкуре.

Сам себя мысленно спрашивая, я чувствую, что улыбаюсь: итак, стало-быть, жизнь перекроит бывшего корниловца в революционера-пролетария? Конечно. Жизнь мудра и не терпит пустот. Это сейчас я живу в состоянии, так сказать, неустойчивого равновесия: бытие пролетарское, а сознание еще барское, а когда я останусь в лесу навсегда, жизнь, разумеется, уравновесит сознание с бытием.

Тусклое металлическое солнце медленно опускается за лес и югда его красные языки перестают мелькать меж деревьев, я выпрямляю уставшую за день спину, поднимаю с

земли мешок и по-рабочему медленно, на плече со скрябкой, ухажу лесом в Гельмштедт.

VII.

Тихи гельмштедтские вечера, тихо шелестят вековые липы, затенившие русский эмигрантский дом, под липами тихо гуляют светские русские старушки, меж собой тихо французят. Тучный владелец дома, немец Гербст, крепко расставив тумбообразные ноги, стоит на крыльце своего ресторана, насупленный и недовольный французским языком. Он даже сделал бы старушкам замечание, но сегодня начальник эмигрантского дома, полковник Делягин уплатил ему за зал, где устраивается русский вечер и он только окрикнул подбегавшую-было к дамам свою овчарку. Старушки вздрогнули, но опять тихо пошли машерить под липами, за вязаньем рассказывая, что пишет в Берлине русская газета «Призыв».

Опираясь на палочку, по аллее от русского дома, сутулившись, идет небольшими шажками камергер высочайшего двора, бывший заведующий капитулом орденов В. П. Брянчанинов. В прошлом старик был близок к царю. У него тонкое, породистое лицо, курчавящаяся, растущая из-под шеи, седая борода и опадающая нижняя челюсть. Наперерез ему, из-за лип выбегает стремглав коротенькая девушка Маша в вязаной красной кофточке, резко обтянувшей ее груди; за ней гонится корнет Иловайский и Маша кричит: «Корнет, оставьте, корнет, не смейте!», а по голосу слышно, что Маше хочется, чтоб корнет и смел, и не отставал. Возле дома движется восьмидесятилетний, прямой, даже статный генерал Ольховский, бывший командующий войсками петербургского округа. Кто только ни живет в эмигрантском доме. Иерей из Владимира на Клязьме, отец Иоанн, в черной рясе гуляет по гельмштедтской дороге, говорит он сильно на «о» и ничто немецкое ему не нравится. «Был я и в ихней столице, ну и что же? Разве-ж жалкое Шпре («е» отец Иоанн произносит резко по-русски) в состоянии сравниться с нашей порфирионосной Невой?» И

в своей тоске целыми днями метет отец Иван пыль шоссейных дорог, уходит и в лес, вспугивая там диких коз. А когда эмигранты, с котелками и кастрюлями, становятся в очередь за обедом у кухни, здоровенные немецкие девки, разливая суп, неизменно фыркают перед батюшкой; им чудён мужчина с женскими волосами; но батюшка не обращает на них внимания. Рядом с ним в очереди всегда стоит невзрачный штабс-капитан Тер-Гукасов из Кутаиса, который ежедневно, получая суп, уныло всем говорит: «Раньше-то, вестовой подаст, убереет, а теперь...», и вздыхая, грустно шепчет, — «погибла бедная Россия...»

В трех этажах эмигрантского дома много эмигрантов. Но все дамы с пренебрежением сторонятся простоватой жирной Анны Ивановны Куклиной. Она ни интеллигентка, ни буржуйка, ни княгиня и сама не понимает, как случилось, что из Одессы попала в Гельмштедт. «Не знаю зачем ехала, пьяную французы вывезли, вот теперь и хожу недовольная», говорит вялая, одетая в неряшливый капот Анна Ивановна. У Анны Ивановны одно удовольствие: «Ох, пристиж что-то коньячку выпить», и подмигнув, она пробирается в ресторан за рюмкой дешевого «корна». Осуждая это пристрастие Анны Ивановны, ее хоть и снисходительно, но усовещевает бывший чиновник канцелярии тамбовского губернатора Н. А. Егоров. У Егорова на двери кнопками прижата немецкая визитная карточка: «Н. А. фон-Егоров». Этот милый, аккуратненький старичек всю жизнь мечтал дослужиться до личного дворянства и перед революцией дослужившись не в состоянии даже здесь, в Гельмштедте, расстаться с достигнутой целью жизни, хотя над его «фон» и посмеиваются, приехавшие из Парижа, спесивые светские супруги де-Обезьяниновы, которых «шокирует» живущий рядом с ними, бывший военнопленный, вятский народный учитель, в плену сошедший с ума И. Р. Плуткин, уже два года, как созидаящий новую конституцию Российского Государства, по его мнению долженствующую положить конец всему нестроению родины.

Рядом с эмигрантским домом — барак, где живет моло-

дежь. В коридоре барака я и брат смешиваемся с друзьями, пришедшими с соляных шахт, обмениваемся приветствиями. Все мы, человек десять, студенты, войной переделанные в офицеров и эмиграцией еще раз переделанные в шахтеров и дровосеков. Но это не так-то просто из потомственного интеллигента перейти в чернорабочие. Приятель, прапорщик Курносов, магистр математики московского университета, попробовал работать на соляных шахтах; мастер дал ему лампу, кирку, посадил с рабочими в клетку и бросил в галереи на семьсот метров под землю. Он должен был взрывать соль, наваливать в вагонетки, везти по рельсам, опрокидывать вагонетки и снова взрывать, везти, опрокидывать; но в первый же день, не дождавшись еще свистка, Курносов поднялся из шахты и придя домой лег на постель, а вечером объяснял:

— Физически работа нетрудная, могу, но психологически никак. Как только представляю, что надо мной до поверхности земли пласт в семьсот метров — конечно, не могу, — и Курносов сам над собой смеялся.

В барачной комнате гудит печь-колонка. Почистив картошку, я поставил котелок и варю нам ужин. Я достал три картофеля, в побежденной Германии эту роскошь мне из-под полы продала старушка-крестьянка, сказав: “*Alle Menschen wollen leben, alle Menschen wollen Kartoffel essen.*” Я сижу за столом, записываю подсчет заработанного за неделю; брат тоже подсчитывает свое; это когда-то, в Москве, я проводил вечера у лампы за философией греков, за поэзией символистов, за «Уединенным» Розанова. Теперь читать я и не хотел бы просто потому, что за время войны отвык от этого занятия, да и не могу, потому что за день слишком устаю от обдиранья сосен. Подсчитав заработанное, я лежу, глядя на нашего сожителя по комнате, штаб-ротмистра Белецкого, он смиренно сидит на кровати и в тихом помешательстве прогрессивного паралича портняжными ножницами режет свою бекешу.

— Что это вы шьете, Белецкий?

Не отрываясь, он тихо говорит:

— Долман шью.

Разгоревшаяся печь гудит, как мотор, ярым пламенем пылают опадающие сосновые поленья. Сейчас во всех беженских комнатах время еды и я слышу, как в соседней полковник Беличко кричит на француженку-жену: «Я не собака! Я не могу есть без гарнира!» — “Salaud!”, взвизгивает жена и голос полковника переходит в приближающийся к жертве шепот.

По бараку стегает крупнокапельный дождь, засты окна мокрой кисеей. Над бараком шумят вековые липы. В другой комнате, готовясь к сегодняшнему вечеру, киевлянка Клавдия, заломив красивые руки, декламирует: «Я думала, что расцвели яблони, а это выпал первый снег... Петро», обращается она к вернувшемуся из шахты мужу, — «вы ждете, чтоб я варила ужин? Можете не ждать, этого не случится». И слышно, как с тяжелыми ругательствами, бросив наотмашь дверь, муж уходит к соседям.

Клавдин двадцать три года, у нее глаза цвета дождевой тучи, она обольстительна; в эмигрантском лагере она умирает с тоски, не желая становиться «женой шахтера». — «Коля, я маленькая, я хочу сказок!», ломается Клавдия перед вошедшим корнетом Иловайским, «Вы не знаете Северянина? Вы ничего не знаете, Коля, вы неинтеллигентны. А у него есть чудесные стихи про крылатую яхту: «Мы вскочили в Стокгольме на крылатую яхту! На крылатую яхту, из березы карельской!» Только наша яхта была совсем не крылатая, а противная и сажались мы не в Стокгольме, а в Севастополе!»

Иловайский пришел от Маши. Маша на него рассердилась и сейчас, чтоб успокоиться, неровными быстрыми движениями прибирает свою комнату и обертывая электрический рожек в розовую бумагу, сердито мурлычет высоким сопрано:

«Мне хочется любви
Неясной, как мечтанья...»

— Завела, фрайляйн, стучит в донышко, — смеются барачные соседи Маши, Бог ведь как залетевшие сюда, пять военнопленных солдат мировой войны.

Под секущим дождем, стекающим с осенних, пахнущих сыростью лип, сжавшись под зонтиками, эмигранты бегут на вечер, в ресторан Гербста. Мужчины собрались вó-время, вспомнив стрóе, дамы пришли с запозданием, некоторые даже посылали дегей узнать, пришла ли та, после которой она хочет войти; но в начале десятого весь русский эмигрантский дом уже в сборе.

Светские дамы в черных платьях, с кольцами на пальцах, говорят: вовсе не о гороховом супе, о дровах, о печках, а ведут словно только что прерванный разговор о Петербурге, о Родзянке, о здоровье великого князя Николая Николаевича, о наступлении генерала Юденича на Петербург, о том, что beau frère Ксении Петровны ведет на Гатчину кавалерийскую дивизию.

Мешаясь с дамами, за столы сели ушитые шевронами корнеты армии Бермонда, стройные, как женщины, тоже в браслетах, в кольцах, со шпорами. Вечер открывает заведующий эмигрантским домом полковник Делягин, произнесением вступительного слова и затем объявляет, что корнет Иловайский сейчас прочтет свое стихотворение. Корнет, идя к эстраде, позвякивает шпорами, с эстрады говорит, что это ошибка, что стихотворение не его, а французского поэта Сюлли-Прюдома в переводе Апухтина, но оно очень красиво и он его прочтет; и он читает «Разбитую вазу».

В зале тишина. В углу за дальним столом сидят пятеро военнопленных солдат. Раскрыв рот, невыразительно, непонимающе слушает корнета Иловайского солдат действительной службы, сибиряк Луновой, попавший в плен под Танненбергом. В былом ряжский стрелочник унтер-офицер Болмасов с смущенным смешком потупил глаза в толстую чашку. Корнет же, декламируя, смотрит на Машу, а Маша от его шевронов, от розеток на узких сапогах, от шпор, от глаз с поволокой не знает куда деваться.

— Противно, — говорит Клавдия, — какие-то глупости про разбитое сердце.

Но раздаются аплодисменты и полковник Делягин объявляет следующий номер программы.

— Сейчас дорогой Валериан Петрович Брянчанинов любезно сыграет нам наш прежний и, надеемся, будущий петербургский парад войскам.

По залу пробегают легкие аплодисменты. Под них седой камергер дрожащей походкой поднимается на эстраду и говорит кланяясь и улыбаясь.

— Господа, я не буду сегодня играть ничего серьезного, я хочу сыграть то, что приятно каждому русскому сердцу: мою импровизацию «Парад войскам петербургского гарнизона».

По ресторанным столам еще раз перебегают аплодисменты. Камергер сел за рояль, из-под старческих рук метнулись бодрые и ситные аккорды. Но вот «преображенцы», говорит в паузу Брянчанинов и трудно аранжированный бьется, летит по залу преображенский марш; «семеновцы», кричит он, марш летит упругими гутаперчевыми звуками, старик склоняется к роялю, улыбаясь, вероятно, воспоминаниям. В туче звуков раздается генерал-марш, «кавалерия», кричит камергер и перед ним на белых конях гарцует конная гвардия; но вот «артиллерия» кричит Брянчанинов, он раскраснелся, взволнованно откидывается корпусом влево, артиллерия в левой руке гудит по мостовой орудиями и гул ее сливается с общим заключительным маршем и с аплодисментами зала.

Встав, камергер прижимает бледную, уставшую руку к сердцу, кланяясь легко и элегантно.

— Устал, — говорит он.

В зале общее движение антракта, шуршанье платьев, шаги, смех, голоса.

— *Valse générale!* — в общем шуме, дирижирует полковник Делягин и на некрашенном досчатом полу ресторана шестидесятипятилетний генерал Юрлов с старушкой, бывшей фрейлиной Ланиной открывают танцы вальсом в три па.

— *Grand rond s'il vous plait!*

Вальс сменяется мазуркой «Под тремя коронами», ее

играет старик Брянчанинов, а дамы восхищенно смотрят, как в первой паре полковник Делягин танцует с Клавдией; он то быстро плывет мелкими шажками, то приостанавливается, притоптывает в углу залы и выйдя на прямую, опять стукнув ногой об ногу, лихо несется первым па.

Мазурка гремит пока с кухни не вбежала кухарка-немка, закричав:

— Русская барышня отравилась!

Старый камергер не слышит, играет, улыбаясь, мазурку. но дамы вскрикнули, корнеты бросились к двери, впереди всех с искаженным лицом бежит Клавдия. Отравившаяся лежала на полу грязной барачной комнаты без сознания, изсиня бледная, известковая; стол повален, разлетелись чьи-то разорванные письма. Корнеты подхватили ее, а Гербст дал экипаж, чтоб отвезти в больницу.

VIII.

На сыром, до костей пробирающем рассвете, с мешком за плечами, в руках с наточенной скрябкой, я уже иду по лесу на работу, когда бывший заведующий капитулом орденов В. II. Брянчанинов, несчастная Клавдия, аккуратненький фон-Егоров, полковник Делягин, спесивые де-Обезьяниновы, запьянцовская Анна Ивановна, бывший командующий округом генерал Ольховский, умопомешанный учитель Плушкин, отчаявшийся отец Иоанн, все корнеты, все дамы, все эмигранты гельмштедтского дома еще спят под шелест осенних лип.

Отдых мой только в воскресенье. Как всякий чернорабочий я живу, собственно, только один день в неделю. Но зато с необычайным чувством животного удовольствия я просыпаюсь в воскресное утро. Правда, все воскресенья я провожу одинаково и несложно, как проводят их чернорабочие: отсыпаюсь, не торопясь моюсь, спокойно ем и весь день приятно чувствую свое отдыхающее тело. А к вечеру, чисто одевшись, с приятелями ухожу в деревню Бендорф в ресторан «К зеленому венку», где собирается рабочая молодежь в дыму деше-

вых сигар пить пиво и под тренькающую музыку старых класесин танцовать модный после войны «шибер».

IX.

В Берлин я приехал, когда столица Германии под союзной блокадой сохраняла еще весь свой военный вид. Как древнеязыческое изваяние у Аллеи Побед вздымался исполинский деревянный монумент фельдмаршала Гинденбурга. В годы войны за плату в десять пфенигов немцы вбивали в него гвоздики, покрывая тело монумента броней железных шляпок; от горла и до колен богатырский фельдмаршал был уже сплошь в броне.

Иногда по Унтер ден Линден с отчаянным грохотом проезжали редкие автомобили на железных ободах; резиновых шин давно не было. Магазины пусты, люди бедны, лица немок в уличных очередях, прозванных «полонезами», унылы. У побежденной страны нет даже государственных границ, их только что создают. Берлин словно умирал, дрожа на ветру.

Я поселился в его рабочей части, у Штетинского вокзала, в тяжелом городском безвоздушье, среди вечного лязга, грохота, криков, где днем на улицах толклись безработные, а ночью высыпала бесчисленная армия дешевых проституток.

Но вскоре же после моего приезда, выйдя однажды утром за газетой, я был поражен необычайной сонной тишиной города. Также в «полонезах» стояли немки, также тарактели редкие бесшинные автомобили, но город был полон странной, внушающей тревогу, тишиной; и, наконец, от седовласого, беззубого газетчика я узнал, что этой ночью правительство бежало в Дрезден, когда в пролет Бранденбургских ворот неожиданно вошла железная бригада капитана Эргарда; это был Putsch заговорщиков «Свободы и действия», Каппа и Лютвица.

От нечего делать и я пошел в центр города, все явственней чувствуя в этой странной тишине разливающееся немецкое медлительное волнение. Есть что-то затягивающее в вол-

неньи больших городов. Вспоминая некрасовское «зато посмеивался в ус, лукаво шуря взор, знакомый с бурями француз...», я шел в толпе. На Шлосспляц кепками, шляпами, котелками уже переливается толпа. Я знаком с самой страшной бурей, русской, и в этой немецкой мне чудится ее отголосок, хотя музыка ее совершенно иная.

Над Унтер ден Линден в лучах солнца парят аэропланы заговорщиков, дождем сбрасывая вниз листовки. Ощетинившимся диким зверем толпу медленно раздирают броневики «железных ребят» Эргарда. Но город все-таки мирен; звонящие трамваи, у вокзала на козлах пролеток дремлют еще довоенные старики-извозчики. Какой-то разъяренный пивник с закаченными по-локоть рукавами кричит окружившей его толпе о зачинании новой войны с Францией. В его сторону смеются всю войну провоевавшие рабочие; но ничто не переходит границ уличного возбуждения, словно немцы и здесь ждут приказания. И к ночи от бежавшего в Дрезден правительства получен приказ всеобщей стачки; он застал меня на ночной Фридрихштрассе, в той же толпе и я увидел, как по команде Берлин потух, лег и умер. Теперь напрасно, упираясь то в звездное небо, то бегуще скользя по матовости далекого асфальта, шарят мощные прожекторы заговорщиков. Железные ребята на грузовиках напрасно бороздят красными факелами черные улицы; Берлин не встает, умер и вместе с ним по команде всеобщей забастовки умерла вся страна.

А к утру столица уже гудит поднимающимся тяжелым волнением. На моей Инвалиденштрассе неизвестно кто рыл окопы, но она изрыта, забаррикадирована, по углам пулеметные гнезда. Заборы Шоссештрассе пробиты, в их дыры выглянули узкие собачьи морды пулеметов. Ни воды, ни света, ни движенья, ни хлеба, ни угля, ничего нет в Берлине. И из рабочего Нордена катится гул разжигаемого Москвой восстания спартакистов; говорят, Москва против Веймара играет на обе руки, подымая и «железных ребят» и красных.

В улицах, ставших пустыми и необычайно длинными, текут миллионные толпы. Я иду с ними. Чего я не видел?

Устал от виденного. Но страшная вещь толпа, и я чувствую, как этим миллионным топотом ног, этим океанским стихийным движеньем она заражает меня, хоть эта немецкая толпа и совершенно несхожа с русской человеческой лавой. Немцы идут без слов, строем, в ногу, глаза опущены в пятки идущих впереди, по команде трижды вскрикивают “Hoch!” и трижды “Nieder!”, но ногу подсчитывают, не сбиваются, заботливо обходя встречные газоны, цветники, сады; недаром эту немецкую стихию так ненавидел апостол русского революционного разрушения, Бакунин.

Фридрихштрассе. Люстгартен, Ундер ден Линден, Шлосспляц всё запружено никогда здесь не бывающими рабочими, над ними красные полотнища, лозунги социал-демократов, профсоюзов, коммунистов, католиков и бок о бок в толпе едут тут же на грузовиках с вьющимися, белочерными прусскими штандартами «железные ребята», крича Эргарду трижды “Hoch!”, а Эберту трижды “Nieder!”.

“Pfui, pfui!” свищет толпа, но никогда никто, очертя голову, не бросится на грузовики, не сомнет их в драке, как рванулась бы наша несдержанная в страстях славянская толпа Москвы, Пензы, Калуги. Сброшенных с аэропланов листовок уже по-колени, люди ходят весело шурша бумагой, но ночью с огнедышащими красными факелами всё еще ездят на грузовиках солдаты Эргарда, неуставшие от четырехлетней войны и желающие новой; правда, их факелы тонут в беспросветной темноте.

И вдруг в моей комнате, задохнувшись, из водопроводного крана брызнула вода, нелепо вспыхнуло среди дня электричество, а за окном зазвенели стоявшие в обмороке трамваи. Что случилось? Это железная бригада капитана Эргарда отмаршировала назад в Деберитц, а правительство Эберта возвратилось в Берлин, дав немцам команду: работать! Из германских берегов реки без приказанья не выходят.

Городские служащие подметают, убирают от листовок улицы. Берлин принимает свой деловой вид, будто ничего и не было. По Унтер ден Линден уже бездельно гуляют флане-

ры; торопясь на службу, девушки мурлычат модную песенку «Твои темные глаза, как два каштана»; в пивных какие-то бисмарковские старики-пенсионеры пьют пиво и ругают правительство; подземная дорога, словно выплевывая, выбрасывает немцев по всему Берлину.

X.

Голодная, продрогшая, в туфлях сшитых из лоскутков какого-то ковра, оставшаяся в Киеве, моя мать ежедневно выходила на Еврейский базар, чтоб у приезжих окрестных крестьянок выменивать скатерть, простыню, полотенце на какую-нибудь еду. Это страшная первобытная эпоха военного коммунизма. В Киеве властвовал террор и сплошной голод. На Еврейском базаре шла древняя меновая торговля. Сытые краснощекие бабы-хохлушки из подкиевских сел и скупые на слова мужики за картошку и хлеб брали у горожан юбки, обивку с кресел, зеркала, гардины, графины, стулья, ножи, столы, даже ночная посуда и та шла в деревню. Так, чтобы жить, торговал весь когда-то богатый город, как торговала вся Россия. И те, у кого оставались еще силы, подсмеивались над всеобщим торжищем, говоря, что это и есть «национализация торговли», когда вся нация торгует.

Правитель Украины Раковский жил во дворце миллионера Могилевцева и на его парадной лестнице были установлены пулеметы. Перед зданием чеки часовые сидели в национализированных буржуазных креслах. Киевские школы были без учителей, больницы без лекарств, мастерские без инструментов, магазины без товаров, дома без отопления, у жителей были хлебные карточки, но не было хлеба и обитатели многоэтажных домов стояли во дворах в очередь к единственному водопроводному крану, чтобы получить хоть немного воды.

В прекрасных киевских садах и парках деревья рубили на дрова. Город обезобразился гипсовыми бюстами Ленина. Изнуренные террором, голодом, сыпняком киевляне ходили с тупо испуганными лицами. Киев стал коммуной перепуганных

нищих. По ночам все спали с открытыми окнами, чтобы зараннее услышать приближение обыска или ареста. Жизнь людей управлялась приказами, мандатами, ордерами, мобилизациями, уплотнениями, выселениями, контрибуциями, реквизициями и расстрелами. Коммунистические газеты печатали списки расстрелянных « в порядке красного террора », а в органе чеки « Красный Меч », газетке никогда еще невиданной в мире, чекисты за всякое сопротивление грозили новым террором.

На Лукьяновке, окраине Киева, в каменном флигеле жила моя мать, тетка полковница Е. К. Высочанская и их друг А. Д. Похитонова, дочь в былом известного генерала. Голод, террор, бездровье, безводицу, солдатские постои и все испытания, которым чернь подвергала русскую интеллигенцию, женщины переносили достойно. Жили тем, что выменивали на еду еще остававшиеся, не Бог весть какие вещи. А когда на базар нести уже было нечего, разошлись на работу по чужим людям. Мать пошла в услужение к жившей неподалеку старухе. У старушки оставалась еще всякая заваль на мену, а главное, был сад с огородом, что в эпоху интегрального коммунизма всякому представлялось несметным богатством. Став прислугой за все, мать носила на базар яблоки, стирала белье, мыла полы, убирала дом, работала в огороде и готовила на восьмерых буденовцев, стоявших постоем у тихой старушки. Эти удалые, нахрапистые парни тоже помогали жить; с кладбища, разрушая последнее жилище мертвецов, они воровали кресты и могильные ограды и распиливая их, создавали дрова; в эту лютую зиму многие киевляне так спасались от замерзания.

Старушка из-за возраста революции уже не замечала. Даже на дубасивших на рояле буденовцев глядела как бы из потусторонности. Только изредка, когда к ней приходила подруга по Смольному, она оживлялась и тогда обе старушки за желудовым кофе с лепешками из картофельной шелухи вспоминали о шифрах, о шалостях, о том, как в высочайшем присутствии на выпускном балу танцовали качучу. А за стеной политком учил только что обворовавших кладбище буденовцев тому, что красная армия есть передовой отряд мировой

революции, которую Ленин ведет к победе над мировым капиталом. И мимо дома с грохотом пролетали темные грузовики с вооруженными кожаными куртками, везшими арестованных понурых казров, валютчиков, спекулянтов.

Но на вторую зиму у матери уже не было ни шубы, ни обуви, чтоб ходить на базар и она поступила нянькой в детдом, переполненный беспризорными ребятишками, в буквальном смысле слова детьми революции, ибо родители их расстреляны, пропали без вести, умерли от сыпняка. Здесь в нетопленном детдоме мать и получила мое, отправленное с оказией, письмо из Гельмштедта, из которого узнала, что старший ее сын стал шахтером на соляной шахте, а младший дровосеком в брауншвейгском лесу. Счастье этой вести было велико, но оно смешалось со страхом: а вдруг из этой немецкой шахты, из этого брауншвейгского леса вздумают возвращаться в Россию, на родину? И в одну из морозных, зимних ночей, когда плакали некормленные ребятишки, мать решила уйти к своим сыновьям. Пешком из советского Киева в Германию? Да. И это решение стало жизнью матери, благодаря ему она как будто даже жила уж не в затерроризированном, голодном Киеве, а где-то гораздо ближе к своим сыновьям.

У Анны Даниловны Похитоновой от отца генерала осталась военная семиверстка со всеми дорогами, селами, хуторами, лесами, местечками, реками. Приходя ежедневно к ней, мать наизусть заучивала путь своего побега из Киева до польской границы, выбрав, как верующая, направление на Почаевскую лавру. Оставалось только ждать тепла, лета.

Майским погожим вечером, когда всё уже на Лукьяновке зазеленело и в загложших садах пели невесть откуда залетающие соловьи, а на согретых солнцем крышах, распластав хвосты и крылья, грелись серопепельные голуби, в калитку сада неожиданно вошла моя старая няня Анна Григорьевна Булдакова. Несмотря на теплынь — в валенках. В родном пензенском Вырыпаеве, получив письмо матери, Анна Григорьевна сразу

поняла немудреный шифр и правдами и неправдами, с палкой и котомкой добралась до Киева.

После первых слез радости Анна Григорьевна сразу же сказала, что одну мать не отпустит, а пойдет с ней. И тут же стала разуваться и отпаривать подметки валеных, в которых принесла остатки добра. Из стоптавшихся за дорогу валенок к всеобщему огорчению керенки вынули до того промокшие и порыжелые, что мать, няня, все тут же принялись разводить плиту, сушить и разглаживать их утюгами.

XI.

Небо, ветер, облака. Длинными волнами рябится пшеница. От этого безразличья солнца, ветра, пшеницы, облаков людям на революционной земле еще страшнее. Нарочито отстав от неизвестных попутчиков — Бог знает с кем идешь в революцию? — мать и Анна Григорьевна идут от Бердичева по большой дороге, пылят по ней веревочными самодельными туфлями. В полдень под березами, обставшими шлях, набрали сучьев, со спины отвязали чайник, на костре задымил чай и, подкрепившись, зашагали дальше на село Чернобыль, ускоряя по проселочнику заученный матерью путь.

Странницы идут с палками, с мешками за плечами. Чтоб расплачиваться за еду, за ночлеги, за перевод через границу, в мешки натолкали отовсюду собранные полотенца, платки, кофты, салфетки, простыни.

— Замучились? — говорит Анна Григорьевна, глядя на мать, — вон девки с поля идут, попросим мешки донести, по полотенцу дадим.

И странницы садятся на придорожный пригорок, поджидая девок, ситцевыми пятнами вышедших с межи. Девки идут неспешно, поют пронзительными голосами. Только подойдя, оборвали пенье, с любопытством рассматривая сидящих у обочины странниц. За полотенце, смеясь и давя друг друга, девки кинулись к мешкам. И порожняком Анна Григорьевна и мать легко ступают за ними. Вот уж сельское кладбище,

палисадники, хаты, тополя; на сельской тихой улице мать развязала мешок, расплатилась двумя полотенцами. В восточном лиловом сумраке и в западном алом закате темнеет сельская пузатая церковь с высокой звонницей. «Может, просвирня иль церковный сторож пустят?», говорит Анна Григорьевна; и палкой постучала в дверь двухоконного, присевшего на бок дома.

— Кто там? — небыстро ответил за дверью женский голос и на порог вышла женщина с гладко зачесанными волосами и закаченными по-локоть рукавами на жилистых и длинных мокрых руках. — Входите, входите, — сказала просвирня, — странных как не пустить, только горе у меня, дочь хвора, в горницу-то не зову, тут уж разбирайтесь.

В горнице на деревянной кровати, надрывая грудь, кашляла девушка. Просвирня взялась раздуть потухший самовар и вскоре в темноватой прихожей, освещенной светом розовой лампы, мать засыпала на лавке и этот сон у просвирни был как никогда отдохновенен. «Мам... а мам... кто пришел... а?» — «Странные, Лиза, странные», — слышит, засыпая, мать. Мам... а куда они идут?», заливается легочный клокочуший кашель больной девушки — «Далеко, Лиза, далеко...»

Звон к ранней обедне разбудил странниц. По церковному двору, вея космами, прошел священник. Охая и крестясь, на крыльцо кормить кур вышла просвирня. Солнце, куры, тишина, у церкви, обивая с него поржавевший, облетающий цвет, ветер треплет сиреневый куст.

Застив ладонью глаза просвирня с крыльца глядит вслед уходящим странницам. Несмотря на шестьдесят четыре года Анна Григорьевна идет легко, отдохнула и мать. Проселочник стелется меж пшеничных полей, с них налетает духманный ветер, а в полях тишина, только высоко трепыхается, словно не могущий улететь, утренний жаворонок, да где-то далеко в поле ковыряется скорчившийся одинокий мужик.

Знаток духовных стихир, Анна Григорьевна неестественным крестьянским наголоском находит поет тропарь покровителю плавающих и путешествующих Николаю Угоднику «Пра-

вило веры, образ кротости»; так всегда тоненько-тоненько, по монашечьи певала странствуя по святым местам. Мать наизусть знает, что пройдя за Романов им надо свертывать на Миргород. За ними, нагоняя, тарахтит телега, поднимает в солнечных лучах клубы горячей пыли; изредка возница лениво взмахнет кнутом; поровнявшись мужик долго глядит на странниц, пока они не скроются у него из глаз; и опять поля, дорога, в небе длинные растянувшиеся облака.

В Романове мать постучалась в крайнюю хату; окошко приподнялось, выглянула повязанная платком баба с бельмом на глазу.

— Ночевать пустите?

Недружелюбно одним глазом оглядывая странниц, кривая баба не отвечала.

— Мы полотенце дадим.

— Идите, — сказала равнодушно и слышно, как босиком прошлепала к сням, с шумом сняв щеколду, — только в хате-то местов нет, самих пятеро, под навесом переспите.

Навес обступили пирамидальные тополя с блестящими, словно отлакированными листьями; в лунном свете тенями на стене чернеют вымахнувшие саженные мальвы; с соломы матери видны небо, звезды, но дорожная усталость уносит мать в бессознание, ей кажется, что она летит вместе с этой ночью, с лесным поселком, неразделимая от этих серебряных звезд, от тополей, освещенных желтым обрезком мусульманского полумесяца.

На рассвете баба хозяйски осмотрела полотенце и после этого рассказала, как итти на Миргород.

ХII.

Полями, лесами, межами, проселочниками, большими трактами уже давно идут странницы, делая в переход верст по тридцать. Растертые ноги лечат подорожником, недаром он и растет по обочинам дорог; иногда за день не встретят живой души, иногда от верховых, от подозрительных пеших, хоро-

нясь, бросаются в хлеба. Раз испугались в поле двух вахлаков, один оборванный, взлохмаченный приостановился и с сиплым хохотом закричал: «Семка, а одна-то ще годится!». Молча, испуганно, не оглядываясь, уходили от них странники.

После многих ночевок мешки попростались. За долгий путь люди встречались разные, кто совсем не пускал ночевать, говоря «много вас теперь шляется, может буржуи какие беглые скрывается», кто запрашивал и кофту, и полотенце, с ними торговались, а многие ничего не брали, кормили и указывали дорогу.

Уже давно странники идут по следам войны, попадают обвалившиеся окопы, разбитые артиллерией церкви, сожженные хутора, в изнеможеньи повисшие меж речными берегами взорванные мосты. Над безлюдными полями, через силу маша крыльями, тянут стаи грачей. В полевой тишине Анна Григорьевна поет «Волною морскою скрывшего древле», а мать идет с думами о своих детях.

После многих недель пути, подходя к Полонному, мать сильно волновалась: тут надеялась узнать, где лучше перейти границу. Но за неделю жизни в Полонном ни у кого не узнала, годно ли для перехода заученное ею по семиверстке направление. А задерживаться нельзя, в волнении и бездействии только падают силы, и мать решила все-же идти на-авось по зарубленному в памяти пути, жившему в мозгу огненной ломанной линией, уводящей из России.

Перед уходом пошли на реку искупаться. Медленная река дремала на солнце. У мостков бабы полоскали белье, словно со злостью колотя его вальками. С мостков, завизжав, в реку бултыхнулась широкобедрая баба и поплыла, подбрасываясь лягушкой, показывая из воды ягодицы. Купаясь, баба перекликалась с товарками, и наконец выскочив, схватив одежду и трепыхая грудями, согреваясь, побежала по траве. Возле поодаль раздевавшихся матери и Анны Григорьевны, она приостановилась и, присев на корточки, стала одеваться.

— Ох, тут глыбко, не суйтесь, у нас прошлый год тут

парень утонул, — проговорила баба, останавливая пошедшую-было в воду мать. — А вы нездешенские?

— Нездешние, мы на богомолье идем, — и под влияньем все того же томящего страха за правильность взятого пути, мать неожиданно для самой себя вдруг добавила, — в Почаев хотим, да вот не знаем, как границу-то перейти.

— Ааа, — таинственно протянула баба и сделав значительное лицо, подсела поближе, подрагивая холодеющим под рубахой телом. — А я вам вот что, я вам человечка найду, через границу водит, — зашептала она, — брат мой, если хотите проведет и дорого не возьмет.

Прямо с реки мать пошла к бабе. Бабина хата темная, в красном углу смуглая божница с картинками святых, густо засиженными мухами. У печи что-то стругает хмурый солдат, бабин брат, контрабандист, ходящий за товарами в Польшу. Выслушав зашептавшую сестру, он не изменил хмурости лица и исподлобья оглядев мать, пробормотал, что раньше чем через неделю не пойдет. Но с ним мать и не согласилась бы итти, уж очень жутко, и мать ответила, что неделю ждать не может.

— Как хотите, ступайте сами, только вострей глядите, у границы-то там не милуют, — проговорил солдат и опять застругал, взвывая фуганком стружки.

Веря в свои молитвы, которыми горячо молилась на-ходу по лесам, по дорогам, по ночам в чужих хатах, мать решила завтра же итти на Шепетовку по заученному по карте пути. Последнюю ночь в Полонном мать молилась, как никогда. А в желтоватой мути рассвета, с полегчальными мешками странницы уже шли вдаль новой дороги. Но чем ближе к границе, тем путь опаснее, состоянье томительней, иногда пугались случайного крика, подозрительно глянувшего встречного, часто бросались в хлеба, скрываясь от пеших, конных, от проезжавшей телеги.

Когда дошли до лесного железно-дорожного пути на Шепетовку и пошли по шпалам, вздохнули свободней: встречных нет, тишина; только раз издалека показалась дрезина и

на ней, будто, вооруженные. Что было сил странницы сбежали под откос, залегли в чащобе. Были слышны голоса, гул колес и опять всё напоено лесной тишиной. За день увидели только один перегруженный пассажирами поезд, из которого какой-то ребенок замахал им белым платком.

К вечеру, дойдя до железнодорожной будки, решили попроситься переночевать у старика-сторожа. Старик принес сена, настелил на полу и, осмелев, странницы рассказали, что идут в Почаев на богомолье, да боятся пограничников.

— На Шепетовку ни-ни, упаси Бог, не идите, — проговорил старик, — в каждой хате солдаты, — и пригоршней чеша седую кудлатую бороду, добавил, — вы полотна держитесь и лесом на Словуту берите, а на Шепетовку ни-ни, пропадете, верное дело.

Мощные словутские леса режут под натиском ветра; сосны, ели ушли в поднебесье; в бору пахнет смолой, грибами, всей пахучей духотой краснолесья. Приостанавливаясь, странницы собирают ежевику, костянику, на полянах не раз кипятили чайник, закусывали и снова идут по ревущему многовековому лесу, по дорогам изрезанным сказочными корневищами. В отрочестве мать мечтала вместе с набожной теткой Варварой Петровной пойти богомолкой по России, но пошла вот только так на Почаев, в революцию.

В лесу Анна Григорьевна поет: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его», а мать полна смятенных воспоминаний. То внутренне увидит на керенском балконе отца за чаепитием и словно услышит его ласковый голос и слезы позднего умиления подступают к горлу; то вспоминает рано умершего мужа, жизнь с ним в Пензенском доме, в имении, как каждый год вот этой же дорогой через Варшаву ездили в Германию, в Бад-Наухейм, а потом после лечения мужа отдыхали всегда в Париже, а из Парижа в Пензу возвращались через Италию, Вену, с непременно заездом в Москву, чтоб в Художественном увидеть новые постановки, в Большом послушать Шаляпина и вечером с друзьями семейно заехать к цыганам в загородный Яр. Вокруг матери стонет словутский лес. На груди

у нее, под кофтой еще бабушкин медальон с выцветшими фотографиями мальчиков трех и четырех лет и она никак не может представить их шахтером и дровосеком; и горло сжимается любовным ощущением близких слез...

Когда в Словуте странницы вошли на базар, матери стало не по себе от пестрого базарного гомона. Ржанье лошадей, крикливые бабы, красноармейцы, мычанье коров, евреи в лапсердаках, еврейки в париках и чтобы как-нибудь разобраться в этом чужом мире, она поторопилась зайти в подвальную харчевню. За немытым веками прилавком стояла пожилая еврейка в засаленной кофте, под которой, как рыбы, волновались большие груди. Увидав новые лица, словоохотливая корчмарша затараторила с странницами и пока женщины ели и пили, она подсев рассказывала им то о том, что ее сын пропал без вести в Сибири, то о том, что у здешних красноармейцев деньги по карманам тыщами, то о том, как под Славутой убили князя Сангушко и как разграбили княжеское имение. «Такой погром стоял, такой страх...», быстро шептала корчмарша и вдруг словно увидев что-то ее поразившее, схватила мать за руку. «Руки-то у вас какие белые? Кто-ж вы такая?»

— Портниха... из Киева.

— Ах, портниха? — протянула корчмарша, с недоверием выпуская руку матери.

И хоть не зла наверное была корчмарша, и хоть совладела с собой мать, а все-ж поторопилась уйти из харчевни.

На окраинной словутской улице, играя в чижик бегали ребяташки, скакали на одной ножке. Уж виднелись поля, когда прямо из проулка на странниц вышел скуластый, толстоплечий человек в рыжем френче. «Комиссар», пронеслось у матери и сердце захолонуло, а френч остановился, коротко крикнув:

— Документы есть?!

— Есть, — ответила мать и от взгляда скуластого стала снимать со спины мешок. Мгновения ужасные: документов никаких. Стараясь сдержать овладевавшую телом дрожь, сама не представляя, что сейчас произойдет, мать хотела лишь дольше рыться в мешке, оттягивая ужасную минуту. Комис-

сар, хмуро покуривая, пытливо взглядывал то на мать, то на Анну Григорьевну и вдруг из того же проулка стремглав выбежал молоденький красноармеец, бешенно закричав:

— Да иди же, ты! Готово!

Наотмашь отбросив бычек, выпустив стаю соленых ругательств по адресу матери, что не может найти документы, комиссар бросился бегом и в проулке они оба скрылись. Только тогда Анна Григорьевна увидала до чего бледна еле держащаяся на ногах мать, завязывавшая дрожавшими руками мешок.

— Заарестовал-бы, Бог нас хранит, — зашептала старуха.

Почти бегом женщины заспешили из Словуты и в вечернем поле на пшеничной меже затерялись. Вечер, ветер, тишина. Вышли на старый, обсаженный ветлами тракт с столбами в уходящих белых телеграфных стаканчиках. Кругом та же бесконечная Россия, безразличные к человеку жестокие вечерние поля, синечерные леса и катящаяся дорога; только чем ближе к границе, тем сильнее гудят телеграфные провода, тем напуганней люди и страшнее итти, словно подошвы пристывают к земле.

С плеском быстрых крыл пролетела с полей голубиная стая. Под селом Панорой дорогу пересекла ржавая, мутная речужка, вместо моста перекинута бревно и на берегу валяются две слепи для перехода. Ими опираясь о дно, мать и Анна Григорьевна перебрались через шелестящую темную речку и в улице у крайней хаты, заметив у заваленки копающуюся девчонку, мать спросила ее, не знает ли, где б пустили переночевать?

Девочка повела их вдоль темной улицы, доведя до хаты, где возилась в сених простоволосая баба. Чтоб расположить хозяйку, мать в сених же развернула перед ней оставшиеся юбку и платок, и взяв за ночевку эти драгоценности, баба даже растрогалась.

— Вы мене слушайте, — шептала она, сидя на лавке со странницами, — у мене крестник есть, парень тихий, все

тропы знает, вы ему заплатите, он и переведет вас через границу.

И баба тут же послала девочку за крестником, а пока его ждали, хозяйка все хвалила юбку, все примеривала ее к себе, поглаживая ладонями.

— Сама бы на Почаев пошла, жизнь то какая, — завздыхала вдруг баба, — у мене вон зять маво мужа убил. Сам курицы не зарежет, а вот поди ты, попутал сатана, поссорились, схватил ружье, да и убил враз, — и вдруг неожиданно, длинно, ручьи́сто баба заплакала, утираясь подолом.

В хате родилось молчанье, но в сенях кто-то завозился. Мать обрадованно подумала, что пришел крестник, но вместо него в хату вошел низкорослый мужик какого-то забитого, несчастного вида и мать почему-то сразу поняла, что это и есть убийца. Оглядев странниц, мужик поздоровался даже как-то застенчиво. Баба тут же отвела его вглубь хаты, заговорив с ним полусшепотом, но мужик сразу же отмахнулся.

— Я таких делов не делаю, — сказал строго, — за такие дела нынче пропасть можно, пускай Сенька хочет и переводит.

И вдруг непреодолимый ужас охватил мать; болтливая баба, убийца-зять, какой-то крестник, всё стало страшно в полутемной избе; выдадут, донесут, захотят ограбить. Зять стал возиться у печи, что-то доставая из темной бочки, а баба всё спрашивала мать, лезя в душу, кто, да откуда, да к кому идут, да когда вернутся?

Тощий, квелый паренек лет семнадцати с рано выцветшим лицом вошел в хату в сопровождении девочки. Выслушав мать, он деловито помолчал, потом сказал, что пробраться через границу можно, только с опаской, пограничники в хлебах залегают, ловят и арестовывают.

— Да мы ночью прокрадемся, — проговорила Анна Григорьевна.

— Ночью ни-ни, убьют, иттить середь дня надо, — с знаньем дела произнес паренек, — когда солнце высоко, солдаты на обед уходят, вот и надо иттить.

За пятьсот рублей керенками и две оставшиеся в мешке

Анны Григорьевны простыни паренек согласился вести через границу России. Эту последнюю в России ночь нужно было выспаться, собраться с силами, но несмотря на усталость от четырехсотверстного пути мать заснуть не могла. То стонал на печи убийца-зять, то переворачиваясь с боку на бок, чешась от блох, кряхтела баба. В темноте сеней мать лежала переполненная волнением, всё молилась Богу и какими-то обломками громоздились воспоминанья счастья прожитой жизни, с которыми прощалась, ужас возможного ареста, лица сыновей, всё наплывало жестоко изнуряющей смесью бодрствованья и сна и опять уходило в темь ночи.

Еще только свежел восток, а тихий паренек уже вошел в хату. С сильно бьющимся сердцем, подрагивая от холода рассвета и от волнения мать вышла. «С Богом, с Богом», шептала в сенях заспанная баба. Паренек проворно пошел шагов на двести вперед. Странницы еле поспевали за ним, все боясь упустить из глаз его пеструю рубаху. Как только он оборачивался, делая условный знак, мать и Анна Григорьевна бросались в пшеницу, залегая в ней, а когда раздавался его далекий свист, выходили и опять шли за его мелькающей, удаляющейся рубашкой.

Мать всё чаще взглядывала на поднимающееся солнце, оно уже высоко, стало-быть и граница близка. Сейчас собрав все силы, надо решиться на самое страшное: перейти границу России.

Паренек манит, подзывает к себе; странницы заспешили.

— Нельзя мне дальше, теперь одни ступайте, — зашептал он, — вон, луг видите, за лугом хата под новой крышей, там и стоит польский кордон. Да вы не бойтесь, идите спокойно, будто вы никуда и не бегёте и никакой границы тут нет, а луг он луг и есть, — и взяв уговоренные керенки, паренек заспешил от странниц.

Зеленый луг в полевых цветах на опушке леса, это и есть та заветная граница России, о которой изучая карту, думала мать. Вот она дошла, она перед цветущим лугом, за которым уж Польша, поход кончен, но нужно еще самое

страшное усилие: среди бела дня, у всех навиду перейти этот зеленый в белых ромашках, в кашке, в желтом зверобое простой и словно заколдованный луг. Это жутко. Кругом лесная тишина, никого. А матери чудится, будто каждый куст, дерево, рытвина, поросль всё живое и всё стережет ее каждый шаг.

Как сказал паренек, мать и Анна Григорьевна по лугу стараются итти «быдто спокойно», но ноги не слушаются, почти бегут, сердце их торопит. Мать чувствует, что это нехорошо, что это может стать подозрительным, но удержаться уж нет сил. Сейчас луг кончится, с ним кончится и Россия. Еще каких-нибудь пятьсот шагов и они за границей и надежда увидеть сыновей будет настоящей. Кругом знойная полуденная тишина, ни звуков, ни голосов, только лесной звон в ушах. И вдруг где-то совсем рядом, с русской стороны: «Эй, тетки, тетки, куда вы, кудааааа?!» Мать и Анна Григорьевна бросились бегом, а вслед всё летит длинный крик и хохот. Это посмеялся, сидевший у дерева, на русской стороне дуралей-пастух.

Но они уж бежали по Польше, хоть им всё и не верилось, что это не Россия. И только когда навстречу раздались польские голоса и из кустов вышли человек шесть пограничников, женщины поняли, что они уже не в России.

— В комендатуру! — проговорил старший, и от польского языка, чужой формы, чужих лиц повеяло чем-то, от чего беспомощно сжалось сердце.

Пограничники вели их к той хате под новой крышей, что показывал паренек с русской стороны. В хате их оставили наедине с хитроглазым пожилым хуторянином. «А вы, чтоб в комендатуру-то не вели, заплатите им, тут завсегда так делается», подмигнул хуторянин. У него мать и обменяла керенки на злоты, он их и передал старшему команды; на границе двух держав хитроглазый хуторянин был и адвокатом, и маклером, и менялой. Но как только женщины вышли из дома, молодой солдат с отталкивающим лицом куницы двинулся за ними.

— Он вас до дороги проведет, — проговорил старший.

Увешанный винтовкой, револьвером, гранатами, одетый с иголочки солдат повел женщин напрямки по чаще; они еле продираются, а чащеба березняка все глуше. Мать замечает, что поляк сворачивает туда, где продаться почти уж нет возможности и обеих женщин все уверенней охватывает страх. Еще в Киеве рассказывали, что пограничники убивают и грабят перебежчиков. Издали слышен только стук топоров да голоса дроворубов и будто от этих голосов солдат и сворачивает всё глубже в чаще.

Анна Григорьевна с матерью переглянулись.

— Где ж дорога? — остановившись, проговорила мать.

— Идите! — яростно закричал солдат.

Но женщины не идут. Мать видит разгоряченное, хищное лицо мальчишки, узкие рысьи глаза словно ощупывают ее, словно ищут где спрятаны на ней деньги.

— Я к сыновьям иду! — вскрикнула мать, — у вас тоже мать есть, куда вы нас ведете? Отпустите! Я все вам отдам! ... и мать полезла за деньгами.

Это движение могло их только погубить, ободрив еще не решавшегося на убийство мальчишку. И словно поняв это, Анна Григорьевна вдруг с палкой рванулась к нему и, как сердитая старуха ругает на деревне хулигана, закричала:

— Подлец ты! Креста на тебе нет! Деньги взяли, ограбили, а ты еще, негодяй, хочешь! Нехристь ты окаянный! — наступала с палкой вне себя от ярости Анна Григорьевна.

От ее ли криков, от донесшихся ли звуков топоров, но солдат оторопел и выхватив у матери из рук деньги, бросился в чаще. Женщины с испугом ждали: будет стрелять иль уйдет? Но бегущими, замирающими шагами солдат ломал кусты. И им вдруг стало слышно пенье птиц, которого раньше не было.

Роман Гуль

(Окончание следует).

АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ*)

(Роман)

44. Праздник

Солнечное, летнее утро, раннее, ясное. Возбуждение предыдущего дня, наконец эта чудесная бумажка, — «расы не определенной», — слишком много впечатлений. Человек, вообще, больше приспособлен к неудачам. Не сиделось на одном месте. И Боб, несмотря на больную ногу, предложил Сабине отпраздновать этот день. Выбор был небольшой. Слонялись по городу. Посмотрели витрины на Пятом Авеню. Съездили открытым автобусом — в обе стороны. Сходили в синема на Бродвее. Устали.

Всей компанией обедали в Sea food: огромные омары и белое вино. Потом вернулись домой, т. е. к Сабине.

Настроение у всех друзей было приподнятое. По новому, с уважением глядели на Боба, прислушивались к его словам: победитель.

Особенно неистовствовал Прайт, пожалуй слегка возбужденный вином.

— Да понимаете ли вы что случилось? — вопил он, нервно расхаживая по комнате. — В состоянии ли вы сообразить? Нет, нет, это чудо. И зачем я, дурак, отказался. Всю жизнь я мечтал о нечто подобном, и вот когда оно давалось мне в руки: испугался, предал и потерял. Я совсем не глуп и не плох и не

*) См. 12-ую, 13-ую, 14-ую, 15-ую и 18-ую книги «Нового Журнала».

труслив. А поступаю именно так: глупо, подло и трусливо. В чем тут секрет?

Сабина радостно и горделиво слушала его покаянную речь. Ведь она всегда утверждала, что Прайт не безнадёжен.

А Боб Кастэр, счастливый, одурманенный, разливал вино по стаканам, чокался, кланялся, готовый всем протянуть руку, забыть старые обиды, если надо, помочь.

Вечером неожиданно появился и Патрик, бывший муж Сабины. Он привез все нужные бумаги: развод утвердили. Патрика перевели уже в лагерь вблизи Нью-Йорка, откуда солдат отправляют непосредственно в Англию.

— Впрочем, — объяснил он тихим, вежливым голосом, — некоторые части дожидаются своей очереди неделями, а то и месяцами.

Он оказался и лучше и хуже чем его себе представлял Боб по рассказам Сабины. Через какую узкую щелочку люди видят друг друга! В сущности они замечают только лично им приятное или неприятное в человеке, а на остальное не обращают внимания. (Сабина несколько раз повторила, что Патрик сильно изменился и что военная форма ему очень к лицу).

Патрик производил впечатление делового, трезвого гражданина, любящего точность, определенность; все непонятное ему он презрительно называл «мглой», для слабых и глупых людей, и отстранял от себя как ненужное и даже враждебное. Интересовался он политическими и социальными новостями: помнил имена известных газетных корреспондентов и что они писали о Гитлере, Сталине и Черчиле.

Присутствие солдата, который, быть может, в ближайшие недели будет штурмовать берега Европы, придавало беседе особую остроту и целесообразность.

Заговорили о степени ответственности немецкого народа. Доктор Спарт доказывал, что виноваты, главным образом, не палачи, грубо казнившие невинных, а немецкая культура в целом.

— Расизм порождение немецкой национальной души, точно так же, как идея социального рая характерна для русского

национального гения. Немецкая философия, наука, музыка, подготовляли и родили эту доктрину. В той или иной степени и Гете и Лейбниц и Вагнер и Гегель и все другие немецкие герои объединены одним духом, страдают тем же недугом.

Не ограничиваясь голословными утверждениями, Спарт начинал по пунктам разбирать монады Лейбница, бога истории Гегеля, «чистый» разум Канта и всех, что строили с упоением систему вселенной на манер тюрьмы, в которую заключали человека уже связанного по рукам и ногам.

— Борьба должна вестись против немецкой культуры и в первую очередь против немецкого языка, а не против расы или отдельных палачей! — утверждал Спарт.

А когда Патрик, чуждый крайностям и преувеличиваниям, называл имя немца, пожалуй, бесспорно заслуживающего уважение, доктор Спарт возражал:

— Он не характерен для их основной линии... он австрийской культуры... он наполовину славянин...

— Пока в мире будет хоть одно голодное или униженное существо, войны и революции неотвратимы, — говорил в свою очередь Боб Кастэр.

От Патрика ускользала связь между всеми этими отдельными утверждениями. Он ненавидел сумбур. А сумбуrom он считал все, чего не понимал. Патрик любил видеть точно: очертания предметов и суть вещей. Он так и говорил: «Я этого не вижу... или: мы видим, что...»

Доктор Спарт наконец возмутился:

— Послушайте, ведь зрение не есть главный критерий действительно существующего. Зрение часто мешает даже, рассеивая, отвлекая внимание. Зрение совсем не основная функция нашей души, почему предоставлять ему господствующее положение? Гегемония зрения в нашей культуре, в науке, в философии, в искусстве привела к катастрофе. Иногда человек слепнет и лишь тогда для него открывается целый мир. Возьмите для примера: глухо-немого от рождения и слепого. Чья душа более беспомощна, уязвлена, ближе к скотскому состоянию

подчас? Именно душа глухо-немого. Мир звуков, и главное Слова, важнее. А вы все: «увидим, я не вижу, мы видим».

— Вы все какие-то артисты, философы, творческие люди, — усмехаясь, тихо заметил Патрик. Чтобы построить дом, нужен один архитектор и много кирпичей. И кирпич должен лежать там, куда его положили, иначе ничего не получится. У нас в конторе какие-то люди бегали, суетились, руководили, составляли планы; а старик, работавший в лифте, проторчал на этом месте сорок лет. И ему в голову не приходило шевелиться, двигаться; то же самое телефонистки, упаковщики. И это самые полезные люди для предприятия. Благодаря им в шахтах добывается уголь, заводы производят полезные вещи, корабли выходят в море и солдаты выигрывают войну. Вот я такой кирпич и только.

— Наш долг быть одновременно и кирпичем и архитектором, соединять в себе их черты, — сказал Боб.

Патрик уклончиво пожал плечами и откланялся. Ему хотелось еще погулять на Таймс Сквере.

А через две недели Кастэр и Сабина обвенчались. Присутствовали все друзья; ждали Патрика: он обещал приехать, если получит отпуск и если еще будет на этом берегу. Но он не явился. После церемонии гуляли за полночь на новой квартире законной четы (Вест 12 улица); Прайт мучительно опьянел и расшиб себе лоб об умывальник; Магда нежно за ним ухаживала.

45. Кирпич

Действительно, в пятницу, — за несколько дней до высадки союзников в Нормандии, — когда Патрик собрался ехать в Нью-Йорк, по лагерю разнеслась весть: больше не дают отпусков, а выданные недействительны. Это означало: погрузка. Все заволновались, подтянулись; даже определенные трусы и бабы заразились общим мужественным настроением. И если бы их в тот же вечер отправили куда-то и выставили на линию огня, то многие, легко и весело, сделали бы героями. Но до этого было еще далеко. В таком состоянии нервного подъема

они провели еще два дня. Бестолковые, противоречивые распоряжения. Пришлось украдкой развязать узлы, снова устраиваться. Наконец, под вечер, их выстроили и продержали несколько часов под дождем; потом пришли камионы и тогда в ужасной спешке всех разместили по машинам. (Вообще, вся жизнь солдата состояла из смен недель томительного, беспокойного ожидания и часов внезапной и такой же бесцельной спешки).

К месту погрузки приехали ночью. Холодно и враждебно шумела вода; пахло гнилью. Солдаты были без ружей и боеприпасов, но с касками, ранцами и всем личным имуществом. И когда они, гуськом, на ощупь, под окрики офицеров, пробирались по узким, скользким сходням, то каждый уже чувствовал себя обреченным, попавшим в западню, сусликом. Разместились в трюме, готовясь к ужасам морской болезни, мин, подводных лодок, аэропланов, пятой колонны; начальству не доверяли, считая его небрежным и бездарным, и все меры предосторожности вызывали только презрительную улыбку. Сержант — хам, ябеда и подлиза. Лейтенант, — мальчишка, зарабатывавший до войны 22 доллара в неделю (все солдаты, в прошлом, зарабатывали или могли зарабатывать гораздо больше). О капитане доподлинно известно было, что он родственник крупного чиновника в Вашингтоне.

Начальство до того ненавидели, что всякого солдата, старавшегося быть образцовым, считали предателем. Сладострастно сплетничали: их обкрадывают, обманывают, продают.

Эти черты развились уже давно, в лагерях и казармах, но теперь, в обстановке корабля, опасности, неурядицы, проявляли себя с новой силою.

Выслушали объяснения морских специалистов, поглядели на спасательные приборы. Улеглись в трюме. Шептались. Говорили, что транспорт слишком велик и недостаточно защищен. Морские власти сняли с себя ответственность за благополучный переход, но армия настояла. Перехвачена радио-телеграмма из Буэнос-Айреса: подводным лодкам охотиться за этим кораблем.

Все готовы были верить; даже испытывали злорадное

удовлетворение: ибо все, что доказывало никчемность начальства, радовало.

Патрик через силу слонялся по палубе: кругом, до самой черты горизонта, виднелись, постепенно уменьшающиеся, силуэты кораблей огромного транспорта, — светило солнце и синяя, упруго выгнутая гладь, казалось, бесцельно перемещалась, оставаясь на одном месте.

Патрик начинает новую жизнь, как и Сабина; а если он вернется... спать — все сначала. Но он не жалуется. Патрик вспомнил обидный разговор с друзьями Сабины. Черномазый Боб, Спарт. ●они интеллигенты. Хитро говорят. А его дело маленькое: лежать там, где его положат. Он кирпич. Подумаешь: надо быть и кирпичем и архитектором одновременно! Попробуй это выполнить!

«Едем, едем, — стучало сердце. — Завоевывать Европу. Какой вздор».

Патрика стошнило. Осторожно пробрался к своим нарам, — в потемки и духоту трюма.

Через силу поели. Ночью сильно качало. Было чувство полной беспомощности. Хаос океана, а там еще подводные лодки: крадутся за ними, высовывают свой стеклянный глаз. Вся надежда на храбрых капитанов, бдительных и мудрых. (К морскому начальству армейцы относились почему-то с уважением).

Утром говорили, что один корабль потонул, бросали глубинные бомбы: кто-то слышал взрывы и крики, видел зарезо пожара.

И опять солнце, лоснящаяся туша живого моря: оно дышит, ритмически и стихийно. Начали привыкать, устраиваться; побрились, написали письма, а там покер и кости.

И когда, через десять дней, показались берега Англии, сердца тоскливо и грустно сжались: кончается еще один период, быть может самый приятный, их жизни.

В дождливый полдень подошли к черной, изуродованной прибором, земле.

— Это Глазго, — шопотом передавали друг другу солдаты. — Это Глазго.

В казармах их встретили соотечественники, уже несколько недель проторчавшие на новом месте; встретили в общем снисходительно и враждебно. Цепь недоброжелательства шла непрерывно от раненых в бою до тыла. Новобранец завидовал героям работавшим на оборону за хорошее жалование; старый солдат не любил новобранцев; переплывший океан давно презирал недавно прибывших; затем шли побывавшие уже в бою, но и там имелись свои оттенки и иерархии, дававшие право на ненависть.

— Oh, my darling, oh my darling, oh my darling, Clementine, — пели солдаты, возвращавшиеся с учения. Грязные, мокрые, с совершенно зверскими лицами, они тащили на себе тяжелую аммуницию.

— You are gone and lost for ever. Dreadful sorry, Clementine.

Слезая на берег, Патрик неловко подвернул ступню; на следующее утро нога распухла и болела. Он отпросился к доктору, — за мазью.

— Вы счастливчик, — шептал ему на ухо фельдшер, очень нервный паренек, с дурным запахом изо рта: — С такой ножкой вы можете записаться в госпиталь. Рентген, анализы. Хромайте, хромайте, да и только. А пока вашу часть отправят: половина перемрет, а вторая половина ляжет под машинами немцев. Понимаете? А вы сможете ловчить: знаю языки, специалист и к тому же еще психопат. Посмотрите на меня, — убедительно шептал фельдшер: — Я так сделал, а моих товарищей уже нет. Хотите в госпиталь?

— Я подумаю, — сказал Патрик. — Конечно соблазнительно.

Он шел назад, прихрамывая; вспоминал последние годы своей жизни. И Боба, Сабину, Спарта. «Что я кирпич или архитектор?» — с недоумением спрашивал.

В казарме его встретил сержант:

— Ну, что твоя ножка?

— Пустяки, — ответил Патрик. — Не стоит об этом говорить.

— Да? — сержант взглянул на него как-то особенно внимательно и строго.

— *Wish me luck as I wave you good-by. Cheerio, here I go on my way,* — пели солдаты за окном. — *Wish me luck as I wave you good-by. Not a tear, not a fear, make it gay.*

В то самое утро, когда Патрик побывал в госпитале и благополучно вернулся в казарму, за две тысячи миль, в Европе, жители маленького городка проснулись рано. Немцы начали сгонять отобранных людей еще до восхода солнца. Говорили, что их всех отправят в лагерь, но многие из обреченных знали, что это ложь: у железнодорожного моста осушили пруд и приготовили братскую могилу.

К 11-ти часам людей кое-как собрали и выстроили; оставшиеся на свободе начали появляться у своих ворот и окон. Они стояли молча с каменными лицами и смотрели. Колона почти сплошь состояла из стариков, старух и детей; по крайней мере такое создавалось впечатление.

Высокий человек, помоложе, но тоже обросший черной бородой, шел у обочины дороги, неся на руках белокурую девочку лет пяти.

— Папа, — говорила она, — мой папа.

— Не надо бояться, — отвечал он ей шопотом. — Не надо плакать. Ты должна обещать мне не плакать, не кричать.

— Почему? — с любопытством спрашивала девочка.

— Потому что это очень больно когда ты плачешь. Ты моя хорошая девочка, не правда ли, моя девочка.

— А там мы увидим маму?

— Я не могу тебе обещать, — серьезно ответил отец. — Я не знаю.

— Но мы увидим ангелов?

— Вероятно. Ты только крепче прижмись ко мне и через минуту все будет кончено.

— Мы будем все время вместе? — настаивала девочка, обхватила его рученками.

— Да. Может быть на секунду нас разъединят, но ты не

будешь плакать, потому что это только на секунду.

— Я не хочу остаться одна даже на секунду, — просила девочка.

Солнце припекало; неровно мошенное шоссе, засохшая грязь, пыльная бесконечная дорога. На окраине, у маленького домика дорожного сторожа, стоял бородатый старик с каменным лицом. Мимо него гнали это стадо изнуренных, грязных людей. Неожиданно, он рванулся вперед к солдату конвоя:

— Детей зачем трогаете, ироды, детей зачем трогаете? — крикнул старик и замахнулся.

Солдат не понял его слов, испуганно отпрянул, потом ударил его прикладом ружья; подбежало еще несколько конвойных, потных, разгоряченных трудной работой. Старик упал: «Ироды, — слышалось, — пррроклятые».

— Девочка, я могу обещать тебе, — прошептал вдруг отец: — Ты увидишь сегодня маму.

— Что они сделали, что они сделали? — с ужасом спрашивала она, не ожидая ответа. — Это злые люди.

— Нет, злые люди такого не делают, — возразил тихо отец. — Понимаешь, они не они. В этом вся загадка. Они не они. Потом они скажут: разве мы это делали? Мы не понимаем кто это делал, они скажут.

— Да, да, — повторила девочка.

У молодого березняка колону остановили, люди жались к тени. По ту сторону рощицы был пруд, осушенный для братской могилы: оттуда слышались ясные и звонкие, в сухом воздухе, — очереди автоматических ружей. Лихой, распорядительный офицер метался от роши к пруду и обратно, уводя с собою каждый раз несколько десятков человек.

Люди никли к деревьям медлительные и бледные, почти не разговаривая; изредка слышен был только плач грудного младенца, требовательный и тщедушный, покрываемый звериноподобными окриками терявших самообладание солдат стражи: они металась между обреченными, замахивались прикладами, почему-то не позволяя никому сесть или прислониться к дереву.

— Девочка, теперь время. — сказал отец: — Ты обещала

не плакать, — и судорожно обняв ребенка, сутулясь, он быстро зашагал, подгоняемый конвойным.

У сырой ямы, наполовину переполненной лежащими навзничь телами, стояли солдаты в черных мундирах; потные их лица были перекошены, рты открыты и оттуда вырывались неразборчивые крики. Конвойные ударами подгоняли близко своих поднадзорных, потом отбегали. Тогда солдаты в черных мундирах начинали яростно вертеть, — от бедра, — короткими автоматами, судорожно нажимая на гашетку... Люди бежали вперед со смеженными глазами, потом останавливались, открывали глаза и падали.

У края ямы, на корточках сидел немец в мундире, очкастый, с тяжелым длинным носом; он давно не стригся и его длинные волосы придавали ему сходство с Шиллером или другим романтическим поэтом; он торопливо заряжал свой автомат, впихивая дрожащей рукою новый диск; обгоревшая папироса жгла ему губы, он злобно сплюнул окурочек и выпростал ногу: затекало колено. В это время, навстречу, — под самое дуло, — шагнул, сутулясь, бородатый мужчина с девочкой на руках.

«Улыбается» — отметил немец и быстро, словно из пульверизатора, обдал их горячеей, свинцовой струей.

Человек постоял еще с минуту, потом вздохнул и медленно съехал на локтях в яму, прикрывая собою ребенка: только прядь золотистых волос разметалась снизу. Шиллер еще раз, наугад, выпустил короткую очередь в их сторону.

— Сволочи, сволочи, — вопил он, бешено сжимая ствол прыгающего ружья.

46. Новобрачные

Изредка Боб чувствовал на своем лице ее лучистый, счастливый, полный душевной решимости, взгляд. Он смущенно проводил рукой по своей щеке и спрашивал:

— Что, посветлел?

— Нет, отвечала Сабина, улыбаясь. — Но это пока не важно, — подходила вплотную, со всей доброй волей, на кото-

рую только была способна, и целовала, присасывалась: щедро переливала в него часть своих сил, жизненных соков.

«Вам нельзя долго стоять... Вам не следует нагибаться... Не утомляйте себя чересчур...» — то и дело слышала она, словно ее беременность лично касалась многих посторонних.

Вообще Сабине нравилось быть в центре внимания, но в данном случае это сочеталось с лишениями: диета, покой и прочее... Ей делалось скучно, все приедалось. Казалось никто ее не понимает. «Глупые. И все таки материалисты. Я лучше знаю что здорово и что вредно», — неожиданно заливалась слезами.

Магда жила теперь у доктора Спарга. В первую ночь после высадки союзников в Нормандии, они засиделись так поздно, слушая радио-сводки, что Спарг, боясь ее отпустить одну в Harlem, пригласил Магду к себе. Странно, она очень пришлась по душе его помешанной жене и доктор ей предложил остаться на правах компаньонки, сиделки, секретарши. Больная подружилась с Магдой: позволяла себя умывать, кормить, даже выводить на улицу!

Магда к ней относилась с материнской любовью; явно преувеличивая, расхваливала ее ум и душевные качества. Она реже стала навещаться к Бобу и Сабине; забегала иногда вечером: посидит, молча, усталая, одинокая и упорная в своей неприимности.

Колено Боба Кастэра, контуженное во время бегства с Острова, продолжало ныть и хотя рентгэн не показал серьезного повреждения, ему, однако, рекомендовали покой, ванны, компрессы. Он лежал, часто один, — по утрам Сабина все еще работала у Макса, — нежился, читал, довольный этим вынужденным, заслуженным отдыхом. Читал он детские книги приключений, возбуждавшие волчий аппетит и жажду к легкой наживе. В частности одолел Робинзона Крузо, — тип совершенного колонизатора, естественного представителя английского империализма.

По вечерам они теперь чаще оставались наедине. Странно, когда Боб и Сабина жили отдельно, им постоянно мешали гости.

Теперь же друзья, не то стесняясь, не то скучая, реже показывались.

Им случалось иногда по целым часам, занявшись каким-нибудь делом, не замечать друг друга. Сабина кроила, вязала, шила разные, известные по интуиции женщинам, вещи, необходимые для новорожденных. Иногда подсаживалась к Бобу, целовала, тормошила, объясняла назначение тряпки, распашонки.

Он тоже ее начинал вдруг ласкать, целовать в засос, рассказывал всякий вздор, делился своими мыслями, чувствуя: где-то она его стесняет, душит... ему нужна отдельная комната, кровать и в этом нет кажется преступления. И Бобу мнилось: поражение пришло с совершенно неожиданной стороны. Так победоносная орда, легко заняв провинцию исторического врага, вдруг узнает: тот в это время грабит их незащищенную столицу.

Почти счастливы, в ожидании потомства, которое, будто бы разрешит отложенные, спорные вопросы: швырнули приманку и обошли с тыла. Боб это ей неясно высказывал.

— Да, возможно, — соглашалась Сабина, прислушиваясь к истине, убедительной как жизнь, в ее чреве. — Да, не надо сдаваться, — ангельская, прекрасная, земная улыбка, обжигала изнутри ее лицо: она уже несколько раз чувствовала движение плода. (Казалось, «он» пальчиком, небесно легко, вопросительно притрагивается, спрашивает: можно, можно мне жить?) — Ах, я ничего не знаю! — радостно вскрикивала Сабина. — Знаю только что это жизнь! И какой хороший у нас Бог. И пожалуйста, не надо больше, please, s'il vous plait, bitte, пожалуйста, пожалуйста! — повторяла она, по детской привычке, это слово на всех языках и обнимала его, тормошила, ласкала.

Напрасно Боб ее уговаривал: «Спи, спи, поздно уже»... Она не желала уgomониться, веселилась как бесенок, усталая и предприимчивая.

Особого рода нега, лень, беспомощное доверие овладевало им: глаза слипались от усталости, что-то непонятное творила Сабина, смеясь хлопотала над ним. Боб морщился, кряхтел и безмятежно растворялся в этой сладостной стихии. Она при-

думала игру: кругом толпа людей, Боб укрыт с головой одеялом, Сабина обращается к свидетелям:

— Посмотрите на льва, посмотрите на волка, посмотрите на хищного зверя, все, все смотрите, вот он лежит...

И отбрасывала одеяло; заливалась неудержимым смехом: таким кротким ягненком он покоился на подушке.

47. Молитвенное состояние

В продолжении трех десятилетий основным занятием доктора Спарта было — выскребывание младенцев. Без всякого оправдания, без особой причины, предавался этой странной деятельности. До того бессмысленно, что он сам теперь этому не верил. Доктор Спарт отстранил от себя прошлое, нелепое и чужое... Легко перешагнув, — словно скинул потешный халат, снял маску и снова стал самим собою.

Магда привела в порядок его квартиру. Опрятные комнаты, чистые окна, занавески. Свет, воздух, шум жизни вдруг завибрировал, застучал по всем углам. Смолкло даже бесконечное бормотание его безумной жены... ее назойливый плач, прыжки к потолку (в сторону идеального мужа) почти прекратились.

По утрам, сразу после завтрака, Спарт уходил в свой просторный кабинет и усаживался за письменный стол. Он начал работать, читать, в связи с недомоганием Сабины: давно не занимался нормальной практикой, следует кое-что освежить в памяти... Вскоре, однако, границы его интересов расширились и он перешел к вопросам общей физиологии, патологии... Какая красота: все сложно и просто, ибо согласовано. Склонившись над книгой, Спарт восхищался и трепетал, подобно поэту, любующемуся закатом солнца, или философу, узревшему мудрость Божьей воли.

Все дисциплины, усвоенные им когда-то и забытые, теперь раскрывались перед ним как одно, сплошное, вечно повторяющееся чудо. Углубляясь в механику или химию пищеварения, доктор Спарт вдруг испытывал молитвенный восторг. И действительно, ему случалось молиться, — коряво, неумело, — благодаря Творца за величие, мудрость, совершенство задуманного мира.

Он даже несколько раз побывал в церкви, но привело доктора туда не чувство умиления, а откровенный страх за Сабину. Порою на него нападал непреодолимый ужас. Спарт привык уже связывать свою новую жизнь с благополучными родами Сабины и мучился, подозревая: опять злые силы вмешаются, опрокинут все расчеты. Есть в этом дьявольская логика. Судвоенным рвением принимался за свои, испещренные примечаниями, фолианты, перелистывал современные журналы, изуродованные рекламами сульфь, пенициллина, витаминов. Осматривал, протирал инструменты, давно не бывшие в употреблении, устраивал репетиции; повадился ходить в модный госпиталь, где честные коллеги, — извлекавшие главным образом аппендиксы, амигдалы, подстригавшие дамам носы, — зная дурную репутацию Спарта, безгласно сторонились его.

Внутренняя жизнь Спарта замерла лет тридцать тому назад и внезапно, теперь, получила новый толчек. Душа его еще жива: ее обдало теплым дождем и она зашевелилась, готова приносить плоды. Он разыскал свою старую записную книжку, род дневника... Пожелтевшие страницы, выцветшие чернила, а слова написаны точно вчера. Между молодым Спартом и теперешним, преображенным стариком легла только одна ночь: темная, пустая, жадная. Дневник напоминал ему Боба Кастэра. Не содержанием, а общим тоном неудержимой, священной, страдающей творческой воли и жажды преображения. Доктор Спарт удвоил свое внимание по отношению к Бобу: надо помочь. Но как? Все-таки странный случай. И чем больше Спарт заботился о других, тем сильнее становился сам и удовлетвореннее. «Главное счастье это дарить счастье», — с изумлением повторял он фразу из собственного, юношеского дневника. И вдруг снова сомнения, страх, овладевали им. Он понимал: удача в основном деле жизни человека не может притти легко... и видел близость возможных осложнений. В этом смысле особенно плохо на него влияла Магда.

С самого начала он ее не взлюбил. Считал: у Боба и без того много забот, нельзя отвлекаться. Как хирург знал: необходима жестокость. Кроме того, Спарт терпеть не мог психопат-

ток и от мистики Магды, где много бесенят уживались с маленьким ангелом, его мучило. Но он догадывался, как ей трудно сводить свой биологический бюджет, и не спорил с Бобом и Сабиной. В конце концов, они спасали Магду, быть может, от немедленной гибели. Трудясь над одним большим добрым делом, обязательно совершаешь попутно и много других положительных поступков (такова диалектика добра). Они выглядят мелкими, но кто знает, как впоследствии будет произведена классификация... И автор толстых романов через полвека остается в литературе только благодаря своим письмам к любовнице или к другу (с просьбой о десяти долларах). Однако, любовь Магды к его жене, — и благотворное влияние, — заставили доктора Спарта насторожиться; а разговоры ее приводили доктора в отчаяние. Получалось, что дело ее жизни как раз в противоположном. Победа Магды — их гибель! Беременность Сабины она считала мерзкой затеей, — с целью опутать, связать Боба, превратить его в раба, в трутня. Если с ним Бог, Он освободит Кастэра от этой женщины: это может случиться только если ребенок погибнет! Боб останется один и будет продолжать свой путь без соглашений, без уступок и сладеньких подачек. Когда-нибудь он, пожалуй, встретит девушку достойную его. (Связь Магды с Бобом особая, потусторонняя и помешать этому никто не в силах).

Слушая ее сумбурную речь, — чередование вздорных и верных замечаний, — доктор Спарт совершенно терялся... Ее доводы начинали ему казаться убедительными. И это его пугало и мучило. Даже любовь Магды к слабым и больным раздражала Спарта теперь и злила. Скрепя сердце он терпел, зорко однако, исподтишка, следя за ней, под разными предложениями оттесняя ее от Сабины.

Магда снова посещала собрания в подвале цирюльни, под председательством Джэка Ауэра. Пошла туда, чтобы доказать свою независимость от Боба, и постепенно втянулась, находя утешение в их играх, пищу для ума. Состав «Братьев» несколько изменился: один умер, один уехал и его место занял новый член общества, — Габи Виви, цирковой клоун. Если взять на-

чальные буквы имен политических деятелей этой эпохи: *Churchil*, *Hitler*, *Roosevelt*, *Il Duce*, *Stalin*, *Tojo*... то получится, CHRIST. Вот чем они теперь занимались, на пути внутреннего самосовершенствования.

48. Полет

В середине июля доктор Спарт торжественно заявил, что пора выбрать комнату в клинике: так делают лучшие пациенты. Сабина и Спарт поехали в больницу. (Днем Боб редко показывался с нею на улице. Негр рядом с белой женщиной на снегах, — даже рискованно).

В хорошее родильное учреждение доктору Спарту не удалось поместить свою клиентку: коллеги, знавшие его, взбунтовались. Пришлось удовлетвориться сомнительным заведением, где Спарт много десятилетий, сообщая с 2-3 такими же специалистами, занимался, почти исключительно, подозрительными манипуляциями.

Старшая сестра, рыжая, древняя, покрашенная (и у нее в жизни что-то сорвалось, иначе не попала бы сюда!) уверенно повела их: коридоры, этажи, двери общих палат и отдельных комнат... Все как у людей, как полагается, но Боже, до чего темно, уныло, неуютно, — думала Сабина, опечаленная. А Спарт не узнавал сегодня этого места: служащие подтянулись, сестра бескорыстно улыбалась, шутила, и мрачные стены, — тюрьма или фабрика, — словно озарились солнечным светом, легче стало дышать. Все ласково и благодарно поглядывали на доктора: им нравилось, — вот настоящая больная, можно заняться подлинным делом.

Сабина, по совету старшей, выбрала комнату побольше в два окна. Предполагаемый срок: 2-ая неделя сентября. («Надеюсь сентябрь будет прохладный» — любезно осклабилась сестра).

Затем они сидели у *Schrafft'a*; на белые, кружевные, бумажные салфетки ставили мисочки со следами еды. «Если у кого язва желудка, то и ему не повредит», — смеясь пояснила Сабина.

Доктор Спарт уговаривал ее бросить работу (он очень

страдал от жары). Сабина обещала это сделать в конце месяца: Макс теперь в ней слишком нуждается. Она отделявает роман его родственника, семнадцатилетнего мальчика: через месяц уходит во флот и обязательно хочет успеть закончить хоть одну книгу. Парень даровитый, но разумеется невежда.

Город душила и плавил мутная, парная, неподвижная жара, понятная только жителям Америки и экваториальной Африки. Воздух тяжелый, вязкий, перемешанный с кипятком. Если подует ветерок, — обдаст раскаленным паром, углем, газом... и опять стойкая, горячая, затхлая ванна.

На город давило море испарений; маслянистые пятна проступали на спинах мужчин; девицы в конторах, поднимаясь со стула, оставляли на нем влажный след.

Нормальная жизнь прекращается на эти месяцы, — говорил доктор Спарт, вытирая мокрую голову своим пестрым платком. — Особенно страдают женщины... И сенная лихорадка, аллергия, экземы, неизлечимые под этим небом болезни кожи!

А Сабина думала: «От холода страдают, главным образом, нищие. В жаре есть демократическое начало. Конечно, богатые могут уехать...»

Сабина боится одна уехать. Расстаться с Бобом. На двоих денег не хватит. К тому же, он негр.

— Шарада, — смеясь сказала она: — Где негры проводят свой летний отпуск?

Послышалось что-то похожее на громыхание: глухое, отдаленное. С конца мая Нью-Йорк ждал грозы: две недели метеорологические станции ее предсказывали. И вот она прошла: над рестораном Шраффта. Высоко, высоко в мутном небе проплыла словно туша кита: затрепетало, желтовато вспыхнуло и успокоилось. Мелкие капли дождя испарялись, не достигая земли, обдавая, раскаленные стены города, жаром, — как в русской бане.

Горожане, с мокрыми животами и промежностями, как зачумленные крысы, выбегали из контор и магазинов. Миллионы, запертые на многоэтажном маленьком острове. Толпа здесь не пахла. Особенно поражали Сабину женщины: ни дурного запа-

ха, ни духов. Стерильность. Смесь Пастера, холодильника и мальтузианства.

Сабина пожаловалась на головную боль: она не переносила искусственно охлажденного воздуха.

— Америка страна синуситов, — благодушно сообщил Спарт. — Впрочем, вам пора домой. Да и Боб уже верно беспокоится.

На улице они расстались: Сабина села в такси.

Доктор Спарт пешком вернулся к себе; Магды с Кларой еще не было. (Они теперь каждый день гуляли по набережной у Ист Ривер, заходили даже в кафетерию, освежиться). Он прилег на диван и задремал; сквозь сон слышал: женщины вернулись... Странные шаги Клары в туфлях на высоких каблуках, — выдумка Магды. Очнулся мокрый от пота, но отдохнувший. Захотелось чаю. Проходя по корридору, Спарт заметил в одной из комнат, на подоконнике, — в позе нелепой птицы, — свою жену: без верхнего платья, но в чулках и новых туфлях, она грациозно извивалась, делала руками плавающие движения у самого края растворенного окна.

Доктор замер у порога, боясь шевельнуться; из соседней двери показалась Магда и решительно, вдохновенно двинулась к больной, фальшиво весело выкрикивая:

— Миссис Спарт, миссис Спарт, что у нас сегодня к ужину?

— Ради Бога, — выдохнул доктор, пригвожденный к половине.

— Я сейчас, — радостно улыбнулась жена, поворачивая свое детское, старчески серьезное и капризное лицо. (Спарту почудилось: возвращается). И вдруг, уже на полпути, она как-то ожесточенно взмахнула руками: — Тыыы! — просто-нала... и прыгнула вниз.

На улице уже собралась толпа: молча смотрели на тело, потом поднимали глаза, ища окно. Доктор Спарт тоже зачем-то поглядел вверх: на пятом этаже, темное, зияющее.

Самонадеянно трубя, подкатил автомобиль скорой помощи. Полицейские начали оттеснять любопытных. Она лежала, — собственно сидела: только голова, в земном поклоне, тяжело

склонилась к мостовой, — руки сведены, как для молитвы: должно быть, при полете, ужаснувшись, она ладонями заслонила глаза. От сильного толчка, туфли ее соскочили и валялись, ненужные, рядом.

Жирную лужицу смыли: полицейский раздобыл ведро и щетку в соседней лавочке. Каретка умчалась; толпа стала редеть, наиболее упорным очевидцы сообщали новым прохожим подробности катастрофы, но и они постепенно рассеялись.

Доктор поехал вместе с телом жены, бережно держа под мышками туфли, купленные по настоянию Магды. Он смотрел на холодный мешок костей и мяса, подбрасываемый машиной: на поворотах тело покорно вздрагивало, тряслось, мертвое, непоправимое. Да будет Твоя воля. Он прожил с нею сорок лет. Теперь ему мнилось: лет тридцать уже не глядел на жену, не говорил с ней по душе, не интересовался ее мнением. Как-то упустил. После венчания они плыли по Дунаю, лето, небо, солнце или звезды... неважно. Обнимал ее стан: таинственное разветвление у бедер, крепких словно гнездо или логовище. Думалось: впереди еще много, много такого же или пожалуй лучшего. Ошибка. Впереди: ничего. Больше не бывает и не нужно. Пламя свечи обжигает как и пламя костра. 15 минут или 15 столетий. А потом длинная жизнь или то, что принято называть жизнью: канитель, бег по кругу. Надо было очнуться, а теперь поздно. Где она теперь? Очень это больно? Клара... Сейчас она ближе и знакомее ему чем вчера. Он заплакал, старик, бережно прижимая к груди нелепые туфли на высоких каблуках.

49. После грозы

Странно, доктор Спарт был теперь совершенно уверен в благополучном исходе родов Сабины. Что-то сдвинулось в его сознании и все сомнения исчезли. Он даже не искал объяснения этому чувству. Впрочем, поддерживали его разглагольствования Магды. Из ее слов явствовало, что Клара, — умная, добрая, святая, — принесла себя в жертву, искупила вину Сабины и дала возможность Спарту осуществить дело его жизни. Эти

рассуждения вызывали улыбку у доктора, но все же он к ним охотно прислушивался.

Сабине сообщили о несчастье лишь на следующий день с разными наивными предосторожностями. Она немедленно помчалась на квартиру доктора: постояла в комнате, где недавно, полуголая, — снизу вверх, — встретила зеленый, умоляющий, злой, знакомый, волчий и детский взгляд Боба Кастэра.

Магда сервировала чай, улыбаясь равнодушно и самоуверенно. Гибель безумной подхлестнула ее, зарядила новыми силами. Так химик, работающий над взрывчатым веществом, у которого, по неосторожности, внезапно оторвало палец, испытывает наряду с болью и чувство удовлетворения: он на верном пути, элементы сопрягаются.

Несколько беспомощно и даже смешно вел себя Боб Кастэр: решил удвоить внимание и бдительность, во все вникать, не полагаться на авось. Диета, лекарства, покой, молитвы — своевременно и в должных размерах. “Pray to God and pass the ammunition”, — он ненавидел это изречение.

Боб знал давно, с первой минуты, когда затеял эту борьбу за свое подлинное лицо, что вступает на трудный путь: идти не легко, а добраться почти невозможно. Последующие события только подтвердили его интуицию. И как матрос подводной лодки, пробирающейся по минному полю, начинает перемещаться с двойной осторожностью внутри самого судна, словно одно его неловкое движение на кухне или в гамаке может взорвать мину снаружи... так Кастэр теперь преувеличивал значение бытовых мелочей, стараясь избавить Сабину от всех забот.

Лето нагрянуло жестокое, парное, обезличивающее; застывший, адский воздух, — вязкий, липкий, — обволакивал город, душил все живое. По ночам люди метались на сырых простынях, кашляли, чихали под грохот вентиляторов. Тоскливо ревел, поднимающийся по Гудзону, океанский пароход и, изредка, над притихшим и затемненным Нью-Йорком раздавался гудок железнодорожного паровоза, но лирической грусти его песня не рождала.

Сабина лучше многих переносила жару. Если и жаловалась

то несерьезно, ребячливо. Поднималась рано, — хотя уже не работала у Макса, — завтракала вместе с Бобом, доедая и его порцию. Потом возилась по хозяйству, выдумывала себе занятие. После полудня отдыхала: мгновенно засыпала на широкой кровати.

50. Лето

После дневного отдыха, в будни, Сабина ехала до 59-той улицы: садилась на скамейке в парке или тихо шла в сторону озера. Внешне она почти не изменилась... По животу, — сразу видно: последние месяцы беременности. Но в целом, осанка, движения, такие же молодые, легкие, подвижные. А лицо преисполнено доброты, честной решимости и даже болезненного, детского, интереса ко всему окружающему.

На площадках, под грохот зевак, молодежь играла в baseball (поражало обилие левшей); влюбленные пары сидели в чахлых, тенистых уголках; детвора носилась по пыльным лужайкам, с визгом догоняя щенка или мышиного цвета белку... Сабина с любопытством и нежностью глядела на ребят, спортсменов, матерей, на птиц и антилоп в зоологическом саду... подолгу останавливалась у колясок с новорожденными бэбэ.

Мужчины провожали ее одобрительным взглядом, дамы — сочувствующим или ревнивым. Она казалась образцовой, счастливой, законной супругой: сильная, некрупная, в изящном темном платье и с белым, — подобным шлему, — капором на голове.

В ее сердце не было страха: отважно ждала срока. Это даже удивляло Сабину: обыкновенно трусиха, всякую боль воспринимала как нечто оскорбительное, кокетничая своей слабостью... Теперь чувствовала себя куда увереннее Боба и других больших и храбрых.

«Когда страдания вполне осмыслены, они не пугают», — объясняла, улыбаясь.

Время от времени, Сабина присаживалась на лавочку, отдохнуть, выбирая места не слишком людные и не слишком пустынные. Особенно ее привлекали влюбленные: гуляют об руку,

вдохновенно обнимаются, застывают в долгом, иногда скотском, поцелуе. Она теперь научилась различать, под всякой внешнестью, ту человеческую, земную, тяжелую святость, к которой сама была причастна. Сабина улыбалась матросам и их подругам в цветных носках, ясно и спокойно отвечала, заговаривающим с нею, одиноким, неудачникам.

Здесь, на этом камне, Сабина, десять лет тому назад, впервые поцеловала Патрика. Там, в беседке, она раз сидела ночью с русским художником. Боб, Бобик... «Нет, нет, — отгоняла она ненужные мысли. — Теперь все другое. Милый Боб, я не могу сказать: люблю, не люблю... Любить можно внешнее. Ты и я — мы одно».

Боб добьется своего, победит. А она родит. Только бы мальчик не был похож на нее. И конечно ребенок родится белым. Всю историю болезни Кастэра Сабина воспринимала как-то не вполне серьезно: душа отказывалась признать очевидное. Бессознательно верила: после неожиданного, но безусловно удачного испытания, Боб проснется снова прежним, белым. И не нужно лекарств, хирургов, адвокатов. Дурман рассеется, ночь пройдет и все объяснится. Только не нужно об этом говорить.

А ведь она может умереть... Капризная, добрая, со всеми ошибками, и все таки зла никому не причинившая. Нет, это жестоко. Сабина знает, ее подлинная жизнь лишь теперь началась. Кому она мешает... Она нужна Бобу, даже Магду больше не обижает. Боб выздоровеет, воскреснет. А если не совсем побелеет, то они уедут, после войны. В Россию или, еще лучше, в Китай, в пустыню Гоби. Там, в пустыне, Боб Кастэр реализует свои дары. После его опыта людям уже понятнее станет необходимость бороться за собственное, подлинное лицо. Пример для всех, неискоренимый! О, Боб прав, это великая тема и стоит потраченных сил.

Часто, у озера, — где было несколько прохладнее, но изводили комары, — Сабину поджидал Прайт. Он опять влюбился: Барбара Лотт... и восторженно делился подробностями очередного романа. Нечто райское, неосознанно скотское и милое.

Его рассказы напоминали Сабине ее собственное прошлое, — далекое и преодоленное, — они смешили ее и развлекали. Лениво усовещала Прайта, давала высоконравственные советы...

Неподалеку играли дети, по виду, беспризорные. Кричали, жестоко дрались. Беседа с Прайтом не мешала Сабине внимательно следить за их играми и страстями, где преобладала жажда властвовать и развлекаться. Проявление сонма добрых и злых наклонностей, с обязанностью немедленного выбора, — в этом возрасте, — ужасало ее.

Сабина возвращалась домой уже в сумерки: ехала в переполненном автобусе, недовольная если ей уступали место и, в то же время, польщенная. За стол усаживались поздно: Боб, овдовевший Спарт, иногда Магда, Прайт. (Последний даже раз привел свою очередную мучительницу: Барбару Лотт).

Друзья. Они весело чокались, шумел вентилятор. От вина казалось: зной спадает. У плиты возился доктор Спарт.

» Это слишком ответственное занятие для женщины, — уверял он серьезно. — На кухне требуются фантазия и щедрость. Не подпускайте англо-саксов к горшку. Когда вы заправляете блюдо, надо чтобы у вас была слюнка во рту».

Спарт славился своими салатами, рагу-де-мутон и *bœuf bourgignon*. Сабина любила сервировать стол: скатерть, тарелки, салфетки, — цвета тщательно подобраны. «Кушайте, господа, кушайте». Даже Магда веселела, хмелея от одного вида пузатых графинчиков. Непринужденно беседовали. Боб рассказывал о молодости. Блаженного Августина, о городе Карфагене, — Париже тех веков, — куда со всех концов стекались талантливые юноши, жаждавшие подвига и любви. (Августина и Гегеля Боб считал ответственными за противоречия нашей культуры). Прайт критиковал местную архитектуру: величественность не достигается размерами, величественность в соотношении частей. И вдруг у Сабины вырвется:

— Если будет девочка, я ее назову Кларой.

Доктор Спарт пел старинные вальсы: что-то о Дунае и прочем. А Боб сокрушенно вздыхал: «Боже, помоги всем нуждающимся в Твоей помощи».

51. Куда негры ездят летом

Сабина плохо спала по ночам. Часу в пятом просыпалась: со всех сторон навалили мягкие тюки и душат. Долго лежала, прислушиваясь к жизни в себе. Звуки с улицы доносились измененные, приглушенные. Пахло гарью.

— Как можно это переносить? — тормошила она Боба. — Как можно жить?

— Да, почернеешь, оглохнешь и лишишься разума. — быстро соглашался Кастэр. — Собственно, почему бы нам не уехать?

— Как?

— Ну на две недели, куда-нибудь. Все таки за городом легче немного.

— И ты поедешь?

— Да. Но куда?

— Да, но куда? — повторила Сабина и рассмеялась: в этой огромной стране трудно было найти подходящее место для отдыха, т. е. совершенно отличающееся, по условиям, от Нью-Йорка или Чикаго.

Утром Сабина позвонила в Таймс:

— Не можете ли вы мне сообщить куда негры ездят отдыхать летом?

— Вы имеете в виду штат Нью-Йорк?

— Да, по возможности близко от Нью-Йорка.

— Hold the wire.

Прошло несколько минут пока барышня снова отозвалась:

— Я не могу сейчас точно ответить на ваш вопрос, но, в общем, штат Нью-Йорк не знает расовых ограничений.

— Да, но нам не хотелось бы рисковать. Мой муж выглядит негром, а я выгляжу белой, — объяснила Сабина по привычке: в начале ей эта фраза казалась удивительно удачной.

Опять ее попросили подождать. Честная барышня побежала за дополнительной информацией или зарылась в учебные пособия.

— Алло, — слышалось: — На вашем месте я бы позво-

нила в редакцию одной из негритянских газет: они должны располагать нужными сведениями. Но, повторяю, как вам известно, в Нью-Йоркском штате нет расовых ограничений.

В черной газете Сабине ответили:

— Вы звоните по такому делу? Что это, провокация? Приезжайте лично в редакцию.

Сабина была в отчаянии (Бобу она ничего не сказала), но помог Прайт. Он сам заговорил об этом... Барбара Лотт имеет дом в изысканной местности на берегу океана. Прайту одному поселиться у дважды разведенной женщины неловко. Почему бы Сабине и Бобу не поехать с ними? Это всех устроит. Есть конечно, неудобства. Соседи не должны видеть негра, жильца. Боба надо спрятать или, еще лучше, выдавать за прислугу: повара. Бобу Кастэру предложение понравилось: он уморительно представлял все возможные смешные положения. Прайт умолял оказать ему личную, интимную услугу. И Сабина уступила.

Коттэдж Барбары находился в центре маленького аристократического городка. Участки земли в той местности продавались только англо-саксам, так что колония образовалась одноликая и приличная. В двух больших отелях сдавали номера и славянам, ирландцам, французам. Евреев, негров и итальянцев не допускали, (впрочем, итальянцев принимали под маркой французов, а южно-американцев под видом испанцев). Как они ухитрялись разобраться в десятых долях крови клиента, трудно понять, но машина действовала безупречно, травка росла на манер английской, джентльмены играли в гольф, ходили в клуб, в церковь и на пляж, улицы содержались в отменной чистоте, лавочки продавали добротные товары и полицейским почти ничего не оставалось делать: порядок, благополучие, довольство, и все за статус кво. До чего просто: достаточно исключить несколько беспокойных народов и брать за обязательную кабинку у океана по 3 доллара с человека в день, чтобы убить в зародыше возможность преступлений и безобразных потуг. Божий Град легко построить, надо только отобрать граждан, сперва по расовому признаку, потом по бюджетному.

Конечно, Град этот будет весьма ограничен в пространстве.

И действительно, буквально в пяти минутах ходьбы от благоустроенного уголка (а в двух минутах — на автобусе), в обе стороны шоссеиной дороги, находились поселки, где евреи, южно-американцы, метисы и другие второстепенные нации, распоясанные, в обществе золотушной детворы, предавались на лоне природы, невинным играм: визжали, бегали, уплетали сосиски, пили коку-колу. Вход на муниципальный пляж стоил значительно дешевле. Американские лорды, обложенные с двух сторон разнузданным плебсом, стоически выдерживали нажим. Опасность им угрожавшая в военных сводках называется — infiltration. Но полиция легко вылавливала эту Пятую колонну: не трудно отличить ребенка, за которого заплачено полтинник, от трех-долларового.

В этих дешевых селениях совершенно отсутствовала зелень: ни травы, ни цветов, ни деревьев. На других континентах представляют себе Америку краем изобилия, плодородной земли, мачтовых лесов. Может статься. Но по радиусу в тысячу километров вокруг Нью-Йорка нельзя найти тысячи деревьев с возрастом выше ста лет. Отсюда убожество запахов и красок.

Темные личности, детвора, пыль, грязный песок, неистовое, мутное небо, пляж, смахивающий на пустырь для отбросов... Стоило уезжать из Нью-Йорка!

Кастэру не нравилось это место, и особенно: люди. Скучные, плоские. Пестрый класс бедных в Америке действительно составляет низшую расу. Боб предпочел бы соседство богатых джентльменов: они похожи на бревна, но не давят, лежат рядом не задевая друг друга. Ему даже море здесь не нравилось: дикое, допотопное, несуразное. Сабине же запретили купаться и лежать на солнце.

Неподалеку, примерно в одной миле от берега, они обнаружили, в центре густого, дикого кустарника, маленькое озеро. Безлюдное: пробраться к нему было трудно и к тому же там водилась особая порода змей.

— Вот наша штаб-квартира, — решили, смеясь.

Боб и Сабина повадились уходить к озеру на целые дни. Из тростника он вырезал себе дудочку и лежа на спине насви-

стывал песенку альпийских пастухов. печальную и простую как жизнь в горах; но здесь она звучала по иному. В мутном раскалинном небе, — солнца не видать, — медленно, медленно плыли еще более расплавленные темные массы: пары, газы. Противоположный берег, тусклый, изнывающий от жары, казался миражем; из фабричных труб поднимался, лениво, дым и вращал в тяжелый водянистый воздух.

— Какая тут может быть живопись при этой оптике? — раздраженно удивлялся Боб: — И какая музыка при этой акустике? Земля, воздух, стихии, все убивает в человеке ряд способностей. Знаешь, здесь совсем другие законы преломления и тем самым перспективы.

— Здесь нет перспективы, — поддержала Сабина, домовито работая иголкой и ножницами.

— Здесь вакуум перспективы... Нечто противоположное европейской: линии разбегаются в обратном направлении.

С разными предосторожностями, — стена ежевики, ковер «пойзон айви», затем топкий ил, — Боб ухитрился добраться к воде и поплыть. Змеи, черные, с круглой, тяжелой, — в кулачек, — головкой, сигали в непосредственной близости.

Однажды он поймал такого ужа и сунул в свой старый фотографический аппарат. Они ели сэндвичи, приготовленные Сабиной; лежали близко друг к другу; он задумчиво гладил ее ноги: подростка и в то же время женственные. Порог Кастэр играл на своей дудочке: знакомая песенка, несложная, как жизнь и смерть.

— Слушай, этот гад еще задохнется там, — вспомнила Сабина.

Боб осторожно приоткрыл фотографический аппарат, продолжая насвистывать. Змея медленно выглянула, затем, пляшуще раскачиваясь, изгибая свою шею, поползла, но не прочь, а в сторону Боба.

— Смотри, она заморожена свирелью, — взволнованно крикнула Сабина.

Действительно, одурманенная пленом или музыкой, змея кружила, раскачиваясь на брюхе, все насадая на Кастэра, за-

глядывая ему в лицо. Алый, острый язычок чертил ритмические круги. Змея на минуту застыла и снова начала приближаться: завороченно вползла на его живот, выше, обвила шею Боба, раскачиваясь над его головою, загадочно и покровительственно; она совершенно очевидно меняла скорость движений, направление, изгибы своего древнего отверженного тела, в прямой зависимости от музыки Боба Кастэра.

Смеясь и восторгаясь, они бережно уложили змею в корзинку от провизии и поспешили домой. Прайт и Барбара уже вернулись с пляжа — дорогого; глотали виски со льдом. К потолку веранды были подвешены на длинных цепях сетки с матрацами. Кавалер и дама раскачивались на этих постелях, явно довольные жизнью. Боба, Сабину и змею встретили аплодисментами. Кастэр совершенствовался: избирал сложные позы, пускал змею по своей руке или ноге, заставляя ее проделывать определенные па в разных чередованиях.

— Вот, вот, вот, — кричал Прайт. — Довольно. Спрячьте гада и слушайте меня. Я вам все объясню. Выпейте виски. И слушайте, слушайте.

Боб повиновался.

— Вы знаете что такое «ракет», — начал торжественно Прайт. — Я пишу книгу под заглавием: «Философия ракеты». Но теперь ограничусь следующим: эта змея ваш «ракет». Пейте виски и не прерывайте меня. — Прайт встал и вдохновенно простер руки. — Мы американцы не любим искусства, не желаем его, не знаем как за него приняться. Как воспитанные люди иногда притворяемся, но неохотно. Вот техника это другое дело. Даже в искусстве: skill, ремесло, мастерство, это мы понимаем и ценим. То, что можно увидеть, ощупать, подсчитать, за это мы платим деньги. Взять рисунок под лупу или микроскоп, увидеть что там тысяча штрихов: это skill! Отпечаток пальцев преступника, психоанализ, где выслеживают человека по снам, как замечательно: одновременно наука и фокус. Такое мы любим, понимаем. Но поэзия нам чужда и враждебна: чувствуем себя дураками и самолюбие страдает. Признанных гениев, Пруста, Пикассо, Ван Гога, мы покупаем: так принято и риска

никакого. Но современная Америка сама дать жизнь Артуру Рэмбо или Кафке, то-есть тайне вне разума, не в силах и, главное, не желает. Наш основной критерий: успех, и притом немедленный, земной. Пейте и молчите, — приговаривал Прайт; бутылка быстро опорожнялась. — Наши мудрецы, строящие государство, руководствуются еще одним соображением, — продолжал он, жадно отпивая из стакана. — Они считают: опасно размножать гениев. Из тысячи воришек, сутенеров, паразитов, один выходит, неожиданно, в люди. Не забывайте, что Гитлер был непризнанным художником. У нас нет легенды о неудачнике, *raté*. В Соединенных Штатах обратный культ: успеха. Каждый американец уверяет себя и других, что он *success* и прибавляет себе инч в росте. Надо располагать кадрами фантазеров, болтунов, бездельников, сидящих по кафэ, чтобы время от времени производить гения. Дорого и рискованно. А мы любим: *play safe* и гигиену. Дешевле предоставить все заботы Европе и покупать за сто тысяч готового гения. Пока существует Европа, это выход из положения. Но если она погибнет, вся система рухнет: мы останемся с джазом, с энциклопедическими словарями для подростков и с понятием ремесла, *skill*. Не обманывайте себя, Америка не молодая страна с примитивной культурой. Ложь: мы просто другие люди, другой земли. В нас что-то атрофировано, вытравлено, как у муравьев или пчел, и в этом мы идем навстречу коммунистическому раю. А наша жестокость, когда наступят сроки, побьет все признанные рекорды: поверьте мне и моему сексуальному опыту.

Боб хотел что-то сказать, но Прайт, повелительным жестом, остановил его:

— Пейте и слушайте, — казалось, он всю жизнь готовился к этому разговору. — Ну вот, представьте себе, вы замечательный певец. Что из того? И другие поют. Был уже Шаляпин. Нет, дайте неожиданное, новое. Вот певец, который ходил бы на руках по сцене: пусть поет даже немного хуже Шаляпина... это находка, «ракет». То-есть ставка на количество: соединение многих посредственных идей. Тут вы можете добиться признания и полного успеха. Мой друг, Эд Лесле, молодой, перво-

классный скрипач, умирал с голоду. Тогда он сел на велосипед, разъезжает по сцене и наигрывает серьезных композиторов. Сразу получил хороший контракт. Теперь он учится одновременно держать на переносице шест. Другой мой приятель, незаурядный пианист, неуспевший прославиться в Европе, перевернул рояль вверх ногами, подлез под него и сыграл сонату Бетховена: теперь он дирижирует оркестром в Голливуде. Боб Кастэр, — медленно и торжественно произнес Прайт. — Я вас вижу в лучшем театре на Бродвее. Вы заклинатель змей: они пляшут под вашу дудочку, а потом вы рассказываете о готике Франции или живописи Испании. Нет, тему надо найти: удачная идея это «ракет». Во всяком случае высококультурный предмет. Но без поэзии или недоговоренности: ясно, четко и немного экстравагантно и мастерство, skill.

Бутылку благополучно доконали. Неожиданно явился безукоризненно одетый джентльмэн с лицом кастрата. Отрекомендовался: из real estate. Посидел, глотнул виски с содой, похвалил русских за героизм, неодобрительно отозвался о их форме правления: они могут голосовать только за одного кандидата. Потом он и Барбара удалились для делового разговора. Вскоре Барбара вернулась, смущенная и раздосадованная: соседи бунтуются, не желают негра; Боб не повар, это всем видно. Возмущенная поклялась: она завтра уезжает и ноги ее больше не будет в этом проклятом месте. Откупорили еще одну бутылку «Блэк энд Уайт». Улеглись поздно.

О змее забыли. А на утро обнаружилось: подохла, задохнулась, от недостатка воздуха или от потока сильных впечатлений. Барбара передумала: она еще останется на week-end, в конце концов, дом принадлежит ей. Прайт повез Сабину и Боба Кастэра в своей машине.

52. Роды

Нью-Йорк обдал их жаром, как раскаленная печь; вернулись под вечер. У подъезда дома к ним пристала черная кошка: жалобно мяукая, терлась у ног, силясь что-то внушить, вымолить. Сабина боялась кошек: «Они непостижимы, совсем другой

мир», — говорила. (Собак она не любила: слишком понятны, вполне человечны).

Но этого беспризорного зверя Сабина решила приютить. Заботливо его накормила молоком, приготовила коробку с краденым, на лестнице, противопожарным песком. Она всем телом чувствовала это новое существо в квартире, вздрагивая при малейшем его движении, храбрясь и посмеиваясь... Самое ужасное когда зверь пропадал, уходил под мебель: тогда опасность и предательство гнездились повсюду. (Сабина, одна, редко запиралась на ключ: помощь должна притти извне).

В понедельник Сабина затеяла генеральную чистку, возилась несколько больше обычного; потом легла отдыхать: кошка примостилась рядом, независимо и загадочно мурлыча, черная с зелеными косо разрезанными очами. Ей вдруг захотелось, — как в первые месяцы знакомства, — написать Бобу письмо. Осторожно, — не потревожить зверя! — достала карандаш и бумагу.

Она рассказывала Бобу о кошке: опыт, мысли, представления последней. Милая шутка: в действительности речь шла о ней, Сабине, доверчивой, любящей и нуждающейся теперь в любви.

Зазвонил телефон: Прайт сообщил — с Барбарой он окончательно порвал.

Возвращаясь к дивану, Сабина почувствовала мгновенную острую боль, все закружилось, померкло, отступило: далеко, далеко знакомый мир, цвет его, запах, звук, — за стенкой... И только шум в голове, в ушах, словно угрожающее мурлыканье кошки: где зверь, надо следить за ним.

Проковыляла в ванную: сомнения нет, кровь. Испугалась, похолодела вся: отмирают конечности. Проглотила облатку, — старую, доктора Спарта, — улеглась на постель, доверчиво поджидая людей, Боба, помощи.

Там ее и нашел Кастэр. Пока явился Спарт, пока нашли каретку скорой помощи, уже начало смеркаться. Ехали по шумному, летнему, безразличному городу. «Я не боюсь; я не боюсь»,

— шептала Сабина, слабо пожимая его руку. «Прочитай, прочитай». И Боб повторял вслух строки ее письма, о «кошке».

Кастэр мысленно часто представлял себе эту поездку, готовился к ней. Ночь, такси, Сабина стонет, он ее ободряет, и у обоих на лице улыбка: одно дело вырвать зуб, (невозвратимая потеря), другое дело рожать в боли новый мир.

И вот она, действительность. Сабина лежала бледная и чересчур красивая. Она не вполне отдавала себе отчет в происходящем, говорить ей было трудно, глаза смежались: поднять веки, — тоже усилие. Она мужественно, вопросительно улыбалась, напоминала кролика, барашка или другого безобидного, кроткого зверька, добровольно идущего на жертвенный подвиг.

На ярко освещенный подъезд выбежала сестра, санитары. Доктор Спарт, злой и лохматый, ждал их внизу. Бобу показалось: все пристыжены, чувствуют себя виноватыми. Это ему не понравилось. «Господи, Господи». Мастер по наркозам осведомился сколько весит Сабина.

— Я ничего не боюсь, — сказал Спарт. — В этом месяце даже *placenta proevia* не страшна. Я делаю кесарево сечение: мать будет жить, ребенок должен жить. Но почему вы сразу не дали знать? Четыре часа бесполезного кровотечения.

Туалет, уколы, определение группы крови, заняли еще час. Наконец, Сабину уложили на возок и Боб зашагал у ее изголовья.

— А-а-ау-о, — прошептала Сабина. Он не разобрал. Полагая, что она ждет поощрения, он торопливо застучал:

— Милый, милый, дорогой, единственный, первозванный бобр.

А Сабина пыталась объяснить: ей вприснули морфий и теперь она не в состоянии думать, соображать. Хотела его предупредить об этом: пусть охраняет ее, все решает сам, она любит и верит.

— Э-а-и-о-о, — невнятно прошептала и тихонько (как во сне), засмеялась: Э-о-э-а.

И Боб догадался, по знакомой улыбке, по лукавому взгля-

ду: *personne ne sera pendu au bord!* Они когда-то вместе смотрели фильм из жизни пиратов. Там боцман, старый пьяница, убийца, в критические минуты утешал экипаж судна этой фразой... Боб и Сабина часто, в трудных положениях, повторяли ее и весело смеялись: на корабле потом все были повешены.

Боб склонился и деловито поцеловал ее в лоб (рядом облезлая, крашеная ирландка, сестра). Сабина лежала подоткнутая простыней; голова ее была туго обвязана марлей; маленькое, похудевшее сияющее личико и темные, доверчивые, детские глаза.

Кастэра не пустили в операционную. Сел на белый табурет, терпеливо застыл в углу, как школьник, дожидаящийся вызова на экзамен, как рабочий, пришедший наниматься. В окно просачивалась летняя улица и ночь: грохот, угарные пары, всплески смеха, освещенные окна противоположных домов... Там матери учили детей вечерним молитвам, мужья подводили счет дневным соблазнам, влюбленные звонили по телефону, целовались, скучали. Город, трехмерный и плоский, ворочался в условном ложе.

Квадраты линолеума, жар от стен, тусклый свет ламп, темный край неба, запах больницы, голос сестры, ее шаги и стоны лифта... Вот это сочетание Боб запомнит на всю жизнь: тени, цветок в горшке, телефон на столе (закляксанный бювар, похожий на географическую карту). Связан уже навсегда. Никогда уже не удастся отделаться: будет сопровождать его до последнего часа. До сих пор он кажется еще не принимал участия в столь значительных событиях. Только в день собственного рождения (и, пожалуй, в час смерти?). А ведь просто и почти незаметно сложилось: толкала внешняя сила. Доступно гениям и холуям, добрым и скотам, нищим и богатым. Бобу мнилось: подъезжает к новой стране, к другому континенту, — очертания незнакомых берегов. Он был уверен и спокоен (только трудно усидеть на одном месте). Встал и прошелся по диагонали. Пробовал молиться, но не выходило. Доставал папиросу, совал ее в рот и, берясь за спичку, вспоминал: курить запрещено.

Но когда Боб Кастэр увидел «донора», — для переливания крови, — он вдруг всполошился.

«Донор» вошел быстрой походкой, воровски оглянулся и, поклонившись, лицемерно скромно опустился на край стула. Низкорослый, широкоплечий, с толстой шеей и багровым лицом, похожий и на бизона и на вепря.

— Вы дадите кровь? — вкрадчиво осведомился Боб.

— Да, меня прислало агентство. Вот моя карточка.

— Вы много лет уже... практикуете?

— Семь лет, — ответил тот, скромно потупившись. — В первый раз я дал кровь своему другу и спас этим жизнь человеку. Потом я несколько раз давал знакомым, конечно бесплатно. — (Боб понимающе кивнул головою). — И вот мне доктор сказал: почему бы вам не зарегистрироваться у нас? Вы людям поможете и сами подработаете малость. Я служу в транспортной конторе. Моя группа довольно редкая: АБ.

Все, что говорил этот человек, его тон, ужимки, трусливая важность, фальшивое смущение, напомнили Бобу Париж, проституток, их заученные рассказы-исповеди, за стойкой в кафэ. И там начало: любовь, бескорыстная дружба, потом втягиваются, зарабатывают, у каждой вымышленный ребенок, дочка.

«Вот, на наших глазах рождается новая профессия, подобная проституции, — с ужасом думал Кастэр. — Кадры вербуются главным образом из мужчин: продают свою кровь. Разврат и мистика: проникновение одного во многих. Мудрецы 21-го века будут издеваться. После грубого, поверхностного анализа решают: кровь годится». Боб вдруг вспомнил сына Магды, его первую стрижку: «Богатый ее опытом, я знаю как ценно то, что я знаю и чувствую».

— Сколько вы получаете? — спросил.

— По тарифу. 35 долларов за 500 кубических сантиметров.

«Нег, Сабина. Прочь лень, трусость и косность!» — Боб шагнул к дверям операционной.

— Боже, Боже, мальчик, — встретила его Магла, изнеменно улыбаясь. — Совсем белый.

Он не сразу сообразил о чем речь.

— Это иногда бывает, с метисами, — сказала сестра, набожная католичка. — Но они потом темнеют.

— Я не хочу переливания крови! — крикнул Боб доктору Спарту.

Спарт оглянулся. Потное, счастливое лицо мастера, артиста. Подумав, ответил:

— Хорошо, обойдемся без, — и внимательно посмотрел на Кастэра, словно проверяя, так ли он его понял. Затем снова углубился в работу. Молодой врач зашивал уже покровы живота. Спарт помогал ему, приговаривая: — Skin, fascia, fascia, skin, — отлично. — щелкал ножницами и опять: — skin, fascia, fascia. skin.

53. Кулачки

Сабина покоилась на столе еще одурманенная. Одна рука ее была привязана к деревянной доске: из высоко подвешенной банки капал в вену физиологический раствор. Кругом: нагромождение вещей, аппаратов, пол усеян окровавленным бельем. Операционная напоминала поле битвы: когда захваченные врасплох солдаты дерутся в условиях, генеральным штабом не предвиденных.

Сбоку, старенькая сиделка возилась над тяжелым, сморщенным комком: сын, их сын. Он еще не дышал и сиделка давала ему кислород, трубочкою выкачивала из его трахен слизь.

— Как ребенок? — спросил Спарт. — Он должен жить..

Сиделка неодобрительно покачала головой. Подошла рыжая сестра со шприцем, впрыснула что-то в плечико младенца. Это потрясло Боба.

Паренек выглядел здоровым, даже чересчур: широкогрудый, широкоплечий, слегка похожий на «донора», дожидавшегося в приемной. Крепко сжатые кулачки и весь вид его свидетельствовал о трезвом отношении к жизни: до сих пор приходилось туго, необходимо кулаками прокладывать себе дорогу, а теперь и подавно.

«Надеется только на себя. Без веры, — подумал Кастэр. — Если бы он согласился разжать кулачки». Еще минута и эта,

чудом вырванная из небытия, жизнь уйдет навсегда, распадется. Сердце Боба возмущенно стучало: здесь попирают Святой Дух. Грубо схватив руки новорожденного, яростно начал их тискать, стараясь разжать. Ладонки приоткрылись, — совсем, — совсем как у людей, только крохотные. Ребенок икнул и жалобно заплакал, улыбаясь хитро и тщедушно.

Услышала ли Сабина или только ощутила, но, потянувшись головою в ту сторону, она зашептала слабым, рыдающим и восхищенным голосом:

— *My baby, this is my baby, this is my baby.*

Боб склонился над нею, изнемогая от разных противоположных чувств: восторга, страха, торжества и смертной истомы. Сабина удовлетворенно смежила веки.

— Все будет отлично, — доносились слова Спарта: он накладывал перевязку.

Боб смотрел на прекрасное, неземное, обескровленное, могучее в своей спокойной правоте, лицо Сабины. Такого мудрого, доброго, законченного, — как стрела, попавшая в цель, — облика он еще не встречал: даже не предполагал возможным.

— Да, задумчиво согласился он: — Все будет чудесно.

Как же иначе?... Все совершенно, мудро, осмыслено. Довольно, не надо больше сомнений, споров.

«Не только будет хорошо, но уже, уже хорошо», — решил и сразу забеспокоился: слишком она красива и сияет. Лучше бы Сабина сморщилась, застонала: это ближе к земле, устойчивее.

— Господа, помогите, мы ее сразу отвезем в комнату, — сказал доктор Спарт.

Он собирался временно оставить ее, — быть может на всю ночь, — в операционной: не тревожить. Но, упоенный победой, вдруг принял другое решение. Так он действовал в молодости: грубовато, нахрапом, заражая окружающих своею энергией.

Несколько человек, — и Магда, и Боб, — заметались. Сабину легко перекинули на возок, укрыли и осторожно поддерживая ее руку, — в которую все еще капал раствор, — двинулись вперед, неловко теснясь в дверях, на поворотах узкого коридора, у лифта.

Для всех не хватило места в лифте. Поднявшись на кончики пальцев Кастэр еще раз посмотрел на Сабину: серьезное, проникновенное лицо, а улыбается — кожей.

54. Кулачки (продолжение)

Проводив сиделку с ребенком в палату для новорожденных, Боб Кастэр закурил папиросу и, не дожидаясь лифта, медленно спустился по лестнице на 6-ой этаж. Там его настигла рыжая сестра: он ее с трудом узнал, — до того изменилась, поблекла, пожелтела. Махнула рукою:

— Идите, идите скорее!

Боб, чуя беду, побежал за нею. В маленькой, свежо отремонтированной, комнате было тесно и людно. Спарт массировал руками сердце Сабины: грубо мял ее грудь. Другой доктор старался попасть иглою в вену. Сестра хлопотала у ног Сабины, сиделка поправляла кишку от банки с физиологическим раствором.

— Иисусе, Иисусе, — ожесточенно шептала ирландка, подталкивая вперед Боба.

Магда стояла у окна, — стянутые волосы, вороньего крыла, острые черты пепельного личика, — торжественная и покорная.

— Что происходит? — строго спросил Кастэр. Все расступились, давая ему место у изголовья. — Вы не видите, она умирает, — гневно сказал он.

Сабина лежала, неловко повернув лицо, кротко, виновато улыбаясь губами, словно говоря: «Глядите все. Я была создана для любви, для ласки, для ответной ласки, для подарков. Я знала, что рано умру и судить меня по общей мерке грешно. Смотрите: вот это я. Делала много зла, но никогда не желала худого. В сущности, я любила только хорошее и желала видеть людей счастливыми. Я не умею спорить. Но, пожалуйста, пожалуйста, please, s'il vous plait, bitte... ”

Белые халаты, тени, приборы, свет окна в ночь, беспомощные голоса, это походило на фантастический сон, тем ужаснее, чем больше разумных мелочей в него вкраплено.

— Сабина, — крикнул Боб, — ты слышишь?

Спарт что-то впрыскивал под самое сердце Сабины. Кастэр закрыл лицо руками. Очнулся он от странного звука голов. Открыл глаза: кругом что-то изменилось, вернулось к привычному и света будто прибавилось.

Сабина шевелилась: ее зеленое, уродливо-сморщенное лицо подергивалось, рот был широко раскрыт... Ее рвало, желтая ирландка поддерживала тяжелую и мокрую голову Сабины.

— Плазма готова? — приказал Спарт, голосом капитана, чье судно возвращается, после опасного рейса, к родным берегам.

И Боб заплакал. «Он старик, ему давно пора спать, — лепетал он, блаженно всхлипывая, — Боже вой, Боже мой». И тотчас же вышел из комнаты, словно повинуюсь неведомому зову. Его потянуло вниз, на улицу.

55. Осанна

Был третий час ночи. Летний, оглушенный, переваривающий углекислые газы, Нью-Йорк. Всего 6 часов тому назад Боб ехал в машине: держал руку Сабины. А днем он работал; встретил Колюса из отдела здравоохранения... Сегодня или в 19-ом веке?

«А теперь что? — с недоумением спрашивал Кастэр. — Что дальше? Пить виски? Молиться? Сдаться? Жить как все. Семья. От жалованья к жалованию. Бороться за банковский счет: security на этой земле. Примириться... Черный, на чужом месте, не оправдал надежд. Читать газету, ходить в синема и в церковь. Господи, неужели Ты этого хочешь? Я не против Тебя восстаю, а против всей жизни нас распинаящей, от которой и Ты пострадал. Я слеп, наг и немощен — (другие препояшут тебя), — даже собственную кожу потерял. Как прозреть? Куда итти? Как быть самим собою, то-есть верным Тебе чадом? Сделать усилие, стиснуть душу и зубы? Что делать? Я почернел, а впереди смерть... Господи, иногда и я Тебя распинал, но по неведению. Вот я стою глухо-немой, укажи путь, пусть не сразу, но приоткрой завесу. Меня толкают уступить: не Тебе, а жизни. Мне в глотку вложили крик: проклятие, Ты этого хотел

и я буду как остальные. Но я умный и злой, я говорю: осанна, осанна, осанна. И еще заявляю: Я торжественно клянусь, — сказал Боб Кастэр внятным шопотом; он стоял прислонившись к фонарю. — Я клянусь всегда служить нищим, сиротам и немощным. Клянусь защищать слабых и отверженных, клянусь всю жизнь связать с побежденными и страдающими...»

Ему показалось: яркая молния внезапно полоснула его глаза... Судорожно закрыл лицо руками, ошеломленный, дрожа мелкой дрожью; осторожно переводил дыхание, прислушиваясь к жаркому рокоту в ушах, в крови. Кто-то тронул Боба за плечо: рядом стоял человек в белой рубашке и светлых брюках.

— Что случилось? — сразу опомнился Кастэр (подумал: санитар из клиники).

— Вы не припоминаете меня? — сказала белая рубашка.

— Нет. Хотя, — начал Боб, разглядывая незнакомца. — Как будто...

— Я Артур Фрезер, я привел вас на собрание черно-белых в парикмахерскую.

— Ах, как же, как же, — радостно и в то же время разочарованно отозвался Кастэр. — Но позвольте, позвольте, что это... Вы тогда были негром. Неужели? — шопотом спросил он.

Фрезер самодовольно кивнул головой и хихикнул.

— Скорее, Господь с вами, разве вы не понимаете что это значит для меня? — Боб яростно вцепился в горло своего собеседника.

— Ужасно просто, — зашептал тот. — Даже рассказывать нечего. Я поступил матросом на грузовое судно. Побывал в Англии, в России. Вот и все. Доктор говорит: от перемены климата, пищи, вообще обстановки.

— Нет, нет... — начал Кастэр и вдруг сел на тротуар: безудержный хохот потряс его до основания.

— Я им доложил про это в парикмахерской, — застенчиво и тоже посмеиваясь, продолжал Фрезер. — Но они боятся: у них машины, чтобы стирать белье, ледники, ванные комнаты, наконец, дети.

— Конечно, конечно, — заливался Боб и неожиданно под-

нявшись, бегом бросился к подъезду клиники. — Я вас еще увижу! — крикнул озадаченному Фрезеру.

56. Эпилог

Вечером, улицы, прилегающие к Madison Square, были, как всегда по субботам, запружены толпою. Война давно кончилась, герои вернулись по домам, трудящиеся располагали свободным временем, и все жаждали развлечения. На этот раз, не цирк, не зверинец и не состязание атлетов, привлекали горожан — а проповедь славного учителя, чудотворца, основателя церкви «Великих Детей».

Наслушавшись и начитавшись рассказов о новоявленном пророке, старики, больные, чахлые девы и подростки разных каст и рас, стремились поглазеть на мудреца, прикоснуться к его одеждам, уверовать и исцелиться.

Во главе секты стоял некто Роберт Кастэр, белолицый, сидящий уже мужчина, атлетической внешности, утверждавший, что его, блондина из арийской семьи, Бог, на несколько лет, превратил в негра... За грехи против Св. Духа его отметил Господь и, наказав формой проказы, преобразил в черного, дабы, покаявшись, он мог прославить Иисуса Христа и положить основание царству Св. Троицы на земле... После чего он исцелился.

Особенность новой секты, повидимому, заключалась в том, что они создавали кочующие общества: все двигались на колесах, на кораблях. Оседлый образ жизни воспринимался как грех.

Корабли «Великих Детей» представляли из себя университеты, заводы, больницы, детские сады, художественные мастерские, поэтические школы, театры, издательства. Корабли плывут, под парусами, под паром (творческий труд и досуг тесно переплетены). Все несут личную ответственность. Преступников наказывают сами обиженные; кто хочет мяса должен сам резать и освежевать теленка или свинью. Фрукты и овощи взращиваются с песнями и молитвами. Отец Кастэр проклял *ice box* и запретил им пользоваться, под страхом атрофии обонятельного нерва (за что его привлекли к судебной ответственности фабриканты консервов, холодильников и витаминов).

Очевидцы передавали о нередких случаях чудесного исцеления и даже преобразования. Дети, больные параличем, начинали двигать своими пораженными конечностями; несколько чернокожих побелело; купцы, банкиры, чиновники, вдруг открывали в себе подлинные дарования: писателя, скульптора, теоретика, ученого... и создали ценные произведения, освобождаясь постепенно от своих хронических недугов (нефрита, грудной жабы, склероза, ревматизма, экземы). Сообщали еще о хлыстовских радениях, когда голые «Дети» плясали до одурения, целуя друг друга какие-то отличительные знаки.

Что правда, что ложь, в этих сумбурных баснях, трудно было разобрать. В больших городах секта еще не пользовалась большим успехом (выступление в Madison Garden было, кажется, единственным); брошюры, листки «Великих Детей» казались противоречивыми. А в летнее время газеты нуждались в ходком материале... Вот почему на религиозный митинг хлынуло такое множество журналистов — даже представители крупнейших органов общественной мысли.

Исполинский, переполненный зал был убран флажками (на голубом поле, белый голубь несет во рту зеленую ветвь). Собрание открылось пением гимна, где часто повторялось слово Дарданеллы. Потом говорил о. Кастэр. Он подробно описал свое прошлое, а также сообщил биографии ближайших друзей, — Сабины, Магды, доктора Спарта, Прайта, Артура Фрезера, — сидевших полукругом на эстраде. В этом ярком, реалистическом, почти бесстыдном рассказе, глава секты проявил несомненное литературное дарование, богатую фантазию и глубокую психологическую хватку. «Покайтесь, иначе с вами случится еще худшее. Читайте Отца своего в собственном образе и не оскверняйте Святого Духа в себе и в себе подобных. Будьте самими собою, верными себе и Богу вас сотворившему. На этих сваях стройте подлинную культуру. Тогда не будет войн, болезней, старости и смерти. Выбросьте психоанализ и витамины, веруйте в Иисуса Христа, первого Богочеловека».

Ребенок рождается преисполненный элементов святости, гениальности, подвига; только постепенно, благодаря воспита-

нию, дрессировке и условностям нашей жизни, подросток меняется, теряя драгоценную сукровицу, и превращается в среднего обывателя: потом заболевает и умирает (от сознания невыполненного назначения, искаженного образа Божия). Если придерживаться своего подлинного я, то осуществится прирожденная божественность. Бог не любит среднего обывателя: Он его не сотворил. Это мы его искусственно создаем. Все люди должны проникнуться этим сознанием и соответствующе надлежит организовать общество, в большом и малом. Если государство воодушевится идеей существования личности, как единственным оправданием своей деятельности, то Царство Божие немедленно придет. Так говорил о. Кастэр. Особенность каждой личности в том, что она неповторима; благодаря этой, присущей всем черте, содружество личностей не только возможно, но неизбежно. Однако, условия цивилизации оседлых муравейников давят на личность, лишая ее внутренней свободы, то-есть своего природного состояния. Если один гад говорит д а, а другой отвечает н е т — и оба оскопляют душу человека — то слепые и безумные могут верить, что в синтезе мы обречем свободу. Надо создавать новое общество и новые взаимоотношения, чуждые собственническим, оседлым инстинктам. «Теперь вам надлежит решить, и быть может уже поздно, сыну ли божиему жить на земле или муравью и роботу».

Грехи тоже претерпевают эволюцию. Из свидетельств древних святых видно, с каким трудом они преодолевали чревоугодие. Это нам уже почти непонятно и дается сравнительно легко. Похоть, кажется, тоже отходит на второй план: в Евангелии на этот счет имеются противоречивые замечания. Но в Евангелии совершенно недвусмысленно и дважды сказано, что есть грех, который фактически закрывает человеку путь в Царство Божие: богатство, деньги, эксплуатация. И две тысячи лет на этот грех почти не обращали внимания: двоеженца изгоняли из церкви, а хозяина многих рабов, жертвующего десять процентов на бедных, с почетом принимали.

Основной, главный грех нашего времени, омерзительный Святому Духу, это эксплуатация человека человеком. Смертный

грех равный, по меньшей мере, прелюбодеянию. И не будет христианства, если оно его не преодолеет. Кочующие общества помогают установить новые классовые, семейные и социальные взаимоотношения...

Затем о. Кастэр играл на дудочке и дюжина змей танцевала под его музыку на эстраде. Дети, в лицах, представляли видение пророка Исаи: выступали рядом с дрессированным львом и медведем, ведя на привязи тельца и козу. Цели гимны, народ плакал. Прайт произвел сбор добровольных пожертвований на новый корабль, имени Венделя Вилки.

И опять о. Кастэр громил непосвященных: «Образумьтесь. Пробил час давно. Вот кончилась война, и уже новая готовится. Величайшее добро — атомная энергия — приводит вас в ужас. Огонь, огонь кругом. Даже Божья благодать не идет вам впрок. Поверните. Шагните в сторону. Прыгните в себя — как блудные сыны — в собственный образ и, тем самым, служите Богу и людям. Теперь надлежит вам решить: гибель или спасение нашему миру. Откажитесь от капиталистического и коммунистического муравейника. Индивидуальное эгоистично и разъединяет; коллектив механически склеивает. Только бессмертная, неповторимая личность находит себя в любовном служении близким».

Отдельные группы присоединялись к новой церкви; с ними что-то делали. быстро, отчетливо благославляли, посвящая в члены секты. Многие плакали.

После собрания, стая журналистов проникла за кулисы — где пахло хищными зверями, потом лошадей и акробатов, громом клоунов.

Прайт важно беседовал с корреспондентами влиятельных газет, пространно осведомляя их. Сабина, Магда, ребяташки, доктор Спарт, смущенно позировали фотоаппаратам. Боб Кастэр, — рост 6,1, вес 185, — курил трубку, отгоняя густыми клубами дыма обступивших его репортеров; вежливо отвечал на вопросы, часто добавляя: — Я ведь это уже объяснил.

— Верно ли, что вы сперва превратились в негра, а потом

снова стали белым, и как это произошло? — наперебой спрашивали журналисты.

— Совершенно точно. Я уплыл на корабле, побывал в Европе, в Азии, и выздоровел. То же самое испробовать мы предлагаем вам. Имена свидетелей и их адреса указаны в нашей литературе, — повторял Боб Кастэр на все лады.

— Верно ли, что ребенок родился белым?

— Верно ли, что Сабина продолжает вас любить?

— Вы лечите от рака?

— Я левша, можете вы меня преобразить?

— У моей жены растут усы...

— Как похудеть?

— Зачем вы собираете деньги, если вы против частной собственности и эксплуатации?

Не было возможности отвечать на все вопросы; развеселившиеся журналисты, кажется, этого и не ждали.

— Деньги нам нужны для постройки кораблей, — откликнулся Прайт и начал выпроваживать назойливых гостей.

В. С. Яновский

**
*

Мы за руки взялись и держимся по детски . . .
Вокруг лишь гладь полей да неба синева . . .
И любо говорить с тобой нам по немецки,
Вставляя русские и польские слова.

И может потому ты позабыл о боли,
А я свою тюрьму забыла в этот миг,
Что "Wiese" говоря мы переводим «поле»,
И каждый узнает в чужом родной язык.

И фразы о кустах, о ручейка изгибе,
О злаках и цветах мы повторяем вновь,
Затем, что не хотим германским словом "Liebe"
Мы называть свою славянскую любовь.

**
*

В вечерний час бродить среди берез,
Их обнимать и кланяться им в пояс,
Лицом к востоку слушать встречный поезд,
Гудящий песнь под барабан колес . . .
Всегда молчать и твердо-твердо знать,
Что ты одна на всем бескрайнем свете,
Что поутру никто тебя не встретит,
А к вечеру не выйдет провожать . . .

**
*

Но жена не рукавица —
С белой ручки не страхнешь,
Да за пояс не заткнешь...

А. Пушкин.

Не женой, а теплой рукавичкой
На твоей руке хочу я стать —
В зимний холод нежно согревать,
Быть твоею будничной привычкой,
А как только в летние деньки
Ты познаешь все блаженство зноя,
Быть небрежно стряхнутой с руки...
Только бы не заткнутой за пояс!

БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ В КОНЦЕ

Ты названа незря березовой аллеей —
Березки по тебе, толкаясь и смеясь,
Бегут, вершинками на солнце золотясь
И серебром стволов в тени ветвей белея.
Не по тебе прошли заветные пути,
И хожено тобой совсем не так уж много,
Но я тебя люблю за то, что ты дорога,
Что можно по тебе уйти, итти, притти...
Уйти?.. Но я ушла от прошлого давно,
От памяти ж о нем мне не уйти вовеки;
Она переплывет со мной моря и реки,
И не тебе ее остановить дано.
Притти?.. Куда? К кому? Где ждет меня камин,
Чтоб, странница, могла свои согреть я ноги?
Я по тебе приду к другой большой дороге,
Найду лишь новый путь иль, может, не один...
Не в силах увести меня и привести,
Ты помогла часы мне скоротать немного,
И я тебя люблю за то, что ты дорога,
Что можно по тебе итти, итти, итти...

Ирина Бушман.

М. Р. W. H.

The living record of your memory . . .
Shakespeare (Sonnet LX).

О, нет, не мрамор марсова кумира
И не литавров громовую медь,
Я это солнце тишины и мира
Хочу во тьме восславить и воспеть.

Как прежде, вольных каменщиков братства
Оплакивают рук моих труды
И проклинают тьму и святотатства,
Но в памяти моей сияешь ты.

И не боюсь любого вероломства,
И пусть терзает вечная война
Арминия и Цезаря потомство,
Сияешь ты — и мир и тишина.

И я среди друзей, быть может, снова
Дар обрету неумолимый слова.

**
*

Сияют снова ясени и клены,
И эту смерть во славе я люблю,
И после отречения от короны
Рабов не милую и не гублю.

Свободой светел, в поредевшей роще
Беседую с последним из рабов . . .
О, милый Рим, не надо Риму мощи,
И чудно беден золотой покров.

И ты не раб, и не целуй мне руки,
Мой милый юноша, мой первый друг . . .
И тишина, и нет предсмертной муки,
И топора членоразделен стук.

Ю. Иваск.

Как прекрасны слова:
Листопад, листопад, листопады.
Сколько рифм на слова:
Водопад, водопад, водопады.
Я расставляю слова
В наилучшем и строгом порядке, —
Это будут слова,
От которых бегут без оглядки.

EX LIBRIS

Мальчик катит по дорожке
Круглое серсо.
В беленьких чулочках ножки, —
Легкое серсо.
Солнце, сквозь листву густую,
Золотит песок,
И бросает тень большую
Кто-то на песок.
Мальчик смотрит улыбаясь —
Ворон на суку,
И под ним висит качаясь
Кто-то на суку.

ЧИСТЫЙ СЕРДЦЕМ

По канату слоник идет,
Хобот кверху, топорщатся уши.
По канату слоник вперед,
Через моря, продвигается к суше.

Как такому тяжелому Бог
Позволяет ходить по канату . .
Тумбы три вместо маленьких ног,
А четвертая кажется пятой.

Вдруг в пучину сияющих вод,
Оступившись, нырнет осторожный?
Продвигается слоник вперед,
Продолжая свой путь невозможный.
Если так — то подрежем канат,
Обманув справедливого Бога.
Бог почил и архангелы спят . .
Ах, мой слоник! — Туда и дорога.

Всё на небе так сладостно спит.
А за слоника кто-же осудит?
Только сердце твердит, и твердит,
Что второе пришествие — будет!

П Л А К А Т

Меж деревьев белый пароходик
Колесом раскрашенным шумит.

Б. Поплавский.

Пароход, пароход, пароходик.
Красным лезвием режет плакат.
Пассажиры по бортику в ряд,
Опершись о перила, стоят.
Путешествию кто-же не рад?
Очень рад и стальной пароходик.

Ах, как рад! Ах, как рад пароходик!
Красный носик, а винт позади.
От земли не легко отойти,
Дыму сколько из труб — погляди!
Дым кругом и вода впереди.
Веселее плыви пароходик.

Это новый совсем пароходик.
В трюме нету всезнающих крыс . . .
Голубеет прозрачная высь . . .
Он далеко, далеко — взглядишь . . .
Вот и скрылся за радужный мыс.
Очень нравится мне пароходик.

Помолюсь за стальной пароходик.
Шепчет на ухо ангел: «Не так
Ты молитву читаешь, чудак . . .
Повторяй потихоньку за мной:
Со святыми Господь упокой» . . .
Пароход, пароход, пароходик . . .

Юрий Одарченко.



Мы будем пить пока вино в стаканах,
Мы будем жить пока любовь в сердцах,
Бессильны против любящих и пьяных
Земная злоба, нищета и страх.

Налей вина, целуй свою подругу,
Пиши стихи когда душа светла,
Ребенку улыбнись, дай руку другу
И никому не делай в жизни зла.

И будешь ты в чудесном, пьяном мире
Все отдавать и все взамен иметь,
Пей до конца стакан на этом кратком пире
За радость жить, за счастье умереть.

1944.



Как сердце взволнованно бьется
В ответ на чужое биенье,
Как звезды сияют чудесно
В ответ на сияние глаз —
Но сердце твое разорвется
И станет добычею тленья,
И звезды в пучине небесной
Погаснут в назначенный час.

И будет одна иль другая
Судьба у тебя, в этой краткой
Бессмысленной жизни — в итоге
Все судьбы пред смертью равны —

Безжалостна правда земная,
Беги от нее без оглядки,
В мечты о бессмертии и Боге,
В безумье, в поэзию, в сны.

1946

О С Е Н Ь

Поменьше слов, поменьше суеты . . .
В лучах заката дни неслышно тают,
За окнами осенние цветы
Безмолвно и бесстрашно умирают.

И мертвый лист слетает, чуть шурша,
На золотом покрытую дорогу —
Как осень несказанно хороша,
Как смерть близка к бессмертию и Богу!

И жизнь твоя цвела, как жизнь цветов,
И вот теперь она клонится долу,
К сырой земле, к Господнему Престолу,
Окованному золотом листов.

Влад. Смоленский.

ЕРЕТИЧЕСКИЕ МЫСЛИ

Настоящая статья представляет содержание доклада, который под заглавием «Парадоксы демократии» несколько лет тому назад был мною сделан в немногочисленном и очень закрытом собрании. «Парадоксом» казалось прежде всего изменение общего политического курса после первой мировой войны. До нее эволюция мира шла в сторону «демократий». В войне они победили; три наиболее авторитарных режима — России, Германии и Австрии пали. Версальская конференция собиралась под демократическим знаменем. «Лига Наций» должна была быть окончательным укреплением «демократий»; она по уставу объединяла только те государства, которые «управлялись свободно». Позволительно было рассчитывать, что курс на демократию пойдет быстрее и полнее, чем раньше.

Что институт «Лиги Наций» не мог сразу удасться, было естественно. Он слишком противоречил традициям, а условия заключенного мира были переполнены пережитками старых, но очень живучих понятий. Но не в международной организации, а в отдельных странах началось движение вспять демократий. Этот отлив обнаруживался тем очевиднее, чем принципы демократий осуществлены были полнее. Победа демократий как будто сама вела за собой их крушение. И увенчался этот попятный процесс «тоталитаризмом» в Советской России, Италии и Германии, появлением в них института «вождей», «единственных партий», запрещением «оппозиции», т. е. изменой всему тому, что почиталось существом «демократий».

В жизни каждого государства можно было найти достаточно местных причин, которые такой поворот объясняли и помогали отыскать «виноватых». Но раз отход от демократий сделался общим явлением, это давало право считать, что в самом их построении был зародыш какой-то общей болезни; она и выходила наружу, когда демократии побеждали. Этой теме и был посвящен мой доклад. Печатать его я не собирался. Он не был до конца доведен и казался сам «парадоксом».

Но время меня убеждало, что если мои рассуждения считать даже не «парадоксом», а «ересью», то эти вопросы все же стоят и полезно на них ответить хотя бы искать. Пусть это послужит объяснением, что я в таком незаконченном виде свой доклад оглашаю.

I. О назначении представительства

Поскольку мир размышляет о своем наилучшем устройстве, главная проблема, которая сейчас стоит перед ним, заключается в установлении правильных отношений между «государством» и «личностью». Никогда эта проблема не стояла так остро.

С одной стороны все «коллективы» стремятся к увеличению господства над своими сочленами. Даже в тех, которым элемент «принудительности» должен был бы быть чужд, как в профессиональных союзах или в политических партиях, их власть над теми, кто в них вошел добровольно, с течением времени все вырастает. Они претендуют на руководство поведением отдельных людей, требуют от них «подчинения» и находят способы «качать» заслушание. Не могло быть иначе, конечно, и с главным коллективом, всецело основанном на принуждении, т. е. с государством. Для этого у него являлись новые основания. Функции государства все расширялись. Оно теперь ставит задачей обеспечивать каждого от «нужды» и от «страха», по счастливому выражению Атлантической Хартии. Каков бы ни был строй государства — капиталистический, социалистический или «эра организаторов»*), — такая задача сама ведет — к увеличению компетенции государства, а потому и к расширению его полномочий.

В противоречии с этой тенденцией росли, однако самосознание и претензии «личности». Она не соглашается быть ни «рабом» иной породы людей, ни «клеточкой» высшего организма. Она «своя» права сознает и их заявляет. Государство принципиально их отрицать не решается. Даже советская конституция 1936-го года посвятила целую главу «правам человека» и объявила «выборы» источником государственной власти. Пусть это — лицемерие, оно показательно. Сейчас нельзя отрицать «демократии», т. е. «народоправства» и «права человека». Можно только их обходить. Как в классических демократиях, при равенстве всех, можно было факти-

*) Burnham, "Ere des organisateurs."

чески подчинять одного человека другому, так в тоталитарных режимах системой и практикой выборов от «народоправства» следа не оставили, но терминологию его сохранили. Проблема правильного отношения «государства» и «личности» остается прежней и даже более острой. Ее не решили ни классические «демократии», ни «тоталитарный режим».

Причины такого фиаско лежат не в чрезмерных притязаниях личности, а в неудачном построении государства. Нужды и права «человека» не произвольны; они определяются природой людей и уровнем их общей культуры. Некоторых потребностей человека нельзя заглушить, не уничтожив его «образа» и «подобия». Государство должно им служить; но форма и строй государства создаются людьми. Пусть разум не играет в этом исключительной роли. Деятельность людей все же им направляется. Они должны ставить вопрос, при каком порядке права и «государства» и «личности» будут наиболее обеспечены, и стремиться к такому порядку.

Об удовлетворении интересов и желаний людей могут судить они сами. Но кто выражает собой государство, т. е. коллектив, который объединяет все интересы людей, даже те, которые противоречат друг другу?

Демократии давали на это ответ очень простой. Государственная власть, в которой воплощаются функции государства, при «народоправстве» должна быть эманацией «воли народа». Поэтому народное «представительство», избранное наибольшим числом избирателей, должно быть источником и основой государственной власти. Другие государственные институты — исполнительная власть, 2-я Палата, сам «глава государства» — постепенно подчинялись воле Нижней Палаты. Этот взгляд выразила и Французская Конституанта в своей недавней попытке усовершенствовать «демократический строй». Ее конституция с безусловным преобладанием Нижней Палаты явилась последним словом демократизма. Но этот взгляд не только слишком упрощен; выраженный им «примат народного представительства» сделался первоисточником «кризиса демократии».

Что «представительство» не должно почитаться суверенным органом «государства», видно уже из того, что «государственная власть» старше, чем «представительство». Оно может быть создано и созвано только уже существующей государственной властью. Даже при полном крушении государства и власти, когда их как будто впервые создает какая-

нибудь полновластная «Конституанта», ее всетаки созывает какая-то власть, хотя бы «временная» и «самочинная». «Природа не терпит пустоты» и если бы такой фактической власти не образовалось, то исчезло бы или распалось и самое государство. Государства бывают без «представительства», но не бывали без государственной власти. Представительство — явление производное и более позднее; его нельзя смешивать ни с общим собранием всех граждан древнего мира, ни с нашим «вечем». До «представительства» не додумался даже гений Римской Империи. Оно возникло вовсе не как источник или замена государственной власти, а как ее сотрудник, как ограничение ее всемогущества. Оно должно было против государственной власти защищать интересы и права населения. Это назначение его так велико и так нужно, что представительству не надо приписывать функций, для которых оно не годится.

Таким назначением представительства объяснялось и происхождение его из выборов самим населением.

Ведь непосредственные интересы государства и личности не всегда совпадают. Противоречие между ними часто нагляднее, чем общность. Так в интересах каждого человека, чтобы у государства имелись и военная сила и принудительный аппарат. Но такие функции государства требуют от отдельных людей дополнительных жертв, которых часто они не хотят приносить. Люди и группы их свои интересы лучше знают и ближе принимают к сердцу, чем интересы всего государства.

Как можно рассчитывать, что те представители, которых посылают в Парламент отдельные люди, станут представлять в нем интересы не своих избирателей, а всего государства в его совокупности? Пусть они даже думают, что заботятся более всего о всем государстве, пусть фикция, будто всякий депутат представляет собой все государство, вошла в самый текст конституций, — эта фразеология положения не меняет. Если бы депутаты представляли собой государство, между ними не могло бы быть разногласия; а между тем разногласия — неотъемлемая часть «представительства». Если депутат, который естественно видит благо государства через призму интересов своих избирателей, вообразит, будто действительно представляет не их, а все государство, эта претензия только побудит его принимать свои интересы за интересы всего государства; отсюда один шаг, чтобы несогласных с собою он стал считать «врагами государ-

ства», — софизм, который расцвел в учении об «единственной партии».

Чтобы за представительством сохранить фикцию его с уверенности, пришлось прибегнуть к натяжкам. Если нельзя было настаивать, что каждый депутат представляет собою все государство, то стали утверждать, что они выражают его в своей совокупности. Несмотря на поговорку, что сотня кроликов не делает лошади, эта фикция стала приниматься за «самоочевидную истину». А в ней заключается исходный пункт основной «лжи» демократии.

Так как отдельные депутаты неизбежно излагают различные пожелания, пока отдельные люди и разнообразие их интересов — реальность, то в свободном представительстве нормально единогласия быть не могло. Если оно где-либо существует, как правило, оно всегда результат обмана или насилия. Что же при различии мнений должно считать за общее мнение всего представительства? Демократии стали учить, что им является то мнение, которое соберет за собой большинство голосов; на этом утверждении все было построено.

Именно оно и было «великой ложью». Часть, как бы того ни хотели, не равняется целому. Можно большинство предпочитать меньшинству, но оно всетаки целым не сделается и меньшинства собой не заменит. Если, как общее правило, предпочитать его меньшинству, нужно для этого привести основания с точки зрения пользы для целого. Сделать этого было нельзя. Действительно, в чем могло быть его преимущество? Оно не умнее, не более проницательно, чем меньшинство, чтобы оно могло вернее, чем меньшинство, судить о пользе всего государства; в жизни бывает скорее наоборот. Оно не сильнее, чтобы иметь возможность всегда силой свою волю меньшинству навязать. Жизнь показала, как «меньшинство» может управлять большинством, и, наконец, никто не решился признать силу желательным руководителем жизни, чтобы основываться только на ней. Большинство и не лучше, не более справедливо понимает истинные ценности и достоинства в жизни. Ведь масса народа когда-то предпочла Варраву Христу. Все это так очевидно, что некоторые теоретики права примат большинства оправдывают тем, что иного разумного выхода нет, что сама народная мудрость в затруднительных случаях так свои споры решает. “Il faut se compter ou se battre” — шутя говорил в Палате Депутатов Тардье. И это неверно. Там, где интересы

всех одинаковы, где все хотят одного и того же, меньшинство может большинству подчиниться; большинство тогда защищает интересы и меньшинства. Поэтому в этих случаях разногласия можно разрешать не только большинством, но даже и жребием. Но там, где происходит конфликт интересов, где чьими-то интересами приходится жертвовать, это соображение уже не убедительно. Кельзен указывал преимущество большинства в том, что оно к единогласию ближе. Это правильно; но этим доводом развенчивается примат «большинства»; вместо него выдвигается начало единогласия, к которому надо стремиться. В этом может быть выход. Но пока большинство мы выдаем и принимаем за целое, как это делают демократии, мы от единогласия уже «отрекаемся».

И тем не менее принцип «большинства» стал считаться самым существом демократии; она была на нем вся построена. Понять эту условность можно лишь исторически, как реакцию против того, чем обыкновенно начиналась жизнь государства, т. е. против подчинения масс привилегированному меньшинству и даже одному человеку. Общежитие, организованное сотрудничество отдельных людей, не может существовать без власти, как не может быть войска без вождя, которому оно подчиняется. Как впервые среди людей создалось подобие государственной власти, т. е. образовалось какое-то меньшинство, которое управляло другими, — область социологии, а не истории. Власть возникла раньше истории. Первоначальное происхождение этой власти могло быть различно. Она могла вырасти из семейных начал, т. е. из подчинения старшим, из завоевания, т. е. из права сильнейшего, из добровольного подчинения, т. е. из выбора наилучшего, и т. д. Историческая память государственную власть всегда заставляла уже готовой. Ее основанием была ее необходимость для людей в данных условиях жизни, фактическое исполнение ею тех функций, для которых она была нужна, и обладание ею той силой, без которой она не могла бы их исполнять. Словом, власть была основана на факте жизни. Только позднее под власть стали подводить разумные оправдания; ее объясняли и «велемием Бога», и природным «историческим правом» и «волей народа», и т. п. Пока население свою власть признавало, этих объяснений было достаточно. Да власть и не считала их нужным давать. Она опиралась на свою «волю», а несогласных себе подчиняла. Демократии развились в борьбе с такой идеологией; они стали защищать население и его интересы против претензий власти по собственной воле и иногда для собствен-

ной выгоды им управлять. Демократии победили, но, победив, пошли по той же дороге, повторяя недостатки тех, кого победили. Все осталось по прежнему, только роли переменились. Теперь уже «большинство» стало признавать себя «природной» властью; его воля в оправдании стала будто бы не нуждаться. Она признавалась «обязательной» для всего государства только потому, что за ней большинство. В населении разногласия не исчезли, единомыслия в нем не получилось; только одна воля сменилась другой. В этом прежнее правящее «меньшинство» нашло теперь свою «Немезиду».

Это начало наложило на жизнь демократий особый отпечаток. Управление государством при демократическом строе превратилось в войну за «большинство». «Военное искусство», как говорил Наполеон, — «есть искусство быть сильнее неприятеля в определенный момент». Таким моментом в демократии прежде всего сделались выборы. К нему мобилизовали сторонников. Чтобы оказаться в этот момент сильнее противника, пускали в ход обещания и ложь во всех формах ее. В прочность добытого таким путем большинства не верили ни победители, ни побежденные. Чем полнее была власть «большинства», тем демократия казалась совершеннее. Но «побежденные» тотчас же начинали подготовку реванша: они знали, что победители своих обещаний исполнить не могут. Разочарованию в них они старались способствовать: одни устраивали выступления масс, другие — различные виды обструкции, грозили банкротством, паникой на денежном рынке, параличем экономической жизни. Победители стремились свою победу использовать, а о побежденном меньшинстве не заботились. Военная стратегия советует всегда победу доводить до конца, чтобы противник подняться не мог; его старались поскорее добить.

Власть опиралась на большинство «представительства», но выборы не окончательно решали этот вопрос. Большинство в парламенте могло разлагаться, создаваться из других элементов; поэтому война за «большинство» продолжалась и после выборов. Депутаты учитывали новые выборы, готовили в своих округах образование новых «большинств», а пока занимались перетасовкой большинства в самом парламенте.

В этих условиях неустойчивости власть не могла решать тех задач, которые современная жизнь перед государствами ставила, — ни организации безопасности в международном масштабе, ни водворении внутри общего довольства и с п р а

ведливого социального строя. Это фатально вело к катастрофам, которые, насколько возможно, только отсрачивались. Парламентский порядок превращался в спортивный спектакль, где очень часто думали не столько о пользе и судьбе всего государства, сколько о сохранении или приобретении «власти», о создании или разложении «большинства».

Этот порядок не только подрывал авторитет «государственной власти», но не способствовал и ограждению «человеческой личности». С тех пор, как представительство в лице своего большинства стало опорой власти, не только отдельный человек, но и все население уже не имели в нем защитника против государственной власти. «Представительство» защиту «человека» само променяло на «власть». Так классическая демократия одновременно ослабляла и «государство», и «личность». Тоталитарный режим, который создан на полном разочаровании в демократии и на ее отрицании, ничего исправить не мог. Если мы хотим сохранить демократию, «народоправство», оградить в ней и «личность» и «государство», не нарушая равновесия между ними, надо начинать с первоисточника зла, с восстановления истинного призвания «народного представительства».

II. Структура представительства

Если «представительство» имеет задачей защиту «людей» против всего «государства», его должно так строить, чтобы оно могло удовлетворять именно этому назначению.

Оно, для этого, должно быть независимо от государственной власти. Тоталитарные режимы, которые уничтожить его не решались, сумели превращать его в подчиненную «клаку». У «власти» для этого возможности были. Она издавала законы, по которым «представительство» избиралось, она же наблюдала за их исполнением. Это давало ей средства «устраивать» выборы. Приемы, к которым она для этого прибегала, зависели от ее бесцеремонности и от выносливости населения. Так в советской России списки кандидатов когда-то публично предлагались избирателям на одобрение, несогласным грозила «стенка» и эта комедия называлась все-таки «выборами». Теперь поступают иначе. По конституции 1936 года все граждане участвуют в выборах и голосование тайное; но статьи о «праве выставления кандидатов», о «преимущество партии», о роли государственной власти «в обес-

печении выборных прав» все-таки ставят выборы в полную зависимость от усмотрения власти. Не говорю о беззакониях, подлогах в списках, об обманах при подсчете поданных голосов и т. д. Такие злоупотребления могут быть неограничены. Единственная гарантия против них в том, что они так дискредитируют «выборы» и «представительство», что оно перестает годиться даже для клаци. Но эти приемы — вопрос другого порядка. Они свойственны только периодам «революций» и «войн», т. е. признанного и открытого беззакония. В этой статье речь идет о желательном «нормальном» порядке. В нем, чтобы быть ограничением государственной власти, антиподом в «антиномии» государства и личности, «представительство» не может быть создано по усмотрению власти; его должно независимо выбирать население.

Вторым нужным условием является, чтобы в нем было представлено все население. Пока представительство считалось воплощением государственной власти, еще можно было доказывать, что не все способны на это, что эти функции должны принадлежать какой-то «элите» по происхождению, состоянию или образованию, словом можно было оправдывать понятие “*paus legal*”. Но если представительство имеет задачей только защищать права и интересы отдельных людей, нельзя никому отказывать в возможности быть в нем представленным, не лишив его этим «прав человека». Тогда пришлось бы мириться и с восстановлением «рабов» древнего мира, с положением «евреев» у Гитлера или «врагов народа» у Сталина, словом отказаться от претензии быть «демократией». Все профессии и классы общества, самые слабые, темные и несчастные, в демократиях должны все-таки иметь своих представителей. У всех них есть свои специальные нужды, жалобы и пожелания, которые должны в представительстве отражаться.

Для этого мало только ценз уничтожить; это было бы самообманом. Нужно, чтобы система выборов это бы обеспечивала. Между тем, символом и квинт-эссенцией демократии считалась «четырёххвостка». Критику ее клеймили, как «реакцию». Конечно, поскольку «четырёххвостка» уничтожила ценз, установила равенство «избирателей», она была шагом вперед. Но в ней было слабое место: выборы в ней происходили большинством на территориальной основе. Все избиратели данного территориального округа имели общего представителя. Если бы компетенция выбранных лиц каса-

лась только вопросов, связанных с «территорией», такое построение могло быть допущено. Но как раз вопросы «территориального» характера относятся к компетенции «местных» учреждений. В сфере же других интересов, из которых состоит жизнь человека, на одной и той же территории живут люди, интересы которых противоположны. Говорю не о тех интересах, которые зависят только от вкусов и характера личности; до них государству не должно быть дела. Говорю об интересах, связанных с жизнью и структурой общества: рабочие и работодатели, собственники и наниматели и т. д. имеют свои специальные и противоречивые интересы. Нельзя утешаться иллюзией, будто разделение общества на классы только переходная стадия, что общество когда-нибудь будет «бесклассовым», хотя бы путем насильственной «ликвидации» классов. Этому больше не верят. Советская Россия гордилась, что создала бесклассовое общество, поставив к стенке «буржуев», «капиталистов» и «эксплуататоров». Но и в разгаре этих «успехов» у нее оставались все-таки два различные класса — крестьяне и рабочие. Позднее к ним прибавили интеллигенцию. Он — этот класс — впитал в себя «начальников», «организаторов», «управителей», которые «управляют» другими. Интересы этого класса не тождественны с интересами тех, кем они управляют. Пока жизнь построена на разделении труда, а всякий человек тем не менее сознает себя отдельною личностью, которая имеет право хотеть блага себе, а не только другим, до тех пор различие профессий и классов в обществе неотвратимо, а в населении будут различия интересов и мнений. У всех одновременно не может быть один общий защитник; он по необходимости чьими-то интересами жертвовал бы.

Здесь мы и наталкиваемся на основную фикцию демократии, которая «большинство» принимает за целое. Если еще можно было к этой фикции прибегать, когда дело шло о построении государственной власти, то применять ее к самым интересам «частных людей», для них равно дорогим и понятным, значило явно делать подлог. При подобной системе избрания чьи-то интересы будут заглушены в самом начале, не лучше, чем бы это было при цензе. Нельзя сравнивать избрание защитника одинаковых интересов с разрешением споров между теми, чьи интересы противоположны друг другу. Для этих различных случаев приемы различны. При споре работодателей и рабочих в каком-либо предприятии каждая сторона может отдельно выбирать того представителя,

который в этом споре ее интересы будет лучше отстаивать; в случае разногласия в каждой отдельной среде — его можно разрешать хотя бы и жребием. Большинство все равно будет защищать и меньшинство. Но когда речь идет о разрешении самого спора между двумя противоположными сторонами, его нельзя разрешать большинством голосов обеих сторон вместе взятых; нельзя воображать, что большинство будет и в этом случае представлять интересы меньшинства. К этому абсурду приводит «четырёххвостка», при которой считается представителем всего округа тот, кто в нем получил только большинство. А на этом абсурде построено представительство.

Эта неправда была так очевидна, что с ней стали бороться «пропорциональной системой выборов». Она как будто положение улучшала. Благодаря ей и меньшинство могло при известных условиях попадать в представительство. Но это была полумера и самообман; от «преимущества» большинства не отказывались, а только его видоизменяли. А за эту уступку система платила другим вящим злом. Она давала привилегии составителям списков, а искусственным подсчетом голосов и остатков вводила в выборы такую неясность, что избиратель считал себя в «правах» своих ущемленным, а депутатов ему кем-то посторонним навязанными. А кроме того, авторами списков и электоральных расчетов сделались вожаки «политических партий». Я не отрицаю необходимости «партий»; к этому вопросу я еще вернусь. Но если представительство имеет целью не создание государственной власти, а защиту перед ней интересов и прав отдельных людей, то в выборах подобного представительства «политическим партиям» нечего делать. Их участие только настоящий смысл выборов затемняет. Оно один из многочисленных способов лишать представительство независимости от государственной власти.

Выход из этого противоречия указан давно. Выборы «представительства» должно делать не на искусственной территориальной, а на органической, профессиональной и социальной основе. Такие группы среди населения возникают сами собой, без веления, а иногда против желания власти. У каждой из них есть свои специальные нужды и пожелания к власти. Не территория, как в «четырёххвостке», а эти группы, связанные своими общими интересами, должны быть в основе избрания от них представителей.

Эта мысль лежит в основе учения о «представительстве

интересов». Как претворять ее в жизнь, какие группы объединять, как делать совместные выборы теми, кто разбросан по всему государству — вопрос уже техники. Я в него не вхожу. Его будет тем легче решать, чем общество более развито, а его части лучше сознали свои общие нужды. Они сами дадут основу для выборов от них представителей. Последствия, в случае неудачного разделения на группы, потеряют свою остроту с тех пор, как избранные их будут являться только представителями вверенных им интересов, а не носителями суверенной государственной власти. Теперь от изменения границ избирательного округа может зависеть избрание того депутата, который будет считаться представителем всего государства и осуществлять его власть. При представительстве интересов важно не число избранных депутатов, а только одно: чтобы каждый интерес был кем-то представлен, притом тем, кто его сам имеет, а не тем, кто с ним борется.

Сами сторонники «представительства интересов» не покушались отожествлять его с государственной властью. Они его проектировали иначе: в форме некоего органа при Нижней Палате, или при другом институте власти. Это правильно; таково и должно быть его назначение. Но орган защиты прав «человека» против «государственной власти» не может иметь только совещательный голос; это означало бы нарушение равновесия в основной антиномии государства и личности. Отношения между ними должны быть построены иначе.

Но предварительно является другой вопрос. Интересы самих профессий и классов могут оказаться враждебными друг другу; отсюда учение о «борьбе классов», как смысле истории. Пусть меньшинство не будет задушено при самом избрании и пройдет в представительство. Тогда само представительство отразит внутри себя борьбу классов и защиту ими друг против друга своих интересов. Как же ее там разрешать? Нельзя, не противореча себе, признать примат «большинства» в этом случае. Очевидно, нужно идти другой дорогой.

Я упоминал мнение, что преимущество большинства в том, что оно к единогласию ближе. Это плодотворная мысль. Действительно только при единогласии народоправство осуществляется в его чистом виде, по доктрине Руссо, по которой каждый в итоге должен подчиняться только своей собственной воле; при противоречии интересов едино-

гласия само собой не бывает; оно может быть достигнуто лишь сговором, уступками, т. е. общим принятием какого-то компромисса. В нем цель и основа государственной жизни. Государство потому и должно быть построено так, чтобы оно могло не искать большинства, а облегчать добровольный компромисс между теми, чьи интересы противоречат друг другу. Это достигается институтом второй Палаты.

Вторые Палаты существовали даже тогда, когда «представительство» считалось основой государственной жизни. В этом была логическая непоследовательность, которая вызывала нарекания. Если «представительство» само есть «государство», зачем нужна вторая Палата? Как когда-то указывал Сизэ, она не нужна, если говорит то же самое, что и первая, и вредна, если говорит нечто другое. А так как вторая Палата всегда выбиралась более ограниченным числом голосов, по какому-то цензу, хотя бы только возрастному, то ее равноправие с нижней Палатой казалось противоречием принципу равенства. Отсюда непопулярность вторых Палат среди демократий; значение их стремились всё сокращать, сводили их к роли простых «редакционных комиссий», или к тормазу, который может не остановить, а только замедлить движение. Такая тенденция и раньше была неосновательна; существование вторых Палат и тогда было оправдано опытом жизни, как существование апелляционных инстанций в судах. Но сейчас вопрос ставится иначе. Если представительство должно выражать собой не государство, как таковое, а только интересы «людей», разнообразных профессий и классов, существующих в населении, и все должны иметь в нем свой голос и возможность интересы свои защищать, то вторая Палата является совершенной необходимостью. Без нее представительство было бы торжеством одного большинства, что и было главным злом в демократиях.

Сама общественная жизнь дает основу не только для объединения людей по профессиям и по занятиям, но и для распределения их по различным Палатам. Как бы ни были интересы различных групп разнообразны, одни из них стоят ближе, а другие дальше друг от друга. Иные так близки, что могут даже иметь общих для всех представителей. Объединение таких родственных групп полезно для них же; оно будет первым шагом к отысканию ими соглашений

уже с противниками. В объединении их тот же смысл, что в соединении отдельных людей в один профессиональный союз. Смысл этот двоякий. Поддержка союза пожеланиям отдельного человека дает больше веса. А возражения, исходящие не от противника, а от единомышленников, помогут заблаговременно устранять притязания, заявленные слишком поспешно, без учета реальных возможностей.

Профессиональные объединения — вид самопомощи и самоконтроля. С такою же целью профессиональные группы могут федерироваться и между собою; это будет происходить в силу близости их интересов, или одинаковости опасностей, которые им угрожают. Такой процесс пойдет тем успешнее, чем интересы их будут ясней сознаваться и чем поддержка ими друг друга будет чаще испробована. Эти процессы и будут в основе сосуществования двух различных Палат. Через них будет лежать путь к соглашению всех.

Такая система «представительства интересов» не совпадает с учением о «корпоративном» устройстве. При нем в рамках корпорации, т. е. объединения на профессиональной основе, соединяются люди, интересы которых в данной профессии могут быть противоположны друг другу, как например, наемников и нанимателей. Им только дается возможность ради общей пользы их дела, т. е. интересов всей корпорации, примирять свои разногласия. Это тоже реальный путь к соглашению, который был жизнью испытан. Но в изложенной схеме исходная точка другая. С тех пор, как демократии установили для разрешения споров преимущество «большинства», только потому, что оно большинство, а не по внутренней его правоте, с произволом и «большинства» демократии должны бороться не меньше, чем они когда-то боролись с «личным режимом» монархов или привилегированного меньшинства, аристократии. Жизнью демократии должны управлять не воля большинства, а все ми людьми признаваемые и для всех одинаковые начала и принципы общежития. В этом требовании состоит особенность «правового порядка», т. е. господства права. Никакие классы или профессии в демократии не должны иметь преимущества над другими. Вторая Палата имеет назначением восстанавливать равноправие классов. Поклонением большинству демократия его нарушала. Принятием части за целое она оставляла без защиты против государственной власти не только отдельного человека, но целые классы людей, если они в меньшинстве. Это была «профессиональ-

ная» болезнь демократий, с которой стало необходимым бороться для их же спасения.

При строении современного общества в нем есть группы людей, которые по природе своей всегда в меньшинстве. Землевладельцев меньше, чем жителей, домовладельцев, чем квартирантов, квалифицированных ученых, чем просто грамотных, управителей, чем управляемых, и т. д. Государство может признать, что некоторые классы не нужны, и их запретить; как оно уничтожило рабовладение, оно может упразднить земле-владение, пользование наемным трудом и т. д. Структура общества тогда коренным образом переменится. Но пока какие-то виды труда допускаются и какие-то интересы людей государство считает дозволенными, государство интересы и права всех этих людей должно охранять, как охраняет всякое право. Меньшинство, которое эти интересы имеет, должно иметь равную возможность их выражать и защищать в представительстве. Как ни разнородны интересы различных социальных меньшинств, им всем угрожает опасность быть раздавленными массой тех, у кого эти интересы отсутствуют и кто поэтому о них не заботится. Этим группам естественно стоять друг за друга, за общие им всем права «меньшинства». Эта защита меньшинства и лежит в основе второй Палаты. Без нее бы не было народоправства, а его карикатура.

Курьезно, что демократии во второй Палате видели якобы привилегию, которую меньшинство получало. Это отношение характерно. Существование второй Палаты вообще не давало «меньшинству» перед «большинством» преимущества. Оно только препятствовало поглощению его «большинством». Видеть в этом нарушение «равенства» значит напоминать выходку Бисмарка против людей, которые считают себя угнетенными лишь потому, что сами не могут других угнетать. Защита «меньшинства» против большинства, так же, как и защита отдельного человека против государства, есть задача и заслуга именно демократии. Только эту защиту надо доводить до конца, не ограничиваясь одними «национальными» меньшинствами, что и демократия допускает.

На какие курии разбивать население, какие из них соединять в одной и той же Палате — этот самый важный вопрос решается в зависимости от строения общества и уровня культуры и техники. Возможно, что многие не сразу распознают тот класс, с которым их связывают их интересы. Они могут даже временно остаться вне класса, а продолжать вы-

бирать представителей на безразличной территориальной основе, подобно тому, как в парламентских группах доселе бывают «партии беспартийных». Это пройдет с развитием жизни и опыта. Но разрешение этого основного вопроса облегчается тем, что при представительстве, выражающем только интересы людей, а не волю всего государства, сами избиратели всегда заинтересованнее и компетентнее, чтобы решать не только в какой курии, но и в какой из Палат им правильнее иметь своих представителей. Выбор этого можно им самим предоставить без ущерба для всего государства.

Главный смысл двух-палатной системы не в изменении состава избранного представительства, а в изменении самого подхода к вопросу. Вместо войны за «большинство», что до сих пор было сущностью демократии, создается необходимость искать и возможность достигать «соглашения». В нем идейная основа народоправства и демократии. Из предпочтения «большинства» только потому, что оно «большинство», вытекли дальнейшие извращения демократии. Когда «большинство» стало считать себя вправе навязывать свою волю другим, оно повторяло идеологию того «меньшинства», которое приписывало себе власть над другими. Это рассматривалось и у тех и у других, как их «природное» право. Эта идеология старого самодержавия воскресла полностью в учении Ленина и в практике Советской России. «Рабочий класс» претендовал представлять собой весь народ, хотя он не был даже его большинством; коммунистическая же партия выдавала себя за передовой отряд рабочего класса, который получил этим право насильно управлять всем государством и уничтожать тех, кто с ним не соглашался. Конечно, и в самодержавной, и в Советской России эта претензия одинаково оправдывалась «пользой народа», которую правящее меньшинство понимало будто бы лучше народа. В этом сходном результате культ «большинства» в демократиях нашел свою Немезиду.

Настоящее народоправство должно быть построено на соглашении противоположностей. Отдельные социальные классы будут выбирать своих представителей, которые будут только их представлять. Они будут соединяться в две различных Палаты по аналогичности своих интересов. Поскольку в каждой Палате интересы всех однородны, можно будет принимать в них решения и по большинству голосов. Патронат не будет решать за рабочих, а рабочие за патронат. Разрешение же несогласий и споров между

противоречивыми классами и интересами будет осуществляться уже самими Палатами, как объединенными целыми, и не по большинству голосов, вместе взятых, а по соглашению между самими Палатами.

О том, как достигать соглашения, каковы должны быть отношения всего двух-палатного представительства с государственной властью, речь будет дальше. Пока можно установить только одно. Права обеих Палат должны быть одинаковы: те, которые даны одной, должны тем самым принадлежать и другой. Но раньше, чем говорить о правах обеих Палат и их отношении к государству, надо пересмотреть построение государственной власти, как второго члена в основной антиномии «государства и личности».

III. Государственная власть

Не точно противопоставлять «представительство» «государственной власти». Представительство само «часть» ее. Если «разделение властей» и ведет к разграничению специальных их компетенций, они все же остаются частями одной государственной власти. Я буду говорить в этой главе не о «государственной власти» в широком смысле этого слова, а о «правительстве», т. е. о той власти, которую Монтескье называл «исполнительной», потом именовали властью «управления», а в конституции советской России величают властью «исполнительной и распорядительной». Если я называю ее просто «государственной», то не только для краткости, но потому, что именно эта власть владеет тем, в чем состоит условие бытия государства, т. е. аппаратом принуждения. Только эта власть может дать силу и судебным решениям и законодательным нормам. Именно в ней поэтому как бы олицетворяется все «государство» и его господство над человеком.

Проблему «возникновения» государства ведает социология; историческое время заставляло государства уже существующими. Зато история есть картина постоянного их «изменения». Первоначально «глава государства», как бы он ни был построен и как бы ни назывался, соединял в себе всю полноту власти. Теория «разделения властей», «народоправства» и появление на свет «представительства» были уже «ограничением» его всемогущества. «Представительство» по своему происхождению сделалось защитником «прав человека», а потому излюбленным «органом» демократии. И кризис демократии ни в чем не сказался так ярко, как в теперешней перемене отношения к «представительству» и к «государ-

ственной власти». Прежде теоретики демократий стремились все «органы власти» подчинять «представительству». Теперь же те же люди проповедуют «диктатуры», перед диктаторами «раболепствуют», а «представительство» низводят до роли «придворных льстецов». Конечно, это ненужные, а для демократии постыдные крайности. Но самое желание «укрепления» власти, большей независимости ее от «представительства» — течение здоровое; а тенденция всё подчинять представительству, хотя и сопровождала наибольший расцвет демократии, более всего способствовала настоящему кризису.

Если «представительство» должно от государственной власти быть независимо, то и «государственная власть» должна тоже от представительства быть независима. Этого демократии не сумели понять или не хотели принять. Им казалось, что если государственная власть существует для человека и должна служить его интересам, то этого можно всего лучше достигнуть, «подчинив» ее представительству. В наиболее законченном виде это осуществлялось в парламентаризме, где не только «правительство», но и глава государства зависели от «представительства». Без одобрения «правительства» глава государства при парламентаризме — «безвластен», а правительство ответственно перед «представительством». Но если государственную власть создает представительство, т. е. на деле его большинство, то оно будет защищать уже ее против отдельных людей; этим оно защищает себя. Оно будет жертвовать интересами людей для защиты «власти» им созданной. Вечная тяжба между «государством» и «личностью» превратится в спор между «большинством» парламента и «оппозицией». Человек со своими правами и интересами становится пешкой в борьбе партий за власть. Свое назначение — защищать человека против государства — при таком порядке представительства потеряно.

Что демократии пошли по этой ложной дороге — понятно. «Главами государства» в начале были «монархи», приписывавшие себе наследственную природную власть. На этой идее воспитывалось все население. «Выборное» представительство естественно начало борьбу именно с ней. «Парламентаризм» и казался самым действительным к ней коррективом. Но ведь теперь, несмотря на новое тяготение к «сильной» власти, даже к «единовластию», монархи с природною властью со сцены уходят. Там, где они еще сохранились, они, благодаря парламентаризму, переменили характер.

Англия стала республикой; в ней истинный «глава государства» — премьер. Король остался, как «символ» единства страны, законности, преемственности настоящего с прошлым и т. д. В республике положение иное; в ней «главы государства» не претендуют управлять страной по природному праву. Все свои полномочия они держат от конституции. Власть им вручается «конституцией» только на срок и новые выборы являются для них и проверкой и санкцией. Потому в республиках отношение к главе государства может быть иным. Если наследственный монарх мог быть только «символом» и «царствовать», не «управляя», то выбирать главу государства для такой только роли — уже карикатура. От нее недалеко ушли в парламентарных республиках.

В республиках главной задачей поэтому должно быть не стремление власть «главы государства» ослабить, а такая организация его создания, чтобы глава государства принуждался управлять населением в его интересах, по его пониманию, и чтобы население могло в нем видеть свою, от него самого исходящую власть. Уже потому выборы его нельзя поручать «представительству». Это значило бы признать «главу государства» подчиненным не всей стране, а представительству, т. е. сделать представительство суверенным органом государства. Ни по назначению своему, ни по строению оно им быть не может. Но чтобы население видело в «главе государства» власть, от него самого исходящую, которая служит ему, в его выборах оно должно принимать не меньше участия, чем в выборах «представительства». Естественным выходом из этого являются непосредственные выборы всем населением.

Многие конституции, не исключая французской, этого опасались. По их мнению подобная система избрания даст главе государства слишком много авторитета. Такое опасение характерно. Подобные выборы объема прав его увеличить не могут; увеличиться мог бы его авторитет только моральный; как будто для главы государства он может быть когда-либо слишком велик! Это напоминает французскую шутку: *la mariée est trop belle*. Но в таком опасении сквозит боязнь за престиж самого представительства, которое якобы должно быть выше всего, т. е. то самое преувеличенное мнение о «представительстве», которое составило основной порок демократий.

Для выборов населением есть трудность чисто техни-

ческая. Фактический глава государства должен иметь специальные качества, в которых массы разбираться не могут. Если руководиться одной его популярностью, на этот пост могли бы попадать не государственные люди, а фавориты момента, писатели, артисты, даже спортсмены. В выборах главы государства должны поэтому непременно участвовать компетентные лица. Но чтобы он мог считаться выбранным всеми, в его избрании должны участвовать все. Это как будто противоречие. Но всякое участие масс в решениях сложных вопросов, будь то плебисцит, или референдум, может заключаться только в принятии или отвержении сделанного им «предложения». Ответу масс должны предшествовать формулировка «вопроса» или выставление пригодных для избрания «кандидатов» компетентными лицами. Так бывало на выборах еще во времена Аристотеля: выборы происходили из намеченных другими заранее кандидатур. По этому примеру можно было бы поступать и в демократиях. Можно было бы поручать каким-либо компетентным, а по направлению противоположным органам выставление кандидатур в президенты республики и подвергать их плебисциту. Но жизнь и здесь оказывается мудрее теории; и мы на ней можем учиться, как это фактически делается.

Поучительны Северо-Американские Соединенные Штаты. По их конституции народ выбирает не Президента Республики, а только коллегию выборщиков, которой передоверяет избрание. Но население воспротивилось этому. Оно стало выборщиков выбирать с тем, чтобы они голосовали за заранее определенного кандидата, и двустепенные выборы этим превратило в прямые. Но зато жизнь внесла в это поправку. При многочисленности выборщиков обеспечить избрание определенного Президента можно только при сложной «организации выборов» и при их дисциплине; само собой это не сделается. Организация таких выборов и выпала на долю «политических партий». На своих партийных конгрессах они «номинаруют» кандидатов в Президенты Республики из подходящих для этого лиц; они их проводят, выставя многочисленных выборщиков, за последующее голосование которых ручаются, и проводят их всем влиянием партии. Такая система ничьих прав не нарушает; избиратели и партии остаются свободными; если избиратели подают голоса за указанных партией выборщиков, то потому, что это единственный способ провести желательного для них Президента. Так сочетаются противоположные усло-

вий: «избранность» и «популярность». То же приблизительно происходит и в Англии; и там общие выборы являются плебисцитом между заранее известными лидерами, которых «партии» выбирают.

В выставлении кандидатур одно из назначений «политических партий». Но главное в нем — не оценка «личных» свойств кандидата. Конечно, обязанности «главы государства» требуют от него подготовки, о которой широким массам трудно судить. Но подобная подготовка могла бы быть обеспечена другими суррогатами, напр., установлением для кандидатов некоего административного ценза. Политические партии нужны для другого. Они, как я раньше упоминал, неуместны для выборов «представительства», которое должно выражать только желания и интересы различных «профессий» и «органических групп» населения. Депутаты выбираются, чтобы их защищать; о них они могут сами судить без вмешательства политических партий. В понимании своих нужд представители в главных чертах солидарны и потому в их среде меньшинство большинству подчиняется. Если Конфедерация «Труда» во Франции раскололась на две организации, то именно потому, что в нее замешалась «политика» и она стала орудием различных «политических» партий. Но это и было отклонением ее от своей истинной цели.

Назначение «политических партий» другое. Они должны представлять интересы не отдельных людей или групп, а нужды и потребности всего государства. Их программа поэтому — программа не групп населения, а государственной власти как таковой. Она должна примирять и соглашать всех на началах общей пользы и справедливости, ибо в этом смысл «государства». Задача политических партий ставить и решать именно эту задачу, свои решения внушать населению и руководить в этом общественным мнением. Им поэтому всего естественнее представлять и проводить соответствующих моменту кандидатов в «главы государств». Это прямая их компетенция.

Исполнение этих функций будет способствовать и их собственному оздоровлению. Когда главной их задачей было проведение депутатов в «парламент», партий могло быть очень много; интересы избирателей разнородны, а в парламенте хватало места для многих. Партии приспосабливали свои обещания к желаниям своих избирателей, не считаясь с другими. Они часто нарочно обостряли то, что их разделяло, чтобы лучше вести между собой борьбу. Даже без пропор-

циональной системы они в большом числе входили в парламент. Но само их обилие обрекало их там на «бессилие». В парламенте начинался тогда противоположный процесс — объединение их в более крупные блоки — «большинство» и «оппозиция». Все присоединялись к одному из них, чтобы их голоса не пропали. Им приходилось искать то, что их сближает, создавать какое-то общее мнение. Этот процесс и был государственным делом. Он же происходил там, где выборная система допускала перебаллотировки и где, при втором голосовании, некоторые партии отстранялись в пользу других. Эту систему считали безнравственной; переход от борьбы к соглашению оскорблял моральное чувство. Но верное понимание задач государства было не тогда, когда партии уничтожали друг друга, а когда искали платформы приемлемой для всех.

В этом разгадка любопытного факта. Образование блоков из многочисленных партий происходит при каждом голосовании. В странах политически зрелых оно становится прочным явлением: оно и превращается в систему двух партий. Эта система считалась национальной особенностью англо-саксонских народов. Но причина этого проще. В Англии выборы происходят всегда относительным большинством голосов; мелкие партии должны сразу примыкать к более крупным, чтобы своих голосов не терять. В Северо-Американских Соединенных Штатах так выбирают Президента Республики; это тоже предопределяет систему двух партий. Она — явление производное, на котором население в конце концов воспиталось; она становится и последствием и мерилom зрелости населения.

Но если партиям естественно объединяться в крупные блоки, то по каким признакам эти объединения происходят и друг другу противопоставляются? Для этого имеются разнообразные основания. Даже там, где все идет к одной цели, приемы ее достижения бывают различны; одни стремятся к ней быстрее идти, хотя бы ценой временных жертв; другие предпочитают их избегать, идя более медленным темпом. Эта разница политических темпераментов и методов — революционеров и реформистов. Она одна уже ведет к образованию двух направлений. Кроме того, иные эпохи особенно остро ставят на очередь некоторые принципиальные разногласия, за которыми мелкие различия меркнут. Эти принципиальные вопросы зависят от условий момента и хода истории; это может быть столкновение

«личности» и «государства», «дирижизма» и конкуренции, «свободы» и «социального равенства», разных направлений внешней политики, и т. д. Идеи, на которых в данный момент соединяются различные люди, состав и границы партий могут меняться. И так как успех партии зависит не столько от числа ее членов, сколько от доверия, которое она и беспартийным внушает, то выборы являются испытанием «партий» и их авторитета среди всего населения.

Как бы ни происходили выборы «главы государства», они делаются по большинству голосов. В этом нет противоречия тому, что про «большинство» говорилось. Большинство не должно быть мерилом при борьбе интересов; нельзя каким-либо законным интересом жертвовать только потому, что он — в меньшинстве. Там, где интересы одинаковы, и разногласия только в путях лучшего их охранения, предпочтение большинства будет безвредно; оно имеет даже то преимущество, что к «единогласию» ближе. К этой категории относятся и выборы современного «главы государства».

Если бы он стоял выше законов, был бы повелителем, который по определению Ленина о диктаторе, есть «ничем неограниченная, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненная, непосредственно на насилие опирающаяся власть», если бы он мог по своему усмотрению «ликвидировать классы», «ставить к стенке» тех, кто с ним не согласен, то выборы такого главы государства большинством голосов были бы много опаснее, чем выборы депутатов в парламент. Но тот, кто глядит на власть по этой формуле, вообще не подчинится и большинству голосов; он власть и берет и защищает только насилием. Когда население подчинено такому режиму, то это уже не «демократия», а революционная ситуация, у которой другая природа, чем у «государства». Она вдохновляется не учением «права» и «общей пользой», а «стратегическими» заветами Клаузевица, которые так ценил Ленин. Демократии построены иначе. В них глава государства не обладает неограниченной властью. Над ним стоят законы, которые он не может ни нарушать, ни менять; около него орган контроля в лице двух палат, от него независимых, в которых представлено все население. Он сам подлежит периодической санкции выборов. Все население заинтересовано в том, чтобы он мог свою задачу, как следует, исполнять. От доверия к нему населения зависит не только моральная, но и факти-

ческая сила его. Степень же доверия можно измерить числом поданных за него голосов. Принцип большинства потому здесь будет уместен.

Так должна бы отражаться в современном государственном устройстве антиномия «государства» и «личности». Государство представлено властью воплощаемой в главе государства. «Личность» же выражается в «представительстве». Мы видели, какими должны быть их состав и происхождение, чтобы оба они могли своему назначению отвечать. Остается определить, каковы должны быть их отношения.

В. А. Маклаков

(Окончание следует)

НОВАЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

1.

Жестокой иронией звучит в наши дни вступительная фраза «Коммунистического манифеста»: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». И теперь по Европе бродит призрак коммунизма, но какой призрак и какого коммунизма! Призрак коммунизма стал в высшей степени материальным: это прежде всего гигантская вооруженная сила. Конечно, не только это. В коммунистическом движении каждой страны можно также различить обиды, страсти, порывы и чаяния, подобные тем, которые и сто лет тому назад воодушевляли революционное рабочее движение. Нигде коммунизм не является чисто наносным явлением, только извне принесенной заразой, как не был он только этим и в России. Еще несколько лет тому назад главной притягательной силой коммунизма можно было считать находивший себе фанатических приверженцев миф о Советской России, как о стране осуществленного социализма, а непосредственно после войны — веру в Советскую Россию, освободительницу народов. Но если ни то, что было первичным стимулом, ни то, что еще недавно давало коммунизму его престиж, не исчезло и не лишилось своего значения, то относительный вес всего этого чрезвычайно понизился по сравнению с военной мощью огромного тоталитарного государства, преследующего во имя мировой революции безграничные завоевательные цели. Сейчас призрак коммунизма — это призрак тоталитарной диктатуры и ее армии. И — что наиболее страшно — это меньше всего призрак...

Было время, когда можно было опасаться, что нервы западно-европейских народов не выдержат давления этой непосредственно-близкой угрозы, и что один за другим они отдадут себя под власть коммунистических партий. Но это время прошло. Влияние коммунизма всюду идет на убыль: воля к сопротивлению не была сломлена, а наоборот, стала возрастать, поддерживаемая теперь вступившим в действие

планом Маршалла. Выходит, как будто советская политика упустила наиболее благоприятный момент, когда «взять» Европу было легче всего. Возможно, что со стороны Кремля имелась ошибка в расчете, что у него были преувеличенные надежды на быстрый внутренний развал во Франции и в Италии, на медленность поворота в американской политике, на нарастание направленного против западных держав национализма в оккупированной ими части Германии. Но вряд ли это могло быть главной причиной «упущения». Вероятнее всего, что такового вовсе и не было, а что решающую роль сыграло сознание, что состояние страны и армии не позволяет пойти на такую грандиозную операцию, как покорение всего европейского континента, что операция эта требует еще большей подготовки, учитывающей опыт и войны и практики уже совершенных завоеваний. А опыт этот обнаружил не только сильные, но и слабые стороны советской диктатуры. И после войны началась напряженная, порою даже судорожно напряженная, работа с целью эти слабые стороны преодолеть. В этой подготовке задача обработки людей является одной из основных, потому что именно в этой области и за время войны и в практике завоеваний обнаружились угрожающие провалы.

Когда говорят о том, что после войны Россия должна была «залечивать раны», то обычно имеют в виду огромные материальные разрушения и человеческие потери. Но были и другого рода «раны», которые диктатура должна была считать особенно опасными. В одной, написанной в конце 1946 года, статье знаменитый актер и руководитель еврейского театра в Москве, ныне покойный С. Михоэлс сделал такое замечание: «Ведь великий пятилетний план включает задачу исцеления травмированных войной душ». Эту фразу, в контексте статьи звучавшую сравнительно невинно, следует дополнить. Война с самого начала обнаружила не только то, что в стране имеется огромное количество измученных диктатурой душ, но и то, что наличность таких душ грозила сталинскому режиму катастрофой, предотвратить которую больше всего помогли нелепая политика и зверское поведение немцев в занятых ими частях России. Но кроме принявшего беспримерные размеры пораженчества русским людям, и попавшим в плен или вывезенным из России и до конца сражавшимся в армии, были нанесены и другие «раны» в результате их соприкосновения с Европой к западу от советских границ. Эти два комплекса явлений придают замечанию Михоэлса — думал он об этом

или нет — особенно глубокий смысл и побуждают нас видеть в развернувшемся в Советском Союзе идеологическом наступлении действительно своего рода пятилетку «исцеления травмированных душ». «Исцеления», конечно, — с точки зрения диктатуры.

Если советская власть не хочет отказаться от идеи мирового коммунизма, как основной для ее политики, она должна считаться с неизбежностью новой войны, которая для нее должна быть успешна, как война завоевательная. К такой войне она и старается подготовить страну идеологически и психологически. Эта задача в значительной мере совпадает с той, которая постоянно стоит перед внутренней политикой диктатуры, нуждающейся не только в том, чтобы ей подчинялись, но и в том, чтобы перед ней поклонялись, чтобы ей были благодарны и даже — чтоб ее любили. Эта потребность диктатуры часто не замечается или по крайней мере не дооценивается. Прежде всего потому, что ей казалось бы резко противоречит самая практика диктатуры, как будто основанная на принципе римского императора — тирана: пусть ненавидят, лишь бы боялись. Да и зачем, могут спросить, современной диктатуре добиваться привязанности, если она располагает таким могущественным и технически-совершенным аппаратом подавления, что никакое сопротивление ей немислимо? Нельзя, однако, не задуматься над тем, почему же эта всесильная диктатура так болезненно чувствительна к малейшим признакам инакомыслия, ко всему, что хоть сколько-нибудь похоже на оппозицию? И почему эта власть так назойливо твердит о своих заботах о народе и старается каждое свое мероприятие объяснить, как продиктованное именно заботой о благе народном. Мы отчасти предвосхитим ответ, если отметим, что потребность быть любимыми усилилась у советских диктаторов после опыта войны, после проявившегося в огромных размерах пораженчества и после того, как много советских людей, даже и из числа тех, кто еще накануне героически сражался за свою страну, оказались неверными ей — т. е. в действительности, не стране, а власти — очутившись за рубежом.

В своей статье «Революция без термидора»*) я указывал на то, как в известной фазе развития выросшей из революции диктатуры проблема самосохранения власти сводится, главным образом к «борьбе против 'трещин', возникающих в среде самых носителей новой техники власти, против всякой

*) «Новый Журнал», кн. 7-ая (1944).

оппозиции, возникающей или могущей возникнуть внутри нового правящего класса и всего огромного аппарата государственного управления». Пока в самом аппарате власти сколько-нибудь серьезных «трещин» нет, диктатуре, так вооруженной, как сталинская, не страшна никакая оппозиция извне. Все рассказы новых эмигрантов подтверждают сложившееся у нас представление, что в Советской России попытки возмущения против «нетронутого» аппарата власти никаких шансов на успех иметь не могут — более того, что такие попытки просто невозможны при всеохватывающей системе наблюдения и зажима. Но аппарат власти это — люди. Старое образное выражение «власть, опирающаяся на штыки» означает власть, опирающуюся на людей, держащих штыки. Это, казалось бы, элементарно ясно и тем не менее очень часто упускается из виду. Огромный аппарат принуждения, которым располагает советская диктатура, предполагает большое количество людей, по тем или иным побуждениям этой диктатуре преданных. Этот контингент людей должен постоянно пополняться новыми силами, а значит что постоянно должны воспитываться люди, преданные диктатуре. Диктатура вводит новые, свои принципы отбора людей для различных функций управления и надзора, но и ей нужен материал, из которого эти люди могут отбираться. Конечно, и внутри самого аппарата власти безусловная дисциплина поддерживается в значительной мере посредством террора. Но все же где-то должны быть и откуда-то должны появляться субъекты этой системы власти и террора, ее убежденные сторонники, работающие не за страх, а за совесть (хотя бы их преданность режиму и вытекала только из соображений личной выгоды). И чем обширнее аппарат власти — а в советской России он колоссален — тем больше требуется таких людей и тем шире должна быть среда, из которой они отбираются. Чтобы не допускать возникновения опасных для нее «трещин», диктатура должна постоянно завоевывать себе сторонников.

Эта постоянная и для мирного времени задача приобрела во время войны особую остроту. Война обнаружила не только массовую враждебность к режиму, но и «трещины» на высоких ступенях советской иерархии. В самом начале войны был расстрелян, как изменник, ген. Павлов, занимавший один из самых важных командных постов. И ген. Власов был не просто рядовым генералом, а выдающимся представителем высших слоев военной иерархии. В то же время система отбора не могла целиком сохраниться в прежнем виде. Приходилось вы-

двигать людей не по степени их надежности, а по их компетентности, по качествам, необходимым для успешного ведения войны. И не случайно, например, что после «встречи с Европой» в массе оставшихся за рубежом сравнительно очень значительный процент составили представители технической интеллигенции. А ведь это была война, ведшаяся совершенно очевидно для защиты своей страны, тогда как в будущем предстоит война завоевательная. И та Европа, с которой встретилась масса советских людей, еще не была Западной Европой...



Хотя в ведущемся сейчас «наступлении на идеологическом фронте» многое совсем не ново, всё же и старые элементы настолько усилены и внесено столько новых, что в совокупности мы имеем перед собой новую идеологическую политику, отличающуюся своеобразной грандиозностью замысла. Эта политика так явственно заострена против Запада, что само собой напрашивается объяснение ее, как желание вытравить вредное влияние впечатлений, принесенных на родину миллионами побывавших в Европе советских людей. Однако, это далеко не является достаточным объяснением всех сторон новой политики, которая носит не только отрицательный, но и положительный характер: она стремится не только что-то вытравить и разрушить, но и внушить определенную систему идей и эмоций, стараясь подменить в сознании советских людей мир непосредственно воспринимаемой реальности неким воображаемым миром.

Если не упускать из виду, что эта политика проводится в целях психологической подготовки к новой войне, то разобраться в ее основных темах не составляет особого труда. Конечно, ее руководители хотят вытравить влияние зарубежных впечатлений. Но установка против Запада — чем дальше, тем больше — целит не в ту сферу, где советские люди уже побывали, а в тот Запад, с которым они еще только должны столкнуться в будущем. Советскому человеку навязчиво подносятся картины разложения западной культуры во Франции, Англии и — в особенности — в Америке. Стремясь внушить ненависть, презрение и отвращение к будущим противникам, пропаганда старается заранее создать почву для боевого ожесточения и в то же время наперед сделать будущих завоевателей невосприимчивыми к той «заразе», которая их ожидает и будет усиливаться по мере их продвижения на запад. Высту-

пая на дискуссии о книге Александрова («История западноевропейской философии»), пророк новой идеологической политики Жданов говорил:

«Центр борьбы против марксизма переместится ныне в Америку и Англию. Все силы мракобесия и реакции поставлены ныне на службу борьбы против марксизма. Вновь вытащены на свет и приняты на вооружение буржуазной философии, служанки атомно-долларовой демократии, истрепанные доспехи мракобесия и поповщины: Ватикан и расистская теория; оголтелый национализм и обветшавшая идеалистическая философия; продажная желтая пресса и растленное буржуазное искусство. Но сил, видимо, не хватает. Под знамя «идеологической» борьбы против марксизма рекрутируются ныне и более глубокие резервы. Привлечены гангстеры, сутенеры, шпионы, уголовные преступники... Известно уже из опыта нашей победы над фашизмом, в какой тупик привела целые народы идеалистическая философия. Теперь она предстает в своем новом отвратительно-грязном естестве, отражающем всю глубину, низость и мерзость падения буржуазии. Сутенеры и уголовные преступники в философии — это действительно край гибели и разложения. Однако, эти силы еще живучи, еще способны отравлять сознание масс».

Таким образом оказывается, что новый враг еще хуже фашизма и национал-социализма: «край гибели и разложения» достигнут только теперь — во Франции, Англии и Америке.

И тем не менее будущие завоеватели должны идти в войну, чувствуя себя не нападающей стороной, а защитниками подвергшейся нападению родины. Каждодневная пропаганда против американского и английского «империализма», против «поджигателей войны», теперь уже настолько общеизвестна, что о ней достаточно только упомянуть. Советские люди должны верить, что их правительство больше всего хочет мира, но они должны быть готовы и к войне, которая может возникнуть исключительно по вине другой стороны. Пропаганда постоянно напирает на патриотизм, при этом все сильнее внося в него чувства гордости, собственного превосходства и арrogантности по отношению к другим — те качества, которые полагается иметь завоевателям.

Но когда дело касается патриотизма, то возникает вопрос — какой патриотизм: русский или советский? Еще 10-го июля 1946 года такие компетентные авторы, как А. Еголин и А. Лебедев, напечатали в газете «Культура и жизнь» статью «О репертуаре драматических театров», которая начиналась следующим образом: «Советский театр является могучим

средством воспитания трудящихся в духе социализма. Большую общественную роль сыграл наш театр в годы Великой Отечественной войны. Пьесы Симонова «Русские люди», Леонова — «Нашествие», Корнейчука — «Фронт» поднимали советских людей на борьбу против немецко-фашистских захватчиков». А уже в августе того же года Центральный Комитет коммунистической партии вынес свои постановления о литературе и театре, и по поводу них сам Симонов говорил, обращаясь к писателям, что они — включая и его, Симонова, — не должны радоваться, если они в этих постановлениях не упомянуты. На самом деле — «мы упомянуты». И в частности «упомянут Симонов, который в пьесе «Русские люди» не сумел подняться выше понятия русского патриотизма и не показал, что такое патриотизм советский». В этих словах Симонов сделал для себя правильный вывод из постановлений Центрального Комитета и из «исторической» речи Жданова (о журналах «Звезда» и «Ленинград»), в которой тот патетически ставил вопрос: «К лицу ли нам, представителям передовой советской культуры, советским патриотам, роль преклонения перед буржуазной культурой или роль учеников?»

Русский патриотизм недостаточен, а в некоторых отношениях даже неудобен. Во-первых, это патриотизм самого многочисленного и «ведущего», но все же лишь одного из народов Советского Союза. А во-вторых, опыт показал, что в случае войны русский патриотизм, как и патриотизм каждой отдельной народности, может порождать соблазн бороться за свою родину против советского режима. Тут, как вообще в положительной программе, задача много сложнее, чем в обличительной кампании против Запада, где можно признавать великое прошлое, заявляя, что современность этому прошлому изменила и что ценить его теперь умеют только в советской России. Тут же надо использовать эмоциональную силу русского патриотизма и чувства русской национальной гордости, в то же время подчинив их патриотизму советскому, включающему положительное отношение к советской диктатуре и как к достойной наследнице великого прошлого, и как к зачинательнице новой и величайшей эпохи в мировой истории. А после окончания войны постоянное обращение к прошлому не только не стало излишним, но является — в виду предстоящей войны — более необходимым, чем когда-либо. Но характер его в некоторых отношениях существенно изменился, произошли некоторые знаменательные перемещения ударений.

Для воспитания национальной гордости — или просто

шовинизма — нужно сочетать восхваление своего прошлого с подчеркиванием своего превосходства над другими народами. Иногда это делается в очень курьезной форме. Так в постановлении ЦК о кинофильме «Большая жизнь» говорится: «Режиссер С. Эйзенштейн во второй серии фильма «Иван Грозный» обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов, на подобие американского Ку-Клукс-Клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, — слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета» (подчеркнуто мной). В этом перле официальной критики для нашей темы всего интереснее сравнения. Дегенератам полагается быть в Америке, но не у нас. Слабохарактерный и безвольный человек — нерусское явление, но может существовать в Англии. Такое толкование может показаться слишком вольным. Но зачем же тогда эти неожиданные вставки о Ку-Клукс-Клане и Гамлете?

Теперь вообще оказывается, что превосходство России существовало уже в прошлом — и в то же время это была страна отсталая, чего нельзя отрицать хотя бы уже потому, что об этом без конца твердили и что была поставлена задача «догнать и перегнать» передовые страны. Это противоречие относится в особенности к области науки и техники. Представление о научном и техническом превосходстве Запада, и в особенности о колоссальном превосходстве американской техники, вкоренилось слишком глубоко и вместе с тем оно является очень опасным, так как внушает страх перед будущим военным противником. Одним из успокоительных ответов служит указание на то, что советская военная техника оказалась выше немецкой. Но этого недостаточно, когда надо преодолеть страх перед Америкой, как ни как дошедшей в своих изобретениях до атомной бомбы. И вот перед нами разворачивается совершенно новая история научных открытий и изобретений в России. Теперь уже недостаточно упоминать, что в России были ученые и изобретатели не хуже других. Надо демонстрировать их превосходство. В «Вестнике высшей школы» (март 1948 года) печатается, например, статья «Высшая школа и борьба за приоритет советской науки», в которой Зам. Министра высшего образования СССР А. М. Самарин требует от высшей школы «в первую очередь полного отражения в преподавании первенствующей роли русских и советских ученых в создании и развитии многих отраслей науки и техники». И если Россия тем не менее была отсталой страной,

то этому дается объяснение, которое одновременно должно дать пищу и торжествующему советскому патриотизму. «Многие открытия, изобретения, идеи русских ученых — пишет тот же Самарин — не могли быть реализованы в условиях царской России. Правящие классы дореволюционной России не верили в творческие силы русского народа и его лучших представителей, тормозили техническое развитие страны, отвергали возможность быстрого и широкого использования результатов многих крупнейших открытий. Многое вообще не могло быть использовано в условиях капиталистического хозяйства дореволюционной России, как не отвечающее его интересам. Только в условиях социалистического государства стала возможной реализация великих идей крупнейших ученых нашей страны».

Значит, нечего бояться превосходства иностранной, в частности американской, техники. Первенствующая, а не просто равноправная, роль русской науки осуществляется в практике советской диктатуры. Можно положиться на то, что советские ученые уже догнали и перегнали всех других, включая американских, и что советское правительство сумеет быстро и широко использовать их открытия и изобретения в интересах страны. И если указывается (Б. Г. Кузнецов, «В авангарде мировой науки», «Октябрь», май 1948 года), что именно русские ученые выяснили «коренные проблемы строения атомного ядра» и сделали открытия решающего значения для использования атомной энергии, то ведь естественно предположить, что мудрая советская власть сумеет кое-что противопоставить и американской атомной бомбе. И вообще советский человек должна проникнуться самым глубоким советский человек должен проникнуться самым глубоким Жданов, советская диктатура дала стране и «строй более высокий, чем любой буржуазно-демократический строй» и «культуру во много раз более высокую, чем буржуазная культура». В одной области за другой утверждается недостижимое превосходство советской культуры и великолепное здание увенчивается тем, что даже советская техника забивает технику капиталистическую!

3.

В своем докладе о литературе Жданов говорил о «великолепных качествах» людей в Советском Союзе и ставил литературе задачу «показать эти новые высокие качества советских людей». Это вводит нас в самый центр работы по исцелению раненых душ — раненых и до, и во время, и после войны. На

тому о том, как хорош советский человек, пишется чрезвычайно много, непрерывно и в общем с утомительным однообразием. Советскому человеку упорно вколачивают в голову: пойми, как ты хорош, и что ты хорош, потому что ты — советский. А также, указывая на устрашающий пример других стран: пойми, как ты счастлив, и что ты счастлив благодаря тому, что живешь в советском государстве, а не в какой-нибудь Америке — стране черных и белых рабов, где «празднующие классы» блаженствуют (и готовят империалистическую войну против Советского Союза), а массы трудового народа зарабатывают все меньше и меньше, не доедают, живут в невыносимых жилищных условиях, не в состоянии прилично воспитывать своих детей и подвергаются постоянным унижениям.

Во всех трех документах, формулировавших основы новой идеологической политики, отправной пункт один и тот же: это атака против «клеветнического» изображения советских людей. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» (от 14-го августа 1946 года) начинается атакой против Зощенки, который «изображает советские порядки и советских людей в уродливо-карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами». Постановление о репертуаре драматических театров (от 26-го августа 1946 года) нападает на пьесы, где «как правило, советские люди изображаются в уродливо-карикатурной форме, примитивными и малокультурными, с обывательскими вкусами и нравами, отрицательные же персонажи наделяются более яркими чертами характера, показываются сильными, волевыми и искусными». Постановление о кинофильме «Большая жизнь» (от 4-го сентября 1946 года) осуждает этот фильм за то, что в нем дано «фальшивое, искаженное изображение советских людей». «Рабочие и инженеры, восстанавливающие Донбас, показаны отсталыми и малокультурными людьми, с очень низкими моральными качествами. Большую часть своего времени герои фильма бездельничают, занимаются пустопорожней болтовней и пьянством. Самые лучшие по замыслу фильма люди являются непробудными пьяницами». Фильм «проповедует отсталость, бескультурье и невежество» и «свидетельствует о том, что некоторые работники искусств, живя среди советских людей, не замечают их высоких моральных качеств, не умеют по-настоящему отобразить их в произведениях искусства».

Писатель А. Фадеев, которому было поручено официально

наставлять советских писателей в духе «исторических» решений партии о литературе и искусстве, твердил: «Нам нужно, чтобы наш советский человек, особенный человек среди всего человечества, получил свое полнокровное выражение на страницах советской литературы. Если мы сможем показать советского человека во весь его рост, в его развитии — мы покажем самое главное». «Наше общество строится на началах справедливости, мы в реальной действительности видим необыкновенного, прекрасного советского человека с его необычайными духовными качествами. Если мы сумеем правдиво и художественно показать советского человека, мы разрешим девять десятых задачи, стоящей перед нами». И так идет всё дальше и дальше. Не «на все лады», а всегда на один и тот же лад повторяется, что советский человек исключительно прекрасен и станет еще прекраснее, что он обладает великолепными качествами, что всё в нем необычайно, что он всегда оптимист и потому всё в литературе и искусстве должно быть оптимистично, и что вообще в Советском Союзе нет места ни для общественного, ни для личного пессимизма: массовое внушение, старающееся заставить людей поверить, что они не то, что сами о себе думают, и живут не так, как они это непосредственно ощущают!

Последним по времени из больших идеологических наступлений является наступление на «фронте» советской музыки. Оно носит несколько особый характер, но в то же время особенно отчетливо вскрывает некоторые задачи, которые ставит себе новая идеологическая политика. В музыке, конечно, гораздо меньше места, чем в литературе, для изображения конкретных лиц и вещей. За исключением некоторых возможностей звукоподражания, и в программных произведениях такое изображение является лишь «намекающим», вызывающим ассоциации. Но музыка имеет много возможностей интенсивного эмоционального воздействия, которое, однако, опять-таки не может иметь конкретного характера пропаганды. И по отношению к музыке упор естественно должен быть направлен на другие моменты. В постановлении об опере «Великая дружба» (от 10-го февраля 1948 года), основном для наступления на музыкальном фронте, уже не говорится о таких вещах, как клевета на советских людей или что-либо подобное. Осужденным композиторам (Шостаковичу, Прокофьеву, Хачатуряну, Мясковскому и др.) вменяются в вину — «формалистические извращения, антидемократические тенденции в музыке, чуждые советскому народу и его художе-

ственным вкусам». Значение этих обвинений было расшифровано сначала, как полагается, «в выступлении тов. Жданова», а затем во множестве статей новых официальных комментаторов. Труднее всего обстоит дело с формализмом: тут и сами обличители еще не столкнулись на общем определении, и к признакам формализма относятся самые разнобразные вещи, в том числе и такие, которые можно осуждать с какой угодно точки зрения, но только не за формализм. Одним из самых ярких представителей формализма в западной музыке называют, например, французского композитора Мессиана, музыка которого проникнута чрезвычайно интенсивной религиозностью, и почитатели которого яростно нападают на Стравинского именно за формализм! О формализме советские авторы и ораторы говорят очень много, но все эти разговоры имеют мало общего с серьезной дискуссией о сущности этого направления в искусстве и в частности в музыке. Действительный же смысл обвинений в формализме выясняется в связи с другими обвинениями против композиторов, которых называют — вернее, ругают — формалистами.

Здесь лучше всего обратиться сначала к положительным требованиям, предъявляемым к музыке, как они сформулированы в источнике всей премудрости — «в выступлении тов. Жданова». И из этих требований достаточно выделить два, вводящих нас в понимание существенных задач «новой линии». Это во-первых, требование общедоступности и, во-вторых, требование «красоты и изящества». Правда, к музыке предъявляется также требование «высокой идейности», но идейность в данном случае понимается совсем не так, как в применении к другим искусствам. Это — идейность, «основанная на признании истоков классической музыки в музыкальном творчестве народов, глубокое уважение и любовь к народу, его музыке и песне». Иными словами, требование высокой идейности у Жданова очень близко к требованию общедоступности, которое в его речи и было центральным.

Согласно Жданову, доступность музыки является обязательным признаком ее гениальности, и степенью доступности можно даже измерять степень гениальности: «не все доступное гениально, но все подлинно гениальное доступно, и оно тем гениальнее, чем оно доступнее для широких масс народа». Этому утверждению, конечно, противоречит вся история музыки с ее длинным рядом произведений, сначала оказавшихся совершенно «недоступными», а затем признанных великими и постепенно дошедших и до «широких масс народа». Но

здесь не место спорить с Ждановым по существу. Важно то, что он не только считает нужной общедоступную музыку, против чего вряд ли кто-либо стал бы возражать, но и не признает за другой музыкой права на существование наряду с общедоступной. Именно по этой линии он ведет особенно резкую атаку против «формализма» и, видимо, относит к формалистической всякую музыку, которая не является сразу доступной для понимания широких масс. Формалистическая музыка отказывается «от служения народу в угоду обслуживания (sic) сугубо индивидуалистических переживаний небольшой группы избранных эстетов»; она рассчитана «не на миллионы советских людей, а на единицы и десятки избранных на 'элиты'!» Эти элиты в кавычках и сопровождаемые восклицательным знаком и выдают, в чем дело. Диктатура не допускает самопроизвольного выделения никаких «элит», никаких группировок с особыми духовными интересами, в которых могла бы развиваться склонность к самостоятельному, а стало быть и критическому мышлению. Дело начинается с музыкальных исканий, а куда оно пойдет дальше? Что-то в этом направлении, видимо, и подозревалось. По крайней мере один из участников дискуссии дал Шостаковичу дружеский совет — «резко изменить свое окружение, стать поближе к партии».

О «красоте и изяществе» Жданов говорил в своей речи несколько раз и очевидно он сам чувствовал, каким неожиданным явилось это требование для его слушателей, ожидавших совсем других предписаний. «Вы, может быть, удивляетесь, что в Центральном Комитете большевиков требуют от музыки красоты и изящества. Что за новая напасть такая?! Да, мы не оговорились, мы заявляем, что мы стоим за красивую, изящную музыку, за музыку, способную удовлетворить эстетические потребности и художественные вкусы советских людей». И обрушиваясь на формалистов за то, что они пишут музыку, насыщенную диссонансами, уродливую, вульгарную и т. д., он заявляет, что вследствие этого «музыка перестает отвечать своему назначению — доставлять наслаждение». Действительно: что за новая напасть такая! Ведь это чуть ли не «искусство для искусства». Но дальше Жданов нападает на формалистическую музыку и за то, что это «музыка, нарочито игнорирующая нормальные эмоции, т р а в м и р у ю щ а я (подчеркнуто мной) психику и нервную систему человека». Дело, оказывается, не в формализме, пренебрегающем эмоциональным и идейным содержанием, а в том, что данная музыка вызывает эмоции, признающиеся ненормальными, что она ранит,

«травмирует» психику и нервную систему, а не служит — вспомним Михоэлса — «исцелению травмированных душ». И во время дискуссии были сделаны характерные замечания о западном влиянии на музыку советских композиторов, из которых тоже видно, что дело совсем не в формализме. «Разве — говорил один из ораторов, М. А. Глух — 8-ая симфония Шостаковича не есть симфоническое выражение этой невропатичности, свойственной так называемому «веку атома», при полном отсутствии позитивной программы? В ряде музыкальных произведений мы слышим вопль души, крик, выражающий противоречия эпохи, этого последнего этапа капитализма; но в них абсолютно отсутствует оптимистическое, созидающее начало музыки, отсутствует чувство будущего».

Обширный материал, на разборе которого я здесь останавливаться не могу, убеждает в том, что советской музыке предназначается не столько оказывать какое-либо прямое пропагандное воздействие, сколько «доставлять наслаждение», доступное самым широким кругам — давать приятный отдых, развлечение, освежающие, бодрящие впечатления. По существу — хотя это, конечно, не признается — это есть отказ от стремления создать особую советскую музыку и приказ писать музыку просто популярную. В одной статье было указано, что за советский период было написано 600 (!) опер, но из них ни одна не удержалась в репертуаре. С такими фактами нельзя не считаться. Опера «Великая дружба» была только поводом, чтобы пересмотреть вопрос о музыкальной политике и найти для музыки наиболее невинное место в системе исцеления раненых душ.

Россией правят ученики Великого Инквизитора. Не знаю, многие ли из них читали «Братьев Карамазовых», и вряд ли кто из них сознательно думал о том, чтобы применять в своей политике идеи, которые у Достоевского Иван Карамазов вкладывает в уста Великого Инквизитора. Но в тех психологических и идеологических средствах, с помощью которых они пытаются установить неограниченную власть над людьми, они подошли очень близко к этим идеям. Некоторые места из «Великого Инквизитора» теперь просто жутко перечитывать: в такой мере кажутся они написанными сейчас, о теперешней России. Советская Россия — самая свободная страна на свете, в ней самая совершенная в мире демократия. Это упорно вдалбливается в головы советских людей. А у Достоевского Великий Инквизитор говорит Христу: «У нас все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга,

как в свободе Твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся». И еще: «Кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их?... Получая от нас хлебы, конечно, они будут ясно видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших!... Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны».

Удастся ли грандиозный замысел? Удастся ли диктатуре Великого Инквизитора убедить советских людей в том, что они только тогда и будут свободными, когда откажутся раз навсегда и от свободы и от мечты о ней? Уверуют ли советские люди, воспитываемые советской диктатурой, в то, что они будут счастливы только, если навсегда подчинятся этой диктатуре и ей «покорятся с весельем и радостью»? Сбудется ли то, что предсказывал Великий Инквизитор и чего старается добиться советская власть: «Самые мучительные тайны их совести — всё, всё понесут они нам, и мы всё разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного?»

То, что я называю «новой идеологической политикой», в первую очередь подчинено задаче подготовки новой войны. Делается попытка залечить душевные раны в срочном порядке, чтобы раны эти не помешали советским людям стать покорными орудиями предстоящего завоевательного похода. Но в то же время это — звено в выполнении грандиозного замысла, над которым веет дух Великого Инквизитора: внушить целому огромному народу, что он живет совсем в другом мире, чем это ему представляется; создать и внушить воображаемую историю, воображаемую картину жизни за пределами Советского Союза и воображаемую картину самой советской действительности. До сих пор это не удавалось. И то, что мы узнаём о новых эмигрантах, говорит скорее за то, что в большинстве своем русские люди сохраняют внутреннее сопротивление навязываемой им лжи и неизбывную тоску по свободе. Получая ими же добытые хлебы, они не радуются — более, чем самим хлебам, — тому, что получают их из рук жестокой диктатуры.

Ю. П. Денике

БЕЛИНСКИЙ И НАША СОВРЕМЕННОСТЬ

(К 100-летию со дня его кончины)

Белинский, как и Пушкин, умер в возрасте 37 лет. За 13 лет, отделяющих появление его первой статьи «Литературные мечтания», с ее и сегодня волнующей страстной устремленностью, до «Письма к Гоголю», огнем пробежавшего по нервам всей читающей России, великий критик проделал совершенно легендарную по своему охвату работу, заложив основы литературно-общественной критики и открыв глаза обществу на ту молодую Россию, которая, глухо волнуясь, искала выхода на арену исторической жизни. Белинский, как человек и писатель, был символом этой новой России.

А. Н. Пыпин, автор лучшей биографии Белинского, писал в 1876 году, во введении к своей книге «Белинский, его время и переписка», что в обществе, начинающем понимать себя, «есть свой исторический инстинкт», который указывает ему в прошедших деятелях их истинную заслугу и, если какие-нибудь неблагоприятные условия мешают ему своевременно произвести их оценку, оно пользуется первым удобным случаем, чтобы воздать должное ушедшему деятелю. Так было с Белинским. Когда он умер, условия в России были столь неблагоприятны, что о нем едва можно было сказать несколько сухих слов некролога. Но как только повеяло в жизни свежим воздухом и литература освободилась от лежавших на ней пут, «воспоминание о Белинском было одним из первых и самых задушевных ее слов».

Задушевность, действительно, является самой характерной чертой большинства воспоминаний современников о Белинском, таких, как «Замечательное десятилетие» П. В. Анненкова, воспоминания Тургенева, Гончарова, Панаева, главы из «Былого и Дум» Герцена.

К. Д. Кавелин в своих «Воспоминаниях» писал, что 11 месяцев, прожитых им в Петербурге в близком общении с Белинским и его кружком, были «счастливейшими» в его жизни. Белинский имел на Кавелина и на весь кружок «чарующее

действие». «Это было нечто гораздо больше оценки ума, обаяния, таланта, — нет, это было действие человека, который не только шел впереди нас ясным пониманием стремлений и потребностей того мыслящего меньшинства, к которому мы принадлежали, не только освещал и указывал нам путь, но всем своим существом жил для тех идей и стремлений, которые жили во всех нас, отдавался им страстно, наполнял ими свою жизнь. Прибавьте к этому гражданскую, политическую и всякую безупречность, беспощадность к самому себе при большом самолюбии, и вы поймете, почему этот человек царил в кружке самодержавно».

Некоторые члены кружка — вспоминал Кавелин — понимали, что в своих суждениях Белинский бывал неправ, «но все это исчезало перед подавляющим авторитетом великого таланта, страстной, благороднейшей гражданской мысли и чистой личности, которой нельзя было подкупить ничем, — даже ловкой игрой на струне самолюбия». «Влияние Белинского на мое нравственное и умственное воспитание за этот период жизни — свидетельствовал Кавелин — было неизмеримо и оно никогда не изгладится из моей памяти. Его влияние поставило много честных и честно думающих людей на Руси». Этот отзыв человека, в некоторых отношениях стоявшего в стороне от вопросов, которыми жили его старшие современники с Белинским и Герценом во главе, можно назвать типичным.

Даже Достоевский, после возвращения с каторги радикально пересмотревший свои прежние взгляды и в письме к Н. Страхову в 1871 году очень резко и несправедливо отозвавшийся о Белинском, в своих заметках о нем в «Дневнике писателя» в 1873 году не мог до конца подавить прежнее чувство, оно прорывается сквозь иронию: Белинский казался Достоевскому «беззаветно восторженной» личностью и поэтому он отнес его к «счастливейшим из людей». «Напрасно писали потом, — замечает Достоевский, — что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежней теплой верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам в Германии и Швейцарии». И тут Достоевский припоминает одну очень любопытную черточку. Однажды он встретил Белинского у Знаменской церкви и тот сказал ему, что часто гуляет в этих местах, чтобы посмотреть, как идет постройка вокзала Нико-

лаевской железной дороги, тогда еще только строившейся, и при этом прибавил: «Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу; наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце». От себя Достоевский прибавляет: «Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался».

Особую ценность имеют рассеянные в воспоминаниях современников сведения об отношении к Белинскому его читателей.

«Я помню — вспоминал впоследствии В. В. Стасов, воспитанник Училища правоведения, — с какой жадностью, с какой страстью мы кидались на новую книжку журнала, когда нам ее приносили. Мы брали книжку чуть не с боя, перекупали один у другого право ее читать раньше всех; потом, все первые дни, у нас только и было разговоров, рассуждений, споров, толков, что о Белинском да о Лермонтове. Белинский был решительно нашим настоящим воспитателем. Никакие классы, курсы, писания сочинений, экзамены и все прочее не сделали столько для нашего образования и развития, как один Белинский с его ежемесячными статьями».

Очень интересен рассказ И. Панаева о том, как в 1845 г., едучи из Нижнего в Казань, в почтовой карете он разговорился с одним сибирским купцом. Панаев спросил его, что читают в Сибири? Купец ответил, что там больше всего любят «Отечественные записки». На вопрос, почему именно этот журнал, купец ответил: «Очень понятно, потому что в нем участвует Белинский; его статьи у нас читаются всеми с жадностью». На замечание изумленного Панаева, как читатели могут узнать статьи Белинского, когда они им не подписаны, купец возразил: «Как узнаем? Птица видна, сударь, по полету, говорит пословица. Он хотя и не печатает своего имени, а имя его у нас знают все грамотные люди». Это свидетельство совпадает и с наблюдениями Ивана Аксакова в середине 50-х годов и с тем, что незадолго до смерти пережил сам Белинский, когда вместе с актером Щепкиным совершил поездку на юг России.

Секрет влияния Белинского на современников Гиппин видел в том, что великий критик обладал особой «нравственной энергией» и что он на самом себе «выстрадал» все идеи своей эпохи.

Беглый обзор свидетельств современников позволяет выделить одну доминирующую черту в отношении их к Белинскому: общество, начавшее, по слову Гиппина, «осознавать себя», больше и выше ценило в Белинском самую личность его. На фоне трудной и порой гнусной русской действитель-

ности явление этой личности было нечто неизменно укрепляющее нравственную энергию. Вот почему и отступали на задний план и тускнели противоречия, которых немало было в статьях и в переписке Белинского.

Это обаяние цельности и самобытности личности Белинского особенно ярко сказалось в 50-летнюю годовщину его смерти. В. Короленко в «Русском Богатстве» (1898 г., кн. 5-ая) писал:

«...50 лет много времени. Мы давно уже не читаем большинства из тех книг, которые разбирал Белинский, о многих только и знаем потому, что их Белинский разбирал. Нужно сказать правду: часть его собственных писаний отошла уже в область истории литературы... Но эти же 50 лет показали ясно, что для сочинений Белинского в целом уже не будет смерти в обычном значении этого слова. 'Нет, весь я не умру', — мог бы сказать Белинский вместе с великим поэтом, и пока будет звучать русская речь, до тех пор, наряду с именами Пушкина, Лермонтова и Гоголя, каждое новое поколение будет вновь и вновь слышать имя Виссариона Белинского и перечитывать его пророческие страницы».

Однако, еще большее значение Белинского Короленко видит в том, что критик «завещал нам цельный, живой образ, который останется навсегда, наряду с лучшими созданиями гениальнейших поэтов. Этот образ — о н с а м, с его страстной жадой истины, с его исканиями и искренностью. Искренность была главная черта Белинского, и притом искренность в лучшем, самом глубоком значении этого слова... Всю жизнь он горел этой жадой, вся его жизнь — это неустанное стремление к такой чистой истине... Это был истинный рыцарь духа, без страха и упрека, и русская литература всегда с гордостью будет обращать на него взгляд, как на своего сподвижника и святого». Мировая поэзия знает немало идеальных образов, которые мы любим, но мы не можем забыть, что Дон-Карлос в действительности был только хилый и слабый волей отпрыск вырождающегося дома, маркиз Поза жил только в воображении Шиллера, и т. д. «Между тем, кристально-чистый образ Белинского не разрушит уже никакая, самая придирчивая историческая критика. Он был именно таков, и его жизнь, скривавшаяся в его творениях, письмах, поступках, выдерживает сравнение с самыми идеальными творениями фантазии с несомненным преимуществом полной реальности... Образ Белинского уже не померкнет. Он пережил свой период испытания и остал-

ся нетленным, в ожидании, когда к нему проложится и уже 'не заростет народная тропа'».

Насколько дорогá была всей прогрессивно-настроенной части общества неделимая, так сказать, интегральная личность Белинского, видно из того, с какой страстью она реагировала всякий раз, когда отдельные критики или публицисты пытались взять под сомнение дорогой ей образ. Так было в 10-х годах нынешнего столетия, когда в своей книге «Силуэты» критик Ю. Айхенвальд в очерке «Белинский» попытался разрушить «легенду Белинского» и утверждал, что действительный Белинский был «ненадежен» не только в эстетическом, но и в общественном смысле, что у него не было мировоззрения, а «множество мировоззрений», от которых он отказывался довольно легко и поверхностно. Тогда эта оценка вызвала резкий отпор, в споре приняли участие известные литературоведы — Сакулин, Ляцкий, Иванов-Разумник, Дерман, Бродский и др. Многие в этой полемике уже устарело, но и сегодня жив тот неподдельный жар, которым дышат статьи, защищающие память дорогого человека.

В новой книге «Споры о Белинском» (Москва, 1914 г.) Айхенвальд ответил своим оппонентам, введя новые аргументы и цитаты из Белинского. Действительный Белинский, по Айхенвальду, был сомнительным «либералом», ибо его либерализм уживался с очень наивными чувствами к николаевскому режиму и верой в то, что этот режим способен еще на нечто прогрессивное. Это «благоденствие» проскальзывало у Белинского не только в юношеских «Литературных мечтаниях», в рассуждениях о «попечительности» правительства в деле распространения просвещения (попутно Айхенвальд оспаривает предположение некоторых исследователей, что автором этих рассуждений на самом деле был Надеждин), не только в эпизоде его примирения «с гнусной расейской действительностью», но и в статьях и письмах зрелого периода, вплоть до последних обзоров. В подтверждение этого Айхенвальд цитировал мало известное письмо Белинского к Д. П. Иванову, написанное в 1837 г. из Пятигорска:

«Россия — еще дитя, для которого нужна нянька, в груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в руке которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. Дать России в теперешнем ее состоянии конституцию — значит погубить Россию. В понятии нашего народа свобода есть воля, а воля — озорничество. Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы он, пить вино,

бить стекла и вешать дворян, которые бреют бороду и ходят в сюртуках, а не в зипунах... Вся надежда России на просвещение, а не на перевороты, не на революции и не на конституции...»

Айхенвальд не только сомневался в либерализме Белинского, но был «глубоко убежден, что самой значительной долей своих лавров Белинский обязан своей репутации либерала (и даже радикала); и, если бы не этот катехизис русского либерализма, знаменитое письмо к Гоголю, — Белинский далеко не пользовался бы такой славой». Но даже в самом «Письме» Айхенвальд усмотрел следы бывшего «благонравия» Белинского и уверял, что в одном из первоначальных вариантов этого письма, в фразе «Самые живые, современные и национальные вопросы теперь уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания...» стояло не «отменение телесного наказания», а «ослабление телесного наказания» и что будто бы Пыпин «исправил» Белинского. Цитируя то место в «Письме к Гоголю», в котором Белинский солидаризируется с мнением публики, отвернувшейся от Гоголя за его «Переписку» (напомню это место: «Публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности и потому всегда готова простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной книги...»), Айхенвальд восклицает: «Тяжкие удары нашей культуре нанес и наносит этот хорошо подмеченный и, к несчастью, приветствуемый Белинским факт; ибо нет большего греха против идеальных ценностей, чем такое вопиющее искажение оценок, такое унижение таланта, такая подмена эстетики публицистикой; ибо до сих пор страдает наша мысль от этой духовной фальсификации». Для Айхенвальда эта солидаризация Белинского с суждением публики является подтверждением того, что «Белинский не был либералом в подлинном смысле слова», т. е. «у него не было широты духа и настоящей духовной свободы». Оппоненты Айхенвальда справедливо упрекали его в отсутствии «исторического подхода» в оценке Белинского.

Не нужно быть знатоком Белинского, чтобы в его искреннем радикализме обнаружить «родимые пятна» наивного национализма. В этом вопросе прав был Айхенвальд. При всем своем уме и глубине чувства Белинский до конца жизни не мог преодолеть этот наивный национализм, который в пору начавшейся обостренной борьбы между западниками и славянофилами кое-кем воспринимался как славянофильский «уклон» в Белинском.

Кавелин в своих «Воспоминаниях» рассказывает, что в Москве, в одном разговоре с Грановским, Белинский выражал «славянофильскую мысль, что Россия лучше сумеет, пожалуй, разрешить социальный вопрос и покончить с враждой капитала и собственников с трудом, чем Европа».

И все же, взгляды Белинского, казавшиеся иногда «славянофильскими», в действительности мало имели общего со славянофильством. Они возникли на совсем другой социальной почве. Белинскому был чужд и даже враждебен консерватизм московских славянофилов, в его подспудных чувствах жил неосознанный еще, но уже пробуждающийся национализм плебей, выходящего на сцену истории.

Этот, социально-юный плебейский национализм в Белинском проявлялся еще отчетливее в его взглядах — и опять-таки больше в его чувствах — по отношению к западно-европейской культуре. При всем несомненном и порой пламенном уважении к Западной Европе, жила в Белинском какая-то радостная готовность — при случае — разнести западно-европейские порядки, прославив при этом русскую стихию. Недаром так встревожили друзей Белинского, по отзыву Анненкова, его письма из Европы 1847 года. Стоит напомнить это место в «Воспоминаниях» Анненкова: «Насколько становился Белинский снисходительнее к русскому миру, настолько строже и взыскательнее относился к заграничному. С ним случилось то, что потом не раз повторялось со многими из наших самых рьяных западников, когда они делались туристами: они чувствовали себя как бы обманутыми Европой, смотрели на нее с упреком, как будто она не сдержала тех обещаний, какие давала втихомолку». Там же Анненков рассказывает, что под впечатлением этих писем, Боткин писал Белинскому 19-го июля 1847 года: «Но зачем тебе видеть там одних только конституционных подлецов? Там есть много такого, что посущественнее и поинтереснее их. Политические очки не всегда показывают вещи в настоящем свете, особенно если эти очки сделаны из принятых заочно доктрин». И в связи с этим Анненков вспоминает, что Грановский боялся, как бы Белинский «с его теперешней точки зрения на Германию и Францию не стал писать о них в Россию». «Это было бы большим торжеством для наших невежд-мерзавцев», — добавлял он. Эти опасения друзей Белинского были, пожалуй, излишни: слишком силен был в Белинском общественный инстинкт и его чувство «гражданина вселенной».



Эта экскурсия в произведения Белинского и в литературу о нем необходима для того, чтобы оценить новейшую трактовку Белинского в устах советских официальных публицистов и писателей.

В 1923 году, в 75-ую годовщину смерти Белинского, А. В. Луначарский приветствовал Белинского еще в духе прогрессивно-настроенной предреволюционной интеллигенции. Сравнивая революционное движение с рекой, он писал: «Мы находимся посредине половодья этой реки, но у истоков ее все еще видна колоссальная фигура Белинского, с глазами, вперенными в туман грядущего. Он стоит там, величественный пророк с орлиными очами, первый апостол народного сознания».

Однако, несколькими годами позже, в отношении к Белинскому наметился знаменательный поворот, нашедший свое отражение в книге «Очерки по истории русской критики» (она вышла под редакцией Луначарского и Полянского, ГИЗ, 1929 год). В главе, посвященной Белинскому, перефразируя известные слова Плеханова, сказанные им в 1898 году (доживи Белинский до конца XIX века, «он с обычной своей страстностью, своими вдохновенными словами приветствовал бы начинающееся пробуждение русского пролетариата и, умирая, искренно позавидовал бы тем счастливицам, которые доживут до дня его победы»), Полянский писал: «В наше время Белинский несомненно был бы не последним членом Политбюро ЦК ВКП. Коммунистическая партия осуществила страстную мечту критика о сильном, активном, мыслящем, дисциплинированном меньшинстве, которое совершило дело социального переворота, опираясь на массы».

С тех пор Белинскому, удостоенному посмертного избрания в Политбюро, ничего не оставалось, как снабжать Отдел агитации и пропаганды ЦК компартии подходящими цитатами из полного собрания своих сочинений.

Хотя Белинский и заклеил в письме к Боткину от 10/11 декабря 1840 года свое кратковременное «примирение с гнусной действительностью» и сказал: «отныне для меня либерал и человек — одно и то же, абсолютист и кнутобой — одно и то же», в его статьях и переписке можно найти кое-какие высказывания, которые могут быть полезны диктаторам, особенно если заняться вивисекцией Белинского и разодрать его на цитаты, как это делают советские публицисты. Особенно тяго-

стен был такой подход к Белинскому в день его столетней годовщины.

На столетие со дня смерти Белинского откликнулась вся советская печать статьями и очерками. Они пестрят выдержками из Белинского, и еще больше — выдержками из Ленина, Сталина и Жданова. Тематически выдержки из Белинского могут быть разбиты на две группы: патриотические высказывания Белинского, в которых критик пророчествовал о будущей славе России, и группа цитат, где он критиковал «буржуазный Запад».

Особой благосклонностью пользуется цитата из первоначально неопубликованной рецензии Белинского «Памятная книга на 1840 год»: «Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году — стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке и искусству и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества». Она приводится в статье В. Щербины в «Культуре и Жизни», ею же украшены передовицы «Правды» и «Известий». Само собой разумеется, после этой цитаты следует неизбежный пассаж о том, что Белинский любил родину «сыновней любовью» и его «пророческая вера оправдалась»: «свободный народ под руководством партии большевиков построил свое государство». А «великий вождь и учитель советского народа, творец всех наших побед — И. В. Сталин, в день 24-ой годовщины октябрьской революции говорил о 'великой нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского!'...». И в том же номере «Правды» от 7-го июня Д. Заславский в статье «Пламенный трибун» ссылается на статью Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года», в которой, борясь, с одной стороны, против славянофилов, Белинский одновременно нападает, по Заславскому, «на адвокатов буржуазной культуры, подражателей-космополитов, проповедников низкопоклонства перед иностранщиной». Нужно ли доказывать, что вся эта трескучая тирада, раболепно выдержанная в духе прошлогодних ждановских вещаний о задачах советской литературы послевоенного периода, имеет очень мало общего с цитируемой Заславским статьей Белинского? Подлинный смысл статьи Белинского выражен в ней в одном абзаце:

«Важность теоретических вопросов зависит от их отношения к действительности. То, что для нас, русских, еще важные вопросы, давно уже решено в Европе, давно уже составляет там простые истины жизни... Но это нисколько не должно отнимать у нас смелости и охоты заниматься решением таких

вопросов, потому что пока не решим мы их сами собой и для самих себя, нам не будет никакой пользы в том, что они решены в Европе. Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы те же да не те и требуют другого решения». В связи с этим напомним еще свидетельство Пыпина, который, касаясь борьбы Белинского с славянофилами, подчеркивал, что ему были «ненавистны эти легкомысленные нападки на западную образованность, которой мы сами имели только крохи, на западную общественность, которой не умели даже понимать, и ненавистна была эта похвальба, которая грозила отуплением и последних умственных инстинктов».

В духе новейшего анти-западнического советского бахвальства цитируются во многих статьях слова Белинского об «абстрактных человеках, беспаспортных бродягах в человечестве». Слова эти цитируются, конечно, не без умысла: вырванные из контекста письма Белинского к Кавелину от 22-го ноября 1847 года, они должны подкреплять послевоенный советский шовинизм и презрение к политической эмиграции. Полезно поэтому напомнить, о чем в действительности писал Белинский. Отклоняя от себя упреки в славянофильстве, Белинский говорил, что он, как и Кавелин, любит русского человека и верит «великой будущности России», но — продолжал он — «как и Вы, я ничего не строю на основании этой любви и этой веры, не употребляю их, как неопровержимые доказательства... Терпеть не могу я восторженных патриотов, выезжающих вечно на междометиях или на квасу да каше; ожесточенные скептики для меня в тысячу раз лучше, ибо ненависть иногда бывает только особою формою любви, но, признаюсь, жалки и неприятны мне с п о к о й н ы е скептики, абстрактные бродяги в человечестве». Белинский не доверял таким спокойным скептикам, когда они говорили, что живут интересами какой-нибудь страны, представляющей человечество. Такие вещи по мнению Белинского нельзя решать рассудком, любовь часто ошибается, но зато иногда только любовь открывает в человеке и в народе «то прекрасное и великое, которое недоступно наблюдению и уму».

На выяснении подлинного смысла этих слов пришлось остановиться еще и потому, что кое-кто из официальных критиков употребляет эти слова в качестве дубинки, пуская их в ход против проштрафившихся советских публицистов и при этом приговаривает: «Наш верный, испытанный друг и боевой союзник Белинский помогает нам сегодня бороться с теми, кто уходит из живого мира современности в темный, призрачный

мир пустых абстракций и мертвых космополитических идей» (см. статью З. Паперного «Перечитывая Белинского», «Литературная Газета» от 5-го июня).

Беден был по содержанию и доклад А. Фадеева, генерального секретаря Союза писателей, прочитанный им на посвященном столетию со дня смерти Белинского торжественном заседании в Большом театре в Москве. Он свелся к защите Белинского, будто бы искаженного «реакционными и буржуазными публицистами», которые оклеветали Белинского, изобразив его «покорным школяром (из бедных)». Погрешил в этом даже Плеханов: «по Плеханову выходит, что Белинский раболепно переходил от одного немецкого философа к другому и при этом почему-то миновал всех русских философов, историков и писателей».

В современных официальных славословиях Белинского, как «нашего предшественника», трудно узнать живого Белинского, который дорог и многим его новым читателям в Советской России. Тем не менее, популярность его в среде широких слоев современной молодежи сейчас больше, чем лет 40-50 назад. Немало косвенных свидетельств об этом разбросано в литературе и публицистике последнего двадцатипятилетия. Современных ему читателей Белинский увлекал своей страстной правдивостью, широтой кругозора, своей напряженной любовью к свободе, своей непримиримостью ко всякой официальщине. Именно этими чертами дорог он и его новым читателям через сто лет после его смерти.

В. Александрова

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

(К десятилетию со дня смерти поэта*)

«Неожиданный и драгоценный подарок, совершенно окрепший поэт, продолжатель традиций пушкинского периода», — так писал о первом сборнике Ключева «Сосен перезвон» Николай Гумилев.

Николай Ключев — явление сложное, своеобычное, глубоко национальное и противоречивое. Свою поэтическую карьеру Ключев начал очень рано — 15-ти лет будучи избранным «Давидом хлыстовского корабля», т. е. песнетворцем хлыстовской общины. Лет 18-20 был он послан из своего Вытегорского уезда, из дремучей лесной деревеньки, в Баку — заведывать конспиративной квартирой хлыстов и поддерживать таинственную, фантастическую, кажущуюся совершенно невероятной, но реально существовавшую связь русских хлыстов с персидскими суффиями и темными мистическими сектами Индии. От хлыстовства — к православию; от православия — опять в темные глубины русских мистических сект, и опять паломничество по монастырям и скитам лесным — таково поэтическое и житейское скитальчество Ключева. Бывал Ключев и при дворе: вводил его туда другой мужик — Распутин; бывал Ключев и в Смольном, и не раз видался с вождями большевизма в 1917-18 г.г. Но всегда и во все времена в Ключеве жил и не умирал большой национальный поэт.

Николай Алексеевич Ключев родился в глухой Олонецкой деревушке, недалеко от древнего города Вытегры, в 1887 году. Внук сказочника, гусяра и поводчика медведя, сын николаевского солдата и сказителя былин, — поэт сызмала впитал в себя образы Заонежья, сказочные и песенные мотивы русского севера. Интересен и своеобычен был сам облик поэта, одетого в какой-то полу-крестьянский, полу-оперный костюм и разгуливавшего по улицам Питера в невозможнейшем «крестьянском» валеном цилиндре. Петербургская квартира Ключева до

*) Написанная в 1947 г., статья эта, к сожалению, не могла быть напечатана раньше за недостатком места. **Ред.**

самых последних лет была убрана под олонекскую избу с резными матицами и полатами, расписными ставнями и огромным кивотом с дониконовскими иконами старых писем в углу. Сохранявший при чтении своих стихов и в разговоре олонекское окающее произношение, не получивший систематической школьной выучки, но очень много читавший, странствовавший и видевший на своем веку, — Ключев был интереснейшим собеседником, культурным, вдумчивым и остроумным.

Известный русский философ Сергей Александрович Аскольдов рассказывал мне, как один раз он имел продолжительную беседу у Вячеслава Ивановича Иванова с Ключевым на религиозно-философские и философские темы. Ключев оказался прекрасным знатоком «Микрокосма» Лотце, писаний Якова Беме, Баадера, Фихте младшего...

Ходасевич в «Некрополе» рассказывает, как застал нашего поэта за чтением Гейне в подлиннике: — «Маракую малость по бусурмански... Да только-то наши соловьи голосистей...» — извинился перед ним Ключев.

Резко выраженный национальный, часто даже местный, олонекский колорит; перенасыщенность славянизмами необычайно сочного и яркого языка; богатство, своеобразие, смелость и неожиданность образов, устремленность в задумчивую тишину русского лесного скита; сильная тяга к старообрядчеству и к хлыстовским радениям (сборник «Братские песни» Ключева — его ранние хлыстовские песнопения); тончайшее понимание русской природы, искусства (иконопись, резьба по дереву, народные песни) — вот основные черты творческого лица нашего поэта. В его стихах — крепкий мужик-северянин с его «избой-богатырицей» и богоданным урожаем, домашним Спасом и хозяйственными, заботливыми святыми, с его осанистой грудастой женой и крепышами ребятами. Быт прочный, устоявшийся, уверенный в себе. Но — «ударит возжа под хвост», — и бросит наш мужик все: и семью, и свой крепкий хозяйственный уклад, — и уйдет в монастырь, на самосожжение за старую правую веру, в мужичий бунт, в разбой...

Иногда Ключевская словесная живопись становится настолько затейливой, что требует перевода на современный обычный русский язык:

Заплуталось солнышко в корбе темнохвойной,
Износило лапчатый золотой стихарь:
Не бежит ли знойное от людей разбойных?
Не от злых ли прячется в сүтемень да в марь?

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

Али корба хвойная с бубенцами шишек,
С рушниками-зорями прѣснни милей,
Красики с вольянками слаще звездных пышек
И громов размычливей гомон журавлей?
Эва! на валѣжине, словно угли в жарнике,
Половеет лапчатый золотой стихарь,
Потянули за море ветлюки- комарники,
Нижет перетесща бляхи да янтарь.
Сядь, моя жадобная, в сарафана сборчатом,
В камчатом укоснике за послушный лен,
Постучится солнышко под оконцем створчатым
Шлет-де вестку матушка с тутюшних сторон!
Мы в ответ: «Радешеньки говору то-светному,
Ходоку от маминой праведной души:
Здынься по крылѣчку к жарникѹ приветному,
От росы да мокрети лапти обсуши!»
Полыхнувши полымем, прянет гость в предизбицу,
Сказкою узорчатой пряжу полонит,
За оконцем створчатым вечер в синем кукле
Складель рощ финифтяных ладаном кадит.
В домовине матушка. Пасмурной округою
Водит мглу незрячую поводирыка-жуть,
И в рогожном кузове, словно поп за руютою,
В сторону то-светную солнце правит путь . . . (1916)

Нежные, ласковые слова для деревни, поля и леса с его перезвоном сосен, бубенцами шишек, ладанным духом хвои. Некрикливая радость серых изб с часовней убогой, хранящих «Нерукотворный век колосьев золотых», противопоставляется городу с его гнилозубым оскалом подвальных рабочих конур, с его бесовской пляской железно-огненных фабрик, перепутанным спросонка ходом часов, гудочными хрипами заводов, беспощадной эксплуатацией и «городскими предбольничными березами...» Стерегут каменные мешки тюрем-городов прекрасную сказку Русь, изнасиловал ее варварский полуазиатский капитализм, но Русь, даже «отверженный облик приняв, как прежде нетленно-прекрасна».

И манифестом «мужиковствующих» звучит обращение Ключева к поэтам-урбанистам, воспевавшим города, небоскребы, авиацию, заводы и марксистский социализм и обещавшим народу «сады в краю улыбочиво-далеком», где смоются и исцелятся прокаженные тела и снѣдью будут волшебные плоды... Но на зов урбанистов-социалистов пришли Увечье, Чума, Убий-

ство, Голод и Разврат, Страх тлетворный, дырявая Бедность, — и «сад узорный» облетел и завял... И движутся на смену обманщикам освежительные, стихийные «Мы» — мужики, крепкие, как валуны, высокие как кедр, и звонкие как лесные ключи и сосны.

За первым сборником (1908) «Сосен перезвон» последовали раскольничьи и хлыстовские «Братские песни» (1910-11) и «Лесные были» (1913-1914).

Но вот раздались громовые звуки мировой войны 1914-1918 г.г., и поэт встречает ее своими «Мирскими песнями» (1915-16), лишенными казенного ура-патриотизма, нерадостными (как и военные стихи его ученика Есенина):

В этот год за святыми обеднями
Строже лики и свечи чадней,
И выходят на паперть последними
Детвора да гурьба матерей.
На завалинах рать сарафанная,
Что ни баба, то горе-вдова;
Вечерами же мгица багряная
Поминальные шепчет слова.
Ненароком заглянешь в оконницу —
Видишь въявь, как от северных вод,
Звездоликую буйную конницу
Страстотерпец на запад ведет . . .

И пропев про горе бобылки-солдатки, про размыканные поля и болотам кости неоплаканных русских бойцов, Клюев скорее торопится отдохнуть, снова прильнув в «Песнях из Заонежья» (1916) к излюбленной стихии русской народной песни.

А вскоре поэта постигло большое горе. Умерла его горячо любимая мать. Ее смерти посвящены, быть может, лучшие стихотворения дореволюционного Клюева — «Избяные песни» — из сборника «Сердце единорога». Плачущий по хозяйке кот; понурая корова, постигающая смерть звериным умом; ждущие хозяйку-мать пузан-горшок и печь-многознайка и затаивший ее думы камчатый платок; мудрая «маковка ветхой церквушки», затаившая душу хозяйки, и солнце, волхвующее солнце, переносящее от нее восточку из далеких небесных сторон (смотри приведенное выше стихотворение), — полны такого своеобразного лиризма и хозяйственно-трагического пафоса, что

заставляют признать Клюева одним из наиболее значительных русских поэтов XX века.

Этими же образами наполнена и «Долина единорога» (1916): «Белая Индия» — Россия; Мать Сыра-Земля — Богородица; Русь, в которой скрещиваются юг и север, Восход и Закат, в которой перекликаются Синдбад-Мореход с Парсифалем, Берлин с Багдадом — вот образы этой книги, наряду с матерью поэта. Пришли времена, когда «буренка станет львом крылатым», когда «пройдет Господь по нашим хатам», и «Женных дориносимый» снова сделает видимым сокрывшийся от неверных и злобствующих глаз праведный и нетленный мужицкий рай — град Китеж, — Русь, просветленную и очищенную трудом, страданием и покаянием. Крестьянская, потная, трудовая Русь спасется и возродится к славе и силе и будет «олений гусак сладкозвучнее Глинки», «а бабкина пряжа, печные тропинки — лучистее славы и неба святых». Ибо «изба — святилище земли с запечной тайною и раем», — и «глухонемые тысячелетия» с их «папиросными сердцами» и «книгами-трупами» закончатся в златобревном Отчем Дому. И поэт зовет Русь в рай финифтяный вещей птиц, — Сирина и Алконоста: поэт громит словами протопопа Аввакума и братьев Денисьевых, Аввы Дорофея — или волхвует хлыстовскими попевками...

Книгой «Красный рык» встречает поэт революцию. Это его стихи 1917-1918 г.г. Он вначале всецело захвачен вихрем событий: лихорадочно пишет гимны о солнценосном мужичьем русском народе, о баяно-рублевской Руси, об иконописных ликах вождей революции, черноземных руках новых властителей России...

Есть в Ленине керженский дух
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в Поморских ответах.
Мужицкая ноне земля . . .

Но как нелепо все это зазвучало для поэта уже вначале 1918 года! Никакой крестьянской революции. Никакой крестьянской воли... Кучка обнаглевших захватчиков, мобилизовавшая грубые инстинкты грабежа, мести, резни, классовой ненависти и зависти; объединившая вокруг себя отребья города и села и похитившая власть, опираясь на полчища солдат разложившейся, уставшей воевать сермяжной армии — разве это «Белая Индия», «Святая Русь», «Третий Рим»?!

На божнице табаку осьмина,
 И раскосый вылушенный Спас.
 Не поет кудесница-лучина
 Про мужицкий сладостный Шираз.
 Древо песни бурею разбито,
 Не Триодь, а Каутский в углу,
 За окном расхлябанное сито
 Сеет копоть изморозь и мглу.
 Пучит печь свои печурки-бельма:
 «Я ослепла как скорбящий дед . . .»
 Грезит парень стачкой и Палермю,
 Президентом, гарком кастаньет . . .
 Сказка чушь, а песня — коршун серый,
 Что когтит, как перепела, ум.
 Облетел цветок купельской веры
 В слезный рай, в озимый древний шум.
 Кто то черный, с пастью яро-львиной,
 Встал на страже полдней и ночей.
 Дед, как волхв, душою пестрядиной
 Загляделся в хляби дум-морей.
 Хмуры волны смертного Поморья,
 Но в когтисто-жадной глубине
 Серебрится чайкой тень Егорья
 На бурунном гибельном коне.
 — Стратотерпец, вызволь цветик маков!
 Китеж-град ужалил лютый гад! —
 За пургою ж Глинка и Корсаков
 Запевают: — «Расцветай наш сад!» (1919)

Уже в 1918 году поэт кричит: «Не хочу коммуны без лежанки, без хрустальной песенки углей!» Он не хочет подражать придворным советским писакам ибо —

Ненавистен мудрому поэту
 Подворотный, твякающий стих.
 Лучше пуш, чиновничья гитара,
 Под луной уездная тоска . . .

Не воспевать же ему Русь, в которой «Сирин и Китоврас оставили лишь помет и перья»; где «Сирин на шестке сидит с крылом подбитым»; и «оспа полуслов» чередует Маркса, Каутского и Ленина с разухабистым «вальцом» гармошки и картеж-

ной матерщиной; где потаскухой с напomaженными губами шляется на задворках Пролеткульта русская песня; где поэту предлагают воспевать лишь «мозольный молот», как будто «муза-котельный мастер». И Ключев кричит поэту — коммунисту Кириллову и иже с ним: «поэзия, брат, не окурок...»

Умерла Русь, умерла сказка, скрылся Китеж град, ужаленный лютым гадом — Октябрем. Осыпались яркие краски с теремов. Ощипаны райские птицы Сирин и Алконост. Вместо Евангелия — в избяном углу бородище Маркса и маленькая раздвоенная бородака его верного плешивого ученика...

В 20-х годах поэта перестают печатать. Еле-еле удалось ему получить разрешение на издание двухтомного собрания своих стихотворений «Песнослов» (1919). Особенно «зажали» поэта, когда в 1924 или 1925 году в ленинградском журнале «Звезда» была напечатана последняя увидевшая свет поэма Ключева «Деревня», в которой говорилось прямо и откровенно, что «выметет мужик бороною» новое (и горше старого) татарское иго, осквернившее мощи, нарушившее весь уклад сельской жизни исконной Руси и в конец разорившее мужиков: «Будет, будет мужицкое время: появится Иван Третий»... Редактор журнала был снят; о Ключеве начато дело в ГПУ; газеты закричали о кулацком поэте контр-революционере.

Поэт стал писать только для себя, а жил случайными заработками, главным образом, — чтением своих произведений на-дому у друзей и знакомых. Чтецом Ключев был первоклассным, и тот, кто его слышал — никогда не забудет его напевного чтения, как бы перекликавшегося с народным песнестазом. Слушатели собирали поэта — кто что даст — и вручали ему этот «гонорар».

Читал поэт свои новые вещи — «Деревню», а в конце 20-х годов и поэму «Погорельщина».

Слухи о «Погорельщине» и ее чтении поэтом и погубили Ключева: ему приписали (а содержание поэмы явно подтверждало это) антисоветскую агитацию. Чтения и не могли окончиться чем-либо иным: всякое «сборище» гостей — вещь в СССР сама по себе подозрительная, а тут еще и чтение стихов «кулацким» поэтом.

Конец 20-х и начало 30-х годов — годы создания наиболее ярких и талантливых произведений поэта. Он работает в эти годы над своей громадной поэмой «Песнь о Великой Матери», — поэмой, погибшей для нас бесследно вместе с гибелью всех рукописей поэта.

Издать в эти годы Ключеву удалось только две-три тоненькие книжки: «Ленин» (1924) и «Изба и поле» (1925), да, кажется, отдельное издание «Медного кита».

В 1933 году поэта арестовали — вскоре же после переезда его из Ленинграда в Москву. Арестовали по обвинению в кулацкой контр-революционной пропаганде и чтении им анти-советской поэмы «Погорельщина» на контр-революционных сборищах недобитой капиталистической интеллигенции...

Несколько месяцев сидения в московских тюрьмах, и, наконец, ссылка в Нарым. Поэт давно предчувствовал такой конец своей литературной карьеры. Еще в 1925 году, при встречах с пишущим эти строки, Ключев говорил сильно напирая на «о»: «Отлетает Русь, отлетает... — отлетела душенька-то ее! Скоро и мы, голубь мой сизокрылый, как гусаки на север, к полюсу и морю-окияну Ледовитому потянемся... Там, небось, Русь еще долго протянет...»

В Нарыме, несмотря на голод и издевательство местных властей, Ключев интенсивно работает, заканчивая «Песнь о Великой Матери» и новые циклы стихов. По свидетельству знакомого частично с этими произведениями Иванова-Разумника, ничего подобного Ключев раньше не создавал.

В середине 1934 года, после письма к Максиму Горькому и ходатайства последнего, Ключева перевели на «вольную высылку» в Томск, но почти тотчас же арестовали в Томске и вернули в ссылку.

И Ключева это морально сломило. Он пошел «в Каноссу», написал в 1935 году большую поэму «Кремль», воспевающую Отца Народов и его ближайшее апостольское окружение: «Прости иль умереть вели!», — так заканчивалась эта ходульная и надуманная фальшивка.

Как чаще всего и бывало, приспособленчество Ключева не спасло: он оставался в ссылке до конца срока, до августа 1937 года.

В августе 1937 года выехал поэт — «с чемоданом рукописей», как он сообщал в одном из писем друзьям, — из Томска, но в Москву (где должны были определить его дальнейшую судьбу) так и не попал: на одной из станций Великого Сибирского Пути — на какой и когда установить никому из друзей поэта не удалось — поэт умер от сердечного припадка, там и погребен. А участь чемодана с его рукописями, конечно, неизвестна...

У Иванова-Разумника был список «Погорельщины», а, мо-

жет быть, и еще кое-что из неопубликованного Клюевым. Но где же теперь собрать все это?

Так погиб 10 лет тому назад один из самых значительных русских поэтов. Критика и история литературы установит когда-либо его значение, расскажет о его влиянии не только на С. Есенина, П. Орешина, А. Ширяевца и других «мужиковствующих», но и на Белого, и на Блока.

В дневнике своем Александр Блок записал уже в 1911 г.:

«Клюев — большое событие в моей осенней жизни. Особаченный Мережковским, спутанный, я сбит с толку и измучен, — и вдруг — бесконечный отдых: его нежность, его благословение, рассказы о том, что меня поют в Олонецкой губернии... Никаких символизмов больше!»

Да, погиб десять лет тому назад большой поэт и грешный, но большой человек.

Борис Филиппов

НАСЕЛЕНИЕ ПОСЛЕ-ВОЕННОЙ РОССИИ

1.

Каково население послевоенной России? Точного ответа на этот вопрос никто не знает, и не будет знать, пока там не будет произведена новая перепись.

Между тем, цифры населения важны со многих точек зрения, в частности с точки зрения международных отношений. Конечно, размеры той или иной человеческой массы далеко не определяют ее значения в том поле сил, на котором разыгрывается международная политика. Не менее важны технический и общекультурный уровень, данным обществом достигнутый, и его «дух», т. е. сила сцепления индивидов-частиц в целое — общество. Но все же, никакая техника, никакой дух не могут дать большей силы, если мала человеческая масса.

Мы знаем, что население СССР велико. Не так давно произвела большое впечатление книга Нотстейна и сотрудников, выпущенная под эгидой Лиги Наций. В ней было предсказано, что 1970 году население СССР в старых границах достигнет 254 миллионов, против 222 миллионов в демократическом ядре Европы, т. е. в ее северо-западной и центральной частях. Книга была, однако, написана еще во время войны, и в ней не приняты во внимание не только перемены границ, но и военные потери. В 1946 году, также под флагом Лиги Наций, вышла книга Лоримера, озаглавленная «Население СССР». В ней обе поправки сделаны, и в результате население СССР на 1946 год исчислено в 188 миллионов и «проектировано» его увеличение до 544 миллионов в 1970 году в новых границах. Лоример, однако, предупреждает, что его исчисление основано на нескольких скорее произвольных гипотезах, и потому просит не считать даваемую им цифру веским предсказанием.

С советской стороны, в связи с выборами 1946 года, было сделано два заявления. 22-го января 1946 года, проф. Г. Ф. Александров, тогда весьма авторитетный, назвал цифру в 193

миллиона. В вышедшей в том же году в Париже книге «Россия сегодня», проф. А. П. Марков, один из редакторов «Советского патриота», дал цифру в 197 миллионов. В обоих случаях ни точная дата, к какой относятся цифры, ни способ их исчисления не указаны.

За последние месяцы на столбцах «Нового Русского Слова» произошла по нашему вопросу интересная полемика между выдающимися русскими учеными. К союзным выборам 1946 года, говорит проф. С. Н. Прокопович, в списки избирателей было занесено 101,7 миллионов. На предыдущих выборах избиратели составляли 56,35% всего населения. Если допустить, что пропорция избирателей в населении не изменилась, то последнее должно было составить 180,5 миллионов. В. В. Леонтьев не соглашается с гипотезой Прокоповича и присоединяется к цифре 193 миллиона, данной Александровым. Проф. Е. М. Кулишер также склоняется к цифре Александрова и подтверждает ее следующими соображениями. 24-го декабря 1946 года, в связи с выборами в верховные советы союзных республик, в советских газетах появились сведения о делении этих республик на избирательные округа, с указанием, сколько в среднем населения приходится на каждый. Путем простой арифметики, Кулишер получает отсюда цифру в 191,6 миллиона, достаточно близкую к александровской. В ответе Кулишеру, Прокопович отмечает, что, деля республики на избирательные округа, советская власть вряд ли основывалась на данных о современном населении, а вероятно воспользовалась старыми материалами. Соображения Прокоповича вполне подтверждаются тем, что в отношении трех закавказских и пяти среднеазиатских республик, не претерпевших изменений в границах с 1939 года, цифры населения, исчисленные по методу Кулишера, точно совпадают с цифрами переписи 1939 года. Это делает почти несомненным, что и цифра в 193 миллиона получена по методу прибавки к населению СССР, по той же переписи, населения присоединенных после того земель.

Но все же и расчет Прокоповича вызывает сомнения. Возрастной состав населения мог существенно измениться; могла измениться и другая существенная цифра — процент лиц, лишенных избирательного права, по суду или фактически, в виду пребывания в лагере принудительных работ. На этот фактор, еще в апреле 1946 года, указал в «Социалистическом Вестнике» г. С. Ш.; обратил на это внимание и Кулишер.

Интересная полемика далеко не разрешила вопроса. Настоящая статья является попыткой пролить на него новый свет, пользуясь некоторыми данными, не бывшими в распоряжении ее участников, а также несколькими соображениями, ими не использованными. Попытка эта должна начаться с установления населения ССР к началу войны, с распределением его по трем возрастам, которые условно будут обозначаться следующими терминами: взрослые (старше 18 лет); подростки (от 8 до 18) и дети (моложе 8 лет). Это распределение должно быть дополнено исчислением размеров группы лишенцев.

2.

По переписи 17-го января 1939 года, население СССР в его старых границах определилось в 170,5 миллионов. За последние два года до переписи, оно увеличивалось почти точно на два процента в год. При допущении, что прирост продолжался с той же скоростью в течение двух лет после переписи, к половине 1941 года население СССР должно было вырасти до 178,7 миллионов.

Но в 1939 и 1940 годах к СССР были присоединены восточная половина Польши, три балтийских государства, карельские земли Финляндии и, от Румынии, Бессарабия и северная Буковина. За вычетом карельского населения, ушедшего в Финляндию, поляков, бежавших на запад, и немцев, репатриированных Гитлером, прирост от аннексий составил 20,5 миллионов. В этих областях прирост населения был много медленнее, нежели в СССР; по данным польской статистики, его можно оценить в один процент в год. Принимая краткость времени, протекшего между аннексиями и началом войны, прирост можно принять равным 300.000. Складывая эти цифры с вышеуказанной, получаем 200,7 миллионов.

Цифру эту нужно разбить между возрастными группами. Для старой территории СССР, перепись 1939 года дает следующее распределение: дети 18,5%, подростки 23,2%, взрослые 58,3%. В течение двух ближайших лет произошло, однако, заметное перераспределение между возрастными группами. Из детского возраста перешли в состав подростков две очень слабые годовые группы, родившихся в 1931 и 1932 годах, а влились в нее две исключительно мощные годовые группы. Путем довольно сложных

вычислений можно показать, что это должно было поднять процент детского возраста до 20% и понизить процент подростков до 21,7%. В польских землях и балтийских государствах население было сравнительно старше, нежели в СССР. По данным Нотстейна, в 1940 г. лица старше 20 лет составляли 55% населения СССР и 57% населения стран, расположенных между Германией и СССР. Производя соответствующие вычисления, получаем для половины 1941 года по всему Советскому союзу такие цифры: детей до 8 лет — 38,8 миллионов, подростков от 8 до 18 лет — 44,5 миллиона, взрослых старше 18 лет — 117,2 миллионов.

Нам еще нужна цифра лишенцев. Как это ни странно, никто не заметил, что для 1937 года ее можно получить с большой степенью точности. Ко времени выборов того года, население СССР достигало 167 миллионов; избиратели, как уже было сказано, составляли 56,36% их числа, а население старше 18 лет, по данным переписи 1939 года, составляло 58,3%. Разница, приблизительно, два процента, и соответствует числу лишенцев. Их, значит, было около 3,3 миллионов, из коих один миллион, по правдоподобию предположению Кулишера, падал на лишенных прав по суду; остальные, два с лишним миллиона, очевидно, заключенные в лагерях. Цифра эта много ниже приводимой г.г. Далиным и Николаевским в их книге о принудительном труде в СССР; на 1937 год там значится 5-6 миллионов, а на более поздние годы даже 10-12 миллионов.

Есть, однако, много оснований предполагать, что их цифры покрывают не только заключенных в лагерях, но и сосланных и находящихся под специальным надзором МГБ. Основания для значительного уменьшения цифр заключенных в лагерях следующие. Во-первых, условия жизни в лагерях таковы, что в них должна быть высокая смертность; 25% во год будет весьма оптимистическим предположением. Но при высоких цифрах, принимаемых г.г. Далиным и Николаевским, это означало бы плановое истребление рабочей силы со скоростью от 2½ до 3 миллионов в год, что ни с чем не сообразно. Значит, придется допустить, или что условия жизни в лагерях вовсе не так плохи, как описывают, или что заключенных в них много меньше, нежели утверждают. Из этих двух возможностей следует выбрать вторую: описания убийственных, в буквальном смысле слова, условий лагерной жизни исходят от множества независимых друг от друга свидетелей, а цифры заключенных сводятся к слухам, неизвестно от кого исходящим.

Во-вторых, большинство лагерей расположены в недоступных и никакого продовольствия не производящих районах дальнего севера; в частности сообщается, будто на Колыме томится полтора миллиона человек. Не вдаваясь в подробности, можно утверждать, что снабжение этих заключенных продовольствием, обеспечивающим им в среднем 4 года жизни и дающим им силы производить какую-либо работу, представляется задачей неразрешимой. В частности, на Колыму хлеб нужно везти с Алтая. Это значит — 5.000 верст по железной дороге (до победы над Японией приходилось пользоваться кружной амурской линией), плавание по замерзающим на много месяцев морям, и доставка на грузовиках по дорогам, занесенным глубокими снегами. Если советское правительство эту задачу разрешило, то ему могут позавидовать наиболее успешные из американских организаторов промышленности. Но почему же тогда до сих пор с такими перебоями идет все пресловутое плановое хозяйство?

Да не усмотрит читатель в предыдущих строках попытки обелить большевиков. И два с лишним миллиона человек, систематически умерщвляемых со скоростью 25% в год — чудовищное преступление, равное тому, которое имело финалом нюрнбергские виселицы.

Мы получили некоторую основу для исчисления послевоенного населения СССР. Это исчисление лучше всего приурочить к началу 1946 года, так как к этому времени относится цифра, имеющая послужить как бы якорем в нашем трудном плаваньи. Самое же решение задачи мы разделим на три части, соответственно трем возрастам.

Старший возраст составляется из избирателей, коих было внесено в списки 101,7 миллионов, и лишенцев. Сколько было последних, неизвестно. Но мы знаем, что в конце 1937 года, в самый пароксизм террора, их было 3,3 миллиона. С тех пор число их, вероятно, колебалось, достигнув максимума в 1940 году, в связи с массовой ссылкой поляков и балтийцев. Во время войны цифра, по всем данным, заметно упала — держать, в течение войны, много миллионов мужчин призывного и рабочего возраста в малопроизводительных и даже убийственных лагерях было бы безумием, которое мы не имеем никаких оснований приписывать по своему расчетливой советской власти. К началу 1946 года было возможно известное возрастание, но за 4 миллиона цифра вряд ли перевалила. Если так, то

взрослое население СССР состояло из 106 миллионов человек, на 11 миллионов меньше, нежели было в 1941 году. Его уменьшение подтверждается фактом, на который обращает внимание Прокопович: в 1946 году, число рабочих и служащих было 27,2 миллиона, против 30,4 в 1940 году. Цифра 1946 года едва превышает цифру 1937 года (27 миллионов, при населении в 167 милл.). Правда, в начале 1946 года в армии было, вероятно, 5½ миллионов человек, против полутора миллиона в 1937 году. Тогда сумма рабочих, служащих и солдат составляла 29% взрослого населения; теперь, если правильна указанная выше цифра, эта пропорция составляет 31%. Такое ее увеличение вполне вероятно, принимая во внимание, что теперь рабочая сила включает больший, нежели тогда, процент женщин и подростков.

Относительно среднего возраста, или подростков, имеются указания в виде цифры учащихся в начальной и средней школе, на что опять-таки обратил внимание С. Н. Прокопович. Правда, цифра на 1946 год, 26,9 миллионов, не вполне показательна, так как в тот год довольно большое число школьников не попадало в школы или было вынуждено прервать образование из-за массового разрушения школьных помещений немцами. Но в 1947-1948 годах учащихся было 31,3 миллиона, тогда как в 1939 году, в старых границах, их было 31,4 миллиона. Полагая, что к настоящему времени охват подростков школой уже не меньше, нежели до войны, можно заключить, что подростков сейчас 39 миллионов. Читатель может выразить изумление по поводу того, что число подростков уменьшилось, приблизительно, в той же пропорции, как число взрослых, на долю которых пали все прямые военные потери. Дело, однако, в том, что и без войны, в 1946 году подростков оказалось бы меньше, нежели их было в 1941 году. Ибо к 1946 году в категорию подростков влились крайне малочисленные группы лиц, родившихся в 1931-1936 годах, которые в 1941 году тянули вниз младшую категорию и в то же время ушли в категорию взрослых самые мощные возрастные классы, составленные из лиц, родившихся в разгар НЭП'а.

Каковы же были, к началу 1941 года, размеры младшего возраста? Он составлялся из двух частей — детей, родившихся в 1938-1941 годах, когда рождаемость была нормальной и детей, родившихся в 1942-1946 годах, когда она должна была существенно упасть. Насколько? Тут мы имеем следующие

сравнительные данные. Во Франции, во время первой мировой войны, рождаемость упала с 13,8 до 9,5 на тысячу, а в Германии с 28,0 до 13,9, т. е. в обоих случаях на половину. Произошло это в условиях почти поголовной мобилизации мужчин и длительного разлучения семейств — в ту войну отпусков почти не давали, а число внебрачных рождений не показало заметного прироста. Условия, в которых Россия провела вторую мировую войну, сильно напоминают те, которые сложились на западе во время первой. Примем, поэтому, что за 1943, 1944 и 1945 годы рождаемость сократилась наполовину, тогда как в 1942 году она упала на 37,5% — в том году падение рождаемости началось со второй четверти. Исходя из того, что к началу войны рождаемость по СССР была, приблизительно 38 на тысячу, а население было равно 200 миллионам, и вычитая из каждой годовой группы процент, полагающийся по нормальной таблице смертности для СССР, получаем на начало 1946 года цифру в 36 миллионов детей.

Теперь мы имеем все нужные нам данные. В начале 1946 года, по нашему исчислению, в СССР проживало 106 миллионов взрослых, 39 миллионов подростков и 36 миллионов детей, а всего 180 миллионов человек. Подтверждается цифра, в упрощенном порядке предложенная проф. Прокоповичем.

4.

Таким образом, получается потрясающий вывод: в 1946 году население СССР было на 19 миллионов меньше, нежели в 1941 году. Как это могло случиться? Чтобы ответить на этот вопрос, составим приблизительный демографический баланс СССР за годы войны.

К началу войны его население составляло 200 миллионов. При продолжении прироста в темпе последних довоенных лет, к началу 1946 года оно должно было составить 216,6 миллионов. К этому нужно прибавить 1,8 миллиона, проживавших в присоединенных в 1945 году областях — северной части Восточной Пруссии, Закарпатской Руси, южном Сахалине и на Курильских островах. Итого, должно было быть 218,4 миллионов.

На самом деле, оказалось 181. Разность, около 37½ миллионов, есть демографическая стоимость войны. Она состав-

ляется из четырех слагаемых: 1) чисто военные потери (убитые в бою, умершие от ран и военнопленные, умершие в лагерях); 2) гражданские потери (смерти, причиненные немецкими зверствами, а также ухудшением условий жизни как в районах оккупации, так и вне их); 3) перевес эмиграции над иммиграцией и 4) дефицит рождений.

Точная цифра военных потерь не опубликована. В марте 1946 года Сталин назвал цифру в 7 миллионов, но объединил в ней убитых и погибших вследствие германской оккупации и насильственного узода гражданского населения в Германию. За год перед тем, он назвал цифру в 5,3 миллиона чисто военных потерь, но включил в нее пропавших без вести, очевидно, в большинстве случаев пленных. По сообщению В. И. Николаевского (см. «Новый Журнал» кн. 18 стр. 218), за первый год войны в немецких лагерях умерло 4 миллиона русских военнопленных. Предлагаемая Лоримером цифра в 5 миллионов, вероятно, близко подходит к истине.

Потери от перевеса эмиграции над иммиграцией исчислены проф. Кулишером в 1,3 миллиона; полмиллиона немцев, говорит он, бежало из восточной Пруссии, на полмиллиона больше поляков ушло на запад, нежели пришло с запада белоруссов и украинцев, и 300 тысяч невозвращенцев оказалось в лагерях в Германии, Австрии и т. д. Есть основания предполагать, что цифры его преуменьшены. Поэтому, поставим на счет два миллиона.

Дефицит рождаемости при принятии предложенных выше гипотез, составил 11 миллионов. Сумма трех категорий составляет 18 миллионов, что оставляет 19 на счет гражданских потерь. Цифра эта может показаться совершенно неправдоподобной, но таковой вовсе не является. Территория, занятая немцами, имела население в 85 миллионов. С этой человеческой массой немцы обращались так, чтобы исполнить задание Гитлера — расчистить место для поселения, в будущем, ста миллионов добрых немецких крестьян.

Вот несколько частных, но убедительных фактов. В Белоруссии, в ее старых границах, по данным проведенного там 5 месяцев представителя УНРА Фалька, из 5,5 миллионов населения погибло, считая военные и гражданские потери, 2,2 миллиона, т. е. 40%. На Украине, как было сообщено тамошним правительством представителю УНРА В. И. Терещенко, одни

гражданские потери составили от 7 до 9 миллионов; Джон Стейнбек, в «Русском Дневнике», называет цифру в 6 миллионов. При посещении отдельных колхозов В. И. Терещенко находил такие факты: там, где до войны было 2.900 членов, оказывалось 2.300; вместо 900 находилось 500 и т. д. Не надо забывать, что на Украине и в Белоруссии, в их новых границах, проживало 4 с половиной миллиона евреев. Они, кроме немногих бежавших на восток, почти поголовно уничтожены. Например, в Киеве, по данным из того же источника, их сейчас всего 4.000. А гражданские потери понесло и население неоккупированных местностей. В одном Ленинграде, за время осады, от голода и холода погибло до миллиона человек. А сколько должно было погибнуть в условиях спешной эвакуации и скученности в местах назначения! Взятые вместе, эти данные делают нашу цифру вполне правдоподобной. Ее косвенно подтверждает видный польский коммунист Гомулька, покрывая ею военные и прямые гражданские потери (но не потери, причиненные избытком смертей в неоккупированных частях СССР).

Существует один косвенный способ установить ее правдоподобность; это сравнить ее с демографическими потерями, понесенными Россией (границах СССР 1921-1939 годов), за первую мировую и затем гражданскую войну, до 1922 года. В цитированной выше книге Лоример определяет их в 28 миллионов, распределяя их так: военные потери 2 миллиона, гражданские потери 14 миллионов, избыток эмиграции 2 миллиона, дефицит рождений 10 миллионов. Человеческая масса, подвергшаяся той катастрофе, первоначально составляла 138 миллионов; она понесла урон в 28 миллионов или 20,3%. Потери, исчисленные нами за вторую мировую войну, отнесенные к исходному населению, составляют 18,8%. Сравнение можно продолжить, распределяя потери по статьям. Это сделано в следующей таблице, в которой столбцы 1 и 2 относятся к 1914-1922 года, а столбцы 3 и 4 — к 1941-1946 годам. Столбцы 1 и 3 дают абсолютные цифры в миллионах, а столбцы 2 и 4 проценты в отношении исходного населения.

	1	2	3	4
Исходное население	138	100	200,5	100
Военные потери	2	1,45	5	2,5
Гражданские потери	14	10,1	19,5	9,8
Перевес эмиграции	2	1,45	2	1
Дефицит рождений	10	7,3	11	5,5
Сумма потерь	28	20,3	37,5	18,8

Сравнение относительных цифр показывает усиление военных потерь, что вполне понятно, так как орудия войны, примененные немцами против Советского Союза, были много могущественнее и разрушительнее, нежели те, которые они в свое время направили против царской России. Гражданские потери и дефицит рождений остались относительно неизменными. И это понятно: длительность катастрофического периода была на этот раз меньше, но за первую мировую войну мобилизация была не столь полной, как за вторую, и тогда, даже во время гражданской войны, никто не доходил до мысли о поголовном истреблении населения с целью очистить место другому народу.

5.

Подведем итоги. Цифра в 180 миллионов населения, полученная путем исчисления отдельных возрастных категорий, косвенно подтверждается возможностью правдоподобно распределить демографические потери между отдельными причинами, их вызвавшими, а цифры, касающиеся отдельных причин, косвенно подтверждаются сравнениями с уроном, понесенным народами России за 1914-1922 годы. Несмотря на эти косвенные подтверждения, полученная нами цифра остается предположительной; но она гораздо более обоснована, нежели цифра в 193 миллиона, на веру принимаемая со слов советского источника, отнюдь не претендовавшего передавать какое-либо сделанное в СССР исчисление.

Если только 181 миллион человек жило в 1946 году в границах СССР, то и будущее население СССР окажется меньшим, нежели недавно намечалось в упомянутых выше «предикциях». В частности, при применении к предлагаемой здесь

цифре расчетов Лоримера, к 1970 года население СССР достигнет 232 миллионов. Это будет, как было и в начале второй мировой войны, почти точно в полтора раза больше, нежели к тому времени ожидается в Соединенных Штатах. Никаких выводов из этих голых демографических фактов сделать конечно нельзя. Американские и русские человеческие массы могут к тому времени вступить в «последний решительный бой», но могут оказаться и дружественно сосуществующими в мире, население которого приблизится к двум с половиной миллиардам.

Н. С. Тимашев.

ПОРАЖЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ГЕН. ВЛАСОВ

(Материалы для истории*)

9

Группа Власова-Малышкина-Зыкова намечала свои задачи, стараясь исходить из интересов русской борьбы против большевиков, — так, как она эти интересы понимала. Но действовать ей приходилось в границах, которые были отмерены людьми, решавшими тогда судьбы Германии. А политика этих людей определялась иными мотивами, развивалась по иным линиям.

«Военно-психологическая лаборатория» на Викторияштрассе, в Берлине, была составной частью большого «Отделения для пропаганды на Востоке» (Остпропагандаабтейлунг) немецкого верховного командования. Все наблюдения, которые приходили с Восточного фронта, приносили подтверждение правильности расчетов руководителей «лаборатории». Среди

*) См. кн. 18-ую «Нового Журнала».

Автор печатаемых «материалов» получает значительное количество писем с дополнениями, поправками и разъяснениями. По сколько возможно, эти сообщения мною используются в тексте. Сводка фактических исправлений, относящихся к уже напечатанным главам, будет дана в конце очерков. Что же касается дополнений, которые иногда дают весьма любопытные детали, то, к сожалению, использовать их далеко не всегда возможно, так как имеющееся в моем распоряжении количество страниц ограничено. Мои очерки, конечно ни в какой мере не претендуют на полноту: о таком огромном по своему размаху и важном по историческому значению явлении, как русское пораженчество 1941-45 гг. в будущем будет написано не мало книг. В частности, я вынужден совершенно устранять из обзоров события, имевшие место так сказать на периферии движения. Лицам, которые присылают мне материалы и сообщения, я приношу здесь искреннюю благодарность. Установить подлинное лицо пораженчества важно для будущего...

Считаю нужным еще раз подчеркнуть: я поставил себе за пра-

документов Нюрнбергского процесса напечатан один «совершенно секретный» доклад некоего Бройтигама, занимавшего ответственный пост в министерстве восточных дел. Этот документ крайне характерен для настроений широких слоев правящей верхушки тогдашней Германии. Подводя итоги военной компании 1942 года, автор этого доклада пишет, что Германия поставила себе в этой войне три задачи: свержение большевистской власти, раздробление старой Российской империи и завоевание для себя колоний на Востоке. Если бы, — пишет он, — мы ограничились войну только первой задачей, то война давно была бы окончена, так как народы России до предела полны ненависти к большевистской власти. Автор думает, что эти народы не стали бы бороться и против раздела старой империи. Но они чувствуют, что Германия идет, чтобы превратить Россию в свою колонию, — и именно поэтому начинают бороться со все большим и большим ожесточением. Только отказ от этой последней цели поможет Германии привлечь на свою сторону народы России, — а только с их помощью она может победить*).

Этот меморандум помечен 25 октября 1942 г., — т. е. относится к тому времени, когда группа Власова приступала к своей работе. Подобные оценки носились в воздухе. Быть может, впервые за время войны в Германии начали понимать, как близка она к разгрому. В этой обстановке планы «лаборатории», которые в конечном итоге и были попытками найти путь к той или иной форме союза с русским народом для борьбы против большевистского правительства, начали встречать широкое признание. Их защитниками стали не только все крупнейшие представители военного командования, но и ряд важнейших сановников Третьего Рейха во главе с Герингом и Геб-

вило называть имена лишь тех лиц, которые уже погибли, или тех, которые уже названы в печати. Это относится и к тем лицам, которые прислали мне свои поправки и дополнения. Это связано с рядом неудобств, — но нужно понять мотивы: события, о которых идет речь, далеко еще не ушли в бесстрастное прошлое. Называть имена живых лиц, так или иначе к событиям причастных, значит принимать на себя долю ответственности, если эти лица в той или иной форме пострададут. Целый ряд таких случаев уже был... В этих условиях лучше быть чрезмерно осторожным, чем недостаточно осторожным.

*) "Nazi Conspiracy and Agression", т. 3, стр. 242-251.

бельсом. Этот последний в начале войны на Восточном фронте был горячим поклонником теорий Розенберга и любил писать о русских, как об «унтерменшах». Но теперь он уже знал, как такие писания влияют на «военный потенциал» Красной Армии. Теперь он все яснее и яснее понимал, что вся война пошла бы иначе, «если бы мы умели вести войну, как войну против большевизма, а не русского народа» (запись в дневнике Геббельса от 14 апреля 1943 года). При этом он, конечно, ни в малой мере не становился другом этого народа. Несколько позднее, летом 1944 года, в газете «Райх», эту «новую политику» Германии с ориентацией на «народное восстание против большевиков» Геббельс откровенно изображал, как прямое продолжение политики «запломбированного вагона», с таким успехом примененной немцами в 1917 году. Для Геббельса она, конечно, таковой и была...

Главным противником «новой политики» был, естественно, Розенберг, которого в то время поддерживали не только Борман, главный секретарь нацистской партии, но и Гиммлер, глава Гестапо (свою позицию в этом вопросе последний изменил только после англо-американских побед на территории Франции). Но в создавшейся обстановке и Розенберг не рисковал полностью защищать свои старые идеи: имея против себя всех военных специалистов, которые доказывали необходимость перемены политики соображениями военного характера, он взял бы на себя слишком большую ответственность, если бы свои партийно-политические аргументы открыто поставил выше аргументов военно-политических. Он должен был маневрировать. Лабс, автор истории «власовского» движения, составленной в ноябре 1944 года, по поручению верховного командования*), рассказывает, что зимою 1942-43 г.г. между верховным командованием и Розенбергом шли длительные переговоры о желательности создания «Русской Освободительной Армии» с ген. Власовым во главе. Командование доказывало, что последний «политически должен быть выставлен в качестве представителя русского народа в его борьбе против большевизма». На решающем совещании командование было представлено Кейтелем и Иодлем, которые ребром ставили этот вопрос перед Розенбергом, добиваясь от него прямого ответа. В этих условиях Розенберг не мог открыто сказать, что он против, и ограничился заявлением, что вопрос о подоб-

*) Этот важный документ нам известен, к сожалению, только в кратком пересказе.

ном использовании Власова считает вопросом военного порядка и не делает возражений против назначения его командующим русскими дивизиями, которые намечены к формированию. Из других документов видно, что Розенберг дал тогда свое согласие и на политические лозунги, под которыми выступление Власова должно было быть произведено (неизданное письмо Розенберга к фельдмаршалу Кейтелю от 17 июля 1943 года).

В этой обстановке Гитлер дал свое согласие на большую политическую акцию, основные черты которой состояли в следующем: от его имени должна была быть издана особая прокламация (в дневниках Геббельса она фигурирует под названием «Остпрокламацион») с оповещением о целях войны на Востоке. Одновременно должно было быть выпущено сообщение о создании особого «Русского Комитета», который должен был стать во главе «Русского Освободительного Движения» и приступить к формированию «Русской Освободительной Армии». Рассчитывали, что в эту последнюю удастся набрать до 500 тыс. человек, — а, может быть, и до миллиона (эти цифры называет Гиммлер в речи от 4 октября 1943 года). Созданная таким образом вооруженная сила должна была быть построена в качестве самостоятельной армии, с русским командным составом сверху донизу, и существовать на правах армии-союзницы. Для увеличения авторитета «Русского Комитета» предполагалось передать ему некоторые из правительственных функций в части оккупированных провинций СССР.

Группе Власова-Малышкина-Зыкова отводилась роль центральной ячейки будущего «Русского Комитета», а Власову лично — роль председателя этого комитета и командующего армией. Резиденцией этого Комитета был намечен Смоленск, где на митинге и должно было быть объявлено о формировании Комитета. Установлена была и дата для этого события: 27 декабря 1942 года. Туда должны были выехать Власов и Малышкин.

В самый последний момент Гитлер перерешил, и выступление было отменено. Ссылаясь на плохое положение на фронте, Гитлер отказался подписать свое воззвание: он не хотел, чтобы оно было объявлено вынужденным. Митинг не состоялся. Все дело ограничилось передачей по радио воззвания Власова и программы «Русского Комитета», — причем передача эта была сделана якобы из Смоленска, а на деле она была произведена из Берлина, станцией Альбрехта. Передача

была сделана исключительно для Красной Армии и советского тыла. Газетам, выходившим на территориях Германии, писать что-либо об этом событии было строго запрещено. Всю идею «Русского Освободительного Движения» Гитлер разрешил использовать только в качестве пропагандного трюка, предназначенного для разложения советского тыла. Изменения пришли только постепенно.

10

В период подготовки к указанному большому выступлению, группе Власова-Малышкина-Зыкова удалось достигнуть значительных результатов по одному частному, но очень важному вопросу: это был вопрос о положении русских военнопленных.

К концу 1942 года это положение продолжало оставаться столь же ужасным, как и зимою 1941-1942 г.г. Надо признать, правительство Сталина сделало все, чтобы не допустить улучшения участи советских граждан, попавших в руки немцев. Оно не только упорно отказывалось присоединиться к Женевскому международному соглашению о военнопленных, не только отказывалось допустить какую-либо помощь немцам, попавшим в советский плен; своих граждан, бывших в немецком плену, оно рассматривало, как изменников, и не разрешало посылку им продуктов, запрещало переписку с ними. Больше того: иностранным организациям помощи, которых тогда много возникало в демократических странах Запада, оно настойчиво рекомендовало не тратить на помощь советским военнопленным ни копейки из собранных денег... Они были обречены на вымирание.

Давая свое согласие на участие в «Русском Комитете» и в «Русской Освободительной Армии», группа Власова-Малышкина-Зыкова в качестве обязательного предварительного условия поставила немедленное же облегчение участи пленных. На этом ей удалось настоять, — и с конца 1942-начала 1943 года был проведен ряд мероприятий, внесших существенные улучшения в жизнь военнопленных. Наиболее важными из этих мероприятий были: 1. отмена смертной казни за попытки побегов (раньше расстреливали не только самих беглецов, но часто и целые группы пленных, из среды которых вышли беглецы); 2. запрещение избивать военнопленных и подвергать их телесному наказанию; 3. увеличение суточного рациона хлеба (прибавка по 100 гр. в день на человека); 4. выдача табаку (по 100 гр. в месяц); 6. разрешение пере-

писываться с родными, если последние проживали в районе немецкой оккупации; 7. организация в больших лагерях кино, театров и библиотек с русскими книгами.

Новые правила, правда, далеко не всегда выполнялись. Жизнь в лагерях для русских продолжала оставаться далеко не удовлетворительной. Она ни в какой мере не шла в сравнение с жизнью пленных других национальностей. Тем не менее общее положение пленных сразу же улучшилось. Смертность в лагерях резко понизилась, и начиная с 1943 года лица, попадавшие в плен, имели шансы остаться в живых. Раньше у них таких шансов не было.

Роль Власова в этом деле в лагерях была широко известна. Среди пленных говорили, что Власов вообще свое согласие участвовать в «РОА» дал для того, чтоб спасти погибавших пленных. Отголоски этих настроений уже зарегистрированы в печати: так, например, В. Б., автор интересных заметок «Из встреч и разговоров» («Нов. Журнал», книга 14-ая, стр. 236), подводя итог своим наблюдениям над бывшими военнопленными, отмечает, что они «поголовно все защищали Власова» и «называли его своим спасителем». Оказывается, в лагерях сложилась даже легенда о том, что Власов был в действительности тайным посланцем Сталина, который возложил на него особую миссию: прикинувшись анти-большевиком, на деле стараться спасти пленных от неминуемой гибели... Люди, творившие эту легенду, совсем не знали Сталина; они мало знали и о Власове, — но роль последнего в деле спасения пленных они знали хорошо.

11

Большие планы группы Власова не получили осуществления, — но к работе она все-же приступить могла. Основным документом, определявшим ее программу в этот первый период, был документ, вошедший в историю под названием «Смоленская программа» или «13 пунктов Власова». Вот полный текст этого документа:

1. Ликвидация принудительного труда и обеспечение рабочему действительного права на труд, создающий его материальное благосостояние.

2. Ликвидация колхозов и планомерная передача земли в частную собственность крестьянам.

3. Восстановление торговли, ремесла, кустарного промысла и предоставление возможности частной инициативе участвовать в хозяйственной жизни страны.

4. Предоставление интеллигенции возможности свободно творить на благо своего народа.

5. Обеспечение социальной справедливости и защита трудящихся от всякой эксплуатации.

6. Введение для трудящихся действительного права на образование, на отдых, на обеспеченную старость.

7. Уничтожение режима террора и насилия, введение действительной свободы религии, совести, слова, собраний, печати. Гарантии неприкосновенности личности и жилища.

8. Гарантии национальной свободы.

9. Освобождение политических узников большевизма и возвращение из тюрем и лагерей на родину всех, подвергшихся репрессиям за борьбу против большевиков.

10. Восстановление разрушенных во время войны городов и сел за счет государства.

11. Восстановление принадлежащих государству разрушенных в ходе войны фабрик и заводов.

12. Отказ от платежей по кабальным договорам, заключенным Сталиным с англо-американскими капиталистами.

13. Обеспечение прожиточного минимума инвалидам войны и их семьям.

Вторым важным документом этого периода было воззвание Власова, — та самая его речь, которая не могла быть оглашена 27 декабря 1942 года в Смоленске. В этом воззвании Власов подробно рассказывал свою биографию, объясняя, как он пришел к выводу о необходимости борьбы против большевизма:

«Теперь я выступаю на борьбу против большевизма и зову за собою весь народ, сыном которого я являюсь. Почему? Этот вопрос возникнет у каждого, кто прочитает мое обращение, — и на него я должен дать честный ответ. В годы гражданской войны я сражался в рядах Красной Армии, потому что верил, что революция даст русскому народу землю, свободу и счастье. Будучи командиром Красной Армии, я жил среди бойцов и командиров, — русских рабочих, крестьян, интеллигентов, одетых в серые шинели. Я знал их мысли, их думы, их заботы и тяготы, я не порывал связи с моей семьей, с моей деревней, и знал, как живет крестьянство. И вот я увидел, что ничего из того, за что боролся русский народ в годы гражданской войны, он в результате победы большевиков не получил. Я видел, как тяжело жилось русским рабочим и как крестьянство было загнано насильно в колхозы, как миллионы русских людей исчезали, арестованные без суда и следствия, я видел, что растаптывалось все

русское. что на руководящие посты в стране, как и на командные посты в Красной Армии, выдвигались подхалимы, которым не были дороги интересы русского народа. Система комиссаров разлагала Красную Армию, — безответственность, слезка, шпионаж делали командира игрушкой в руках партийных чиновников.

Рассказав о «чистке» 1937-1938 г.г., когда «не было семьи», которую миновал бы террор власти, Власов переходит к войне. Во время войны он видел много жертв и лишений, видел, как голодала армия и голодной шла в бой, видел, как жертвенно относилось население и какие неисчислимые страдания оно несло, — и в эти дни перед ним с особенной настойчивостью начал вставать вопрос:

«Да полно, родину ли я защищаю? За родину ли я послал на смерть людей, не за большевизм ли, маскирующийся святым именем родины?»

Размышления привели Власова к выводу, что

«русский народ втянут большевизмом в войну за чуждые ему интересы англо-американских капиталистов. Англия всегда была врагом русского народа, она всегда стремилась ослабить нашу родину, нанести ей вред».

Сталин пошел на этот союз с Англией и Америкой, так как на этом пути он

«видел возможность реализовать свои планы мирового господства и ради осуществления этих планов он связал судьбу русского народа с судьбой Англии».

Все разговоры о родине, об Александре Невском и Минине с Пожарским, которыми занимаются агенты Сталина, являются «жалким и гнусным обманом».

«Только слепцы могут поверить, будто Сталин отказался от большевизма. Жалкая надежда. Большевизм ничего не забыл, ни на шаг не отступил и не отступит от своей программы. Сегодня он говорит о России, о русском, только для того, чтобы с помощью русских людей добиться победы, а завтра с еще большей силой закабалить русский народ и заставить его служить и дальше чуждым интересам».

В силу всех этих соображений Власов и выступал с призывом к борьбе за свержение власти большевиков:

«На честных началах, на начале искреннего убеждения, с полным сознанием ответственности перед родиной, народом и историей за совершаемые действия, я зову народ на борьбу, ставя перед собою задачу построения новой России. История не поворачивает вспять; не к возврату к прошлому зову я народ. Нет! Я зову его к светлому будущему, к борьбе за завершение

национальной революции, к борьбе за создание новой России, родины нашего великого народа, и зову ее на путь братства и единения с народами Европы и в первую очередь на путь сотрудничества и вечной дружбы с великим германским народом. В этой борьбе за наше будущее я открыто и честно становлюсь на путь союза с Германией».*)

Фактическим автором обоих этих документов, т. е. не только «Программы», но и воззвания Власова, был Зыков, который в тот период был действительным вдохновителем вообще всего дела. По ним мы можем установить некоторые основные особенности его позиции.

В нее прежде всего входит идея союза с Германией и отталкивания от англо-американского мира, — прежде всего от Англии. Конечно, подчеркивание этого момента в значительной мере определялось соображениями тактического характера: поднимать анти-большевистское знамя в Германии во время войны, — особенно в Германии Гитлера, — можно было, конечно, только выступая в качестве сторонника германской ориентации. Но здесь было не только тактическое приспособление. Выше уже было отмечено, что у Власова действительно имелись анти-английские настроения, особенно окрепшие во время пребывания в Китае. Они были не индивидуальной его особенностью: недоброжелательство, а часто и прямая враждебность к англо-саксонскому миру и в особенности к Англии были характерной особенностью внешне-политических настроений, которые большевистская партия воспитывала в своих членах. Ими действительно были заражены едва ли не все те представители окружения Власова, которые в прошлом были работниками партийно-политического аппарата, — особенно аппарата партийной работы в Красной Армии. В этом отношении они были верными продолжателями старых традиций большевизма, который еще со времен Ленина был настроен враждебно к миру «англо-саксонскому» и внутренне тяготел к миру германскому. В эпоху Сталина эта международная ориентация все время крепла, — и то, что происходит в наши дни, является только логическим завершением целого большого периода развития. Борьба с Западом, которую сейчас ведут в Москве, это — борьба с Западом англо-саксонским.

*) Полного текста этого воззвания в нашем распоряжении не имеется; выдержки из него напечатаны в газетах «Новое Слово» (Берлин) от 17 марта 1943 г. и «Парижский Вестник» от 20 марта 1943 года.

По существу Сталин разделяет геополитическую концепцию Макиндера о борьбе континентальных стран, владеющих морскими путями; он только дополняет эту геополитическую концепцию своей концепцией социально-политической, — результатом чего является крайнее заострение враждебности к англо-саксонскому миру. Это не следует забывать при попытках понять происходящее.

Но про-германские настроения Зыкова и Власова ни в каком случае не переходили в настроения про-гитлеровские. Это необходимо подчеркнуть со всею настойчивостью. В обоих документах нет и намека на преклонение перед «фюрером», которое в те годы было так же обязательно для каждого автора, печатавшегося в Германии, как для автора, печатающегося теперь в Москве, обязательно преклонение перед Сталиным. Достаточно заглянуть хотя бы в газеты, которые тогда печатались в Германии на русском языке, — в «Новое Слово», в «Клич», в «Казачий Вестник» и др. Они полны прославлениями Гитлера, — в то время, как ни в «Программе», ни в воззвании Власова Гитлер вообще ни разу не упомянут, ни разу не дано даже прилагательного «национал-социалистический». Речь все время идет о Германии вообще, — чаще всего о «германском народе»... В обстановке тех лет это было показателем большой независимости.

Конечно, проявить эту независимость Зыков и Власов могли только с разрешения гитлеровской власти, — а эта последняя руководствовалась своими собственными соображениями, речь о которых была выше. Но это все же была большая степень независимости, за право иметь которую Власову и его соратникам пришлось вести большую борьбу.

Быть может, еще более важно, что про-гитлеровских настроений у Зыкова и Власова не было не только в области международных отношений, но и в отношении программы преобразований, которые они считали необходимыми для будущей России. Все те отдельные требования, которые включены в «Программу», носят такой характер, что под каждым из них, за одним исключением*), может подписаться любой русский демократ.

Правда, взятая в целом эта программа обладает большим

*) Исключением, конечно, является пункт 12, в котором говорится о «кабальных договорах», якобы заключенных Сталиным с англо-американскими капиталистами. Для понимания этого пункта

недостатком: она говорит только о частностях, не давая обобщающих политических выводов. Вопрос о форме государственного устройства она оставляет совершенно открытым. В известной мере это объяснялось внешними условиями: в то время немцы были согласны терпеть программу, составленную из частичных требований определенно демократического характера, но на открытое развертывание демократического знамени своего согласия они давать не хотели. Но едва ли всё объясняется одним только внешним давлением. Из других источников мы знаем, что Зыков был сторонником «правой оппозиции» и потому он сам, по его собственным настроениям, не мог быть склонным полностью стать под демократическое знамя. Как и вся «правая оппозиция» последнего периода ее существования (в годы, когда Бухарин редактировал «Известия» и был фактическим автором советской конституции), Зыков, несомненно, начинал эволюцию в направлении от «советской демократии» к демократии обычного типа, но эта его эволюция далеко не была закончена. Больше, чем вероятно, что он еще и сам не знал, какую именно форму государственного устройства он предпочитает: демократию парламентарную или исправленную «демократию» советскую. Именно поэтому он должен был предпочитать не уточнять общего политического вопроса, а ограничиваться одним перечнем частичных требований.

Но в большом споре, который был в те годы весьма злободневным для старой русской эмиграции, — а именно в споре между «старым порядком» и «революцией», взятой, как целое, — группа Власова-Малышкина-Зыкова, как показывают документы, заняла вполне определенную позицию. «История не поворачивает назад», — писали они и потому звали «не к возврату к прошлому», т. е. не к реставрации, а к работе по строительству России новой, что им казалось возможным только на путях «завершения национальной революции».

Этот последний термин, — «национальная революция», —

необходимо знать, что как раз во время составления этой «Программы» немецкое радио усиленно распространяло сообщение о том, что на севере Норвегии нашли разбившийся советский аэроплан, причем на трупе погибшего советского дипломатического курьера был обнаружен подлинник секретного договора, по которому Сталин уступал американцам за военную помощь всю бакинскую нефть, базы в Мурманске и т. д. Конечно, это сообщение было чистым вымыслом, но в свое время оно произвело большое впечатление.

проходит через всю литературу власовского движения: от первого воззвания Власова и до «Пражского манифеста», принятого в ноябре 1944 года. Тем важнее правильно понять его значение.

В известной мере употребление этого термина было формой приспособления к терминологии, принятой в нацистской Германии: наци считали, что они сделали тоже революцию, — только не «интернациональную», как они определяли революцию большевистскую, а национальную, германскую, соответствующую духу германского народа. Но эта терминология отнюдь не предполагает вкладывания нацистского же содержания в термин «национальная революция». Ни в одном из документов нет и намека на такое отождествление. Если мы проследим, в каком смысле этот термин употребляется в литературе «власовского» движения, то мы легко убедимся (в дальнейшем изложении будут даны примеры), что русская «национальная революция» всегда мыслилась «власовцами», как продолжение и завершение той революции, которая в России была начата в феврале 1917 года и свободолобивый смысл которой искажен большевистской революцией, чуждой «национальному характеру» народов России. Формулировка этой мысли становится тем определеннее, чем больше свободы высказывания получает «власовское» движение в Германии. Это уточнение формулировок в известной мере было следствием и борьбы внутри руководящих кадров «власовского» движения, — борьбы, знакомство с содержанием которой крайне важно для понимания движения.

12

Организационную работу инициативная группа Власова начала еще в конце 1942 года, — еще до крушения ее больших планов. В начале она полностью была в руках Зыкова, который размахом своих планов, убедительностью аргументов и огромной работоспособностью подкупил руководителей «лаборатории» и завоевал с их стороны полную поддержку. Еще в ноябре-декабре 1942 года он совершил несколько поездок по лагерям, в которых содержались пленные советские офицеры, и вел личные разговоры с многими из тех, кого «лаборатория» считала склонными принять участие в организации анти-большевистского движения. Существуют указания, что именно он вел те разговоры с Власовым, которые окончательно убедили последнего возглавить движение. Он же несомненно вел разговоры и с Малышкиным. Вел он себя во всяком случае

как человек, который имеет власть принимать решения. Один из полковников, позднее игравший весьма активную роль во «власовском» движении, рассказывает, что в самых первых числах декабря 1942 года к ним в лагерь в Вульхайде приезжал Зыков и делал доклад о тогда еще только возникших проектах организации «Русского Освободительного Комитета». В беседе, которая имела место после доклада, этот полковник поставил вопрос, кто именно намечен возглавлять движение (Зыков никаких имен в докладе не назвал), и высказал свое мнение, что наиболее подходящим кандидатом является Власов. Зыков ему ответил: «Почему Вы так думаете? У нас ведь есть еще несколько кандидатов, — ничуть не худших, чем Власов».

Первыми шагами «Русского Комитета» были организация школы пропагандистов и печатного органа.

Школе пропагандистов придавалось особое значение: по замыслу, каждый офицер будущей РОА должен был одновременно быть и пропагандистом, умеющим разъяснить задачи движения. Она была устроена при лагере Дабендорф, под Берлином, и состояла в ведении «Остпропагандаабтейлунг». Функционировать начала еще в конце декабря 1942 года и вскоре поглотила русскую пропагандистскую школу, которая существовала с мая 1942 по март 1943 год при лагере в Вульхайде, а вскоре затем и русскую же школу, которая была организована министерством Розенберга при лагере в Вустрау.

Школу в Вульхайде можно рассматривать, как эпизод из пред-истории «власовского» движения: она была первым опытом «лаборатории» по постановке анти-большевистской пропаганды среди военнопленных. В ней все было поставлено весьма примитивным образом. Как слушатели, так и лектора сидели на голодном пайке, — как и все остальные пленные того времени. Голод в этом лагере, — как сообщает нам один из лекторов этой школы, — был настолько острым, что не только слушатели, но и лектора нередко принуждены были, как говорили в школе, ходить «пасться» по окрестным полянам: выискивать травы и выкапывать корни, которые почему-то считали съедобными. Несмотря на эти условия, в этом лагере, постепенно подобралась довольно сплоченная группа лекторов, позднее перешедшая в Дабендорф и игравшая большую роль в движении. В эту группу входили ген. Малышкин, ген. Благовещенский и др. (называем имена только погибших), а также Бушманов, бывший коммунист, крупный партийный работник, который в 1944 году организовал «Берлинский комитет ВКП» и пытался выпускать прокламации с при-

зывом к саботажу (он был арестован Гестапо и расстрелян).

Школа в Вустрау преследовала иные задачи. Там была целая сеть школ, — украинская, белорусская, народов Кавказа, народов Средней Азии, Казакии и пр. Русская школа была невелика по размерам и должна была помогать выработке русских пропагандистов и администраторов для оккупированных немцами областей. Надо было, чтобы они твердо стояли на точке зрения Розенберга. Поэтому в школу принимали лишь после особенно тщательного отбора. Тем не менее результаты были далеко не утешительными для Розенберга: огромная часть русских лекторов вскоре «самоопределились», как решительные противники политики Розенберга, — и лагерь стал ареной горячих споров между русскими лекторами и лекторами других национальных групп... Быть может именно поэтому Розенберг так легко согласился ликвидировать свое предприятие в его русской части и передал подобранные им кадры в новую школу...

Дабендорф стал относительно большим центром, со значительным кадром лекторов. Слушателей в школу принимали только после предварительной проверки, для чего существовала особая подготовительная школа в Люкенвальде. Роль этой последней была весьма значительной, особенно в начале. Отбор кандидатов в школу пропагандистов производился на местах, немецким командованием в лагерях. Поэтому очень часто присылали откровенных немецких агентов, людей, служивших в немецкой полиции и т. д. «Власовские» лектора в Люкенвальде должны были знакомиться со слушателями и выбрасывать прочь все такие элементы. В Дабендорф старались допускать только людей, которые были настроены против немцев, которые разделяли задачу создания русского анти-большевистского движения.

Начальником школы с немецкой стороны был назначен кап. Штрик-Штрикфельд; русским ее главою, в звании начальника курсов, в начале был ген. Благовещенский, которого вскоре (приблизительно в апреле) заменил ген. Трухин. Зыков был кем-то вроде политкомиссара школы, совмещая эту работу с работой редактора газеты «Заря», которая была признанным органом движения. Власов формально никакого отношения к школе не имел, но Трухин, признавая его главою движения, никаких мало-мальски значительных решений без него не принимал и обо всем ему докладывал.

Газета «Заря» начала выходить с января 1943 года в качестве газеты для военнопленных, заменив газету «Клич»,

которая велась в откровенно нацистском духе и потому не имела никакого успеха. Первое время, — приблизительно до сентября-октября 1943 года, — «Заря» была поставлена в относительно хорошие цензурные условия. Зыков был в ней почти полным хозяином и поражал всех своей изумительной работоспособностью: в воспоминаниях сотрудников сохранился эпизод, когда Зыков, по какой-то причине оставшийся накануне выпуска очередного номера совсем без сотрудников, в течении 4-5 часов продиктовал все содержание номера от начала до конца: передовицу, «идеологический» фельетон, небольшой рассказик, фронтовой очерк, ряд «писем с мест», хронику, даже шахматную задачу (он был хороший шахматист), крестословицу и т. д. Машинистки менялись, — а Зыков диктовал...

Первые номера газеты, в которых были напечатаны программа и воззвание Власова, вышли огромным тиражом — в 600 тысяч экз. — и были предназначены, главным образом, для разбрасывания с аэропланов за линией фронта. Обычный тираж до осени 1943 года держался в пределах 150—200 тыс. экз.; позднее он понизился до 60—80 тыс. Несколько позднее начала выходить вторая газета движения, «Доброволец», редактором которой был ген. Жиленков. Ее тираж держался на уровне 50—80 тыс. экз.

13

Школа пропагандистов в Дабендорфе быстро стала тем стержнем, вокруг которого сосредоточились как политическая пропаганда, так и организационное строительство «власовского» движения. Формально у этого движения был другой центр — «Русский Комитет», в состав которого в начале 1943 года был введен ряд новых лиц во главе с генералами Трухиным, Жиленковым и Благовещенским. Но этот центр до лета 1944 года существовал только на бумаге. Никем он не руководил, никакой работы не вел. Едва ли даже собирался, — регулярных собраний во всяком случае не было. Главная работа «власовцев», — а часто и вся их работа вообще, — шла в этой школе и вокруг нее. Особенно после того, как в начале весны 1943 года в тот же лагерь была переведена и редакция газеты «Заря».

В отношениях с немецкими властями школа обладала значительной долей независимости. Формально в программе

школы числилось, как тогда говорили, много «обязательного хлама», — предписанного сверху. Но немецкий начальник школы, кап. Штрик-Штрикфельд, сам к этой программе относился без особого уважения и смотрел сквозь пальцы на отступления от нее. Русским руководителям школы была предоставлена относительно большая свобода, — и это привело к созданию в школе порядков, за которые ее скоро прозвали «свободной дабендорфской республикой».

Основное внимание было обращено на изучение современной России и на критику большевизма. Особенно подробно разбирали вопрос о целях движения, — о том, какой должна стать будущая Россия. Часто устраивались дискуссионные собрания, на которых слушатели под руководством преподавателей свободно высказывались на все затронутые темы. Отправной точкой таких дискуссий обычно брали «смоленские пункты» Власова, которые все курсанты знали наизусть. Но эти пункты брали лишь для того, чтобы развязать дискуссию, а совсем не для того, чтобы в их рамки ее втиснуть. Каждый мог поднимать любой вопрос, — а так как слушателей было много (всего через школу прошло около 2-х тысяч человек) и они были выходцами из самых различных социальных слоев населения, часто людьми с богатым жизненным опытом, то такие дискуссии всегда бывали содержательны.

Постепенно подобралась и коллегия преподавателей: в нее входили 5 старших и около двух десятков младших преподавателей. Несколько текучая по составу и не вполне однородная по социально-политическим настроениям, эта коллегия стала центром идеологической работы всего «власовского» движения. Очень скоро на ее собраниях встал вопрос о недостаточности «смоленских пунктов», — о необходимости выработать действительную программу движения и подвести под последнее идеологический фундамент. В ходе обсуждения этих вопросов наметились те группировки, знакомство с которыми необходимо не только для правильного понимания внутренних процессов развития «власовского» движения: еще более важно оно для понимания тех настроений, которые складываются в советской России. Но развертывание этих споров хронологически относится уже к дальнейшим периодам...

Первые месяцы руководителей школы, как и всех руководителей движения вообще, больше всего интересовал вопрос о том, получают ли они возможность развернуть свою деятельность. Настроения многих из них, насколько удастся

установить, были далеки от оптимизма, — особенно в отношении своей личной судьбы. На себя многие из них смотрели, как на обреченных. Один из немногих уцелевших участников ранних споров (еще на Виктория-штрассе) в своих неизданных воспоминаниях упоминает о словах, которые Зыков бросил «в одной из ночных бесед, имевших чисто товарищеский характер»:

«Наши личные шансы я оцениваю невысоко: 30 проц. за то, что нас ликвидируют сами немцы, 30 проц. за то, что мы попадем в руки советов и они гоже с нами не постесняются, 30 проц. за то, что нас повесят англичане или американцы, несмотря на всё наше к ним уважение... 10 проц. я всё же оставляю за то, что мы выйдем сухими из воды...»

Но этот пессимизм в отношении личной судьбы у Зыкова был связан с большим оптимизмом в отношении судеб того движения, которое он пытался создать. Он далеко не был убежден в победе немцев; даже в самые первые месяцы своего появления в Берлине он говорил, что до победы немцам еще далеко, что война затянется на несколько лет. Но он был твердо уверен, что в ходе войны или после ее окончания в России должны произойти большие события, результатом которых будет ликвидация «власти Сталина и его клики». Эти свои надежды он основывал на наличии в России острого недовольства огромных масс населения. Это недовольство не может привести к массовым открытым выступлениям, так как существует крепкий аппарат диктатуры, с одной стороны, и нет центров, вокруг которых могут группироваться недовольные элементы, с другой. Но война, думал он, необходимо поведет к расшатыванию аппарата диктатуры, — а РОД не только создаст такой центр, но и воспитает кадры людей, способных к борьбе. Именно поэтому он был готов идти на самые большие компромиссы с немцами, лишь бы получить возможность вести агитацию среди военнопленных и в оккупированных областях. Что бы потом ни случилось, — говорил он, — а брошенные таким образом семена принесут свою жатву. «Чертенюк в бутылке имеется, — надо только выпустить его на волю».

В этих условиях решение Гитлера, запретившего открытое выступление Власова, особенно волновало Зыкова. Среди других руководителей движения существовала уверенность, что взрыв этого запрета произошел не без прямого участия

Зыкова и кап. Штрик-Штрикфельда, через которого Зыков действовал. Автор уже цитированных неизданных воспоминаний пишет:

«Мы возвращались с одного из просмотров кинофильмов, организованных оберлейтенантом Д. Улицы Берлина были погружены во мрак, среди которого, вычерчивая причудливые зигзаги, то вспыхивали, то гасли электрические фонарики прохожих. Зыков подошел ко мне и сказал:

— Чертик выскочил из бутылки... Пусть попробуют загнать его обратно!

На другой день мы все узнали о совершившемся».

А случилось следующее: немецкие самолеты каждую ночь совершали полеты над советской территорией, сбрасывая там огромные количества воззвания Власова и «смоленских пунктов»,—но однажды вышла «ошибка» и один немецкий самолет, потеряв ориентировку, выпустил свой пропагандный материал над немецкой территорией. Это было не то над Брянском, не то над Смоленском (а, может быть, над обоими этими пунктами) и на утро содержание листовок стало широко известным. Кажется, в Брянске они были перепечатаны группой русских добровольцев, состоявших в каком-то немецком пропагандном отделе, — и ночью расклеены по улицам. Немцы подозревали, что в «ошибке» летчика имелся злой умысел; в кругу «властовцев» в этом были убеждены; тот же автор мемуаров пишет:

«Трудно сказать, когда Зыков и кап. Ш. успели и как сумели завязать необходимые связи для осуществления подобной смелой провокации. Очевидно только, что всё это имело связь с рядом крупных имен, которые впоследствии оказались замешанными в события 20 июля 1944 года. Реальной почвой для осуществления этого акта и дальнейшего развития РОД послужил все более углублявшийся конфликт между немецкой н.-с. партией и военными кругами Германии».

Автор воспоминаний прибавляет, что «с этого момента Зыков и даже кап. Ш. попали под сильное подозрение, — хотя им и не было предъявлено никаких формальных обвинений».

Трудно сказать, в какой мере правильны эти предположения о причинах «ошибки», допущенной немецким летчиком.

Но известную роль она, несомненно, сыграла. Это прямо признает Розенберг в своем письме к фельдмаршалу Кейтелю от 17 июля 1943 года, подчеркивая, что именно благодаря этому, по «оплошности» совершенному, сбрасыванию воззвания Власова на оккупированную немцами территорию, выступление Власова «стало повсюду известно». Розенберг запретил немецкой печати писать об этом факте, но о Власове и о «Русском Комитете» стали говорить все шире и шире, и дальнейшее замалчивание становилось не только трудным, но и вредным для самих же немцев.

Тем временем напор на Гитлера в пользу легализации «власовского» движения всё усиливался — как со стороны Геббельса, так и со стороны немецкого командования. 8 февраля 1943 года Розенберг во время доклада Гитлеру высказался, наконец, в пользу допущения открытого выступления «РОА» под ее освободительными лозунгами, — продолжая только решительно настаивать на недопустимости распространения ее деятельности на другие народности России, кроме великороссов. Повидимому, именно в этот момент свое принципиальное согласие дал и Гитлер, — правда, окончательно похоронив идею издания от его имени особой прокламации к русскому народу.

Именно в этой стадии переговоров в качестве тяжелой артиллерии против Власова со стороны Розенберга и других непримиримых наци был выпущен аргумент еврейский: почему в его заявлениях нет ничего против евреев? С Власовым несколько раз пытались говорить по этому вопросу и раньше, но он неизменно отводил все «благожелательные советы» в этом направлении. Ряд лиц свидетельствует, что в указаниях, которые Власов давал Зыкову относительно начинавшей тогда выходить газеты, он категорически настаивал на недопустимости помещения в ней каких-либо антисемитских выпадов. К более позднему времени (к зиме 1944-45 г.г.) относится рассказ одного профессора (нового эмигранта) об его беседе с Власовым на эту тему, — но беседа эта несомненно отражает позицию Власова, как она сложилась с самых первых шагов по организации движения. В виду важности вопроса, я приведу полностью соответствующее место этого рассказа:

«Для меня, конечно, безразлично, кто со мною сотрудничает, монархист или республиканец, лишь бы он был прежде всего русским, не в расовом, разумеется, смысле, а в государственном,

и принципиальным, бескомпромиссным противником коммунизма. И вы сами можете убедиться в том, что я широко открываю двери всем, кто хочет со мною работать на благо народа. У меня вы найдете и старых эмигрантов, и бывших коммунистов, отряхнувших прах от ног своих, и русских, и армян, и грузин, и татар, — вот только не хватает мне евреев, но это, — он улыбнулся, — не по моей вине. Скажу откровенно, я не разделяю антисемитских увлечений. Это немецкая, а не русская позиция. Мы всегда были терпимы ко всем народностям и в этом наша особенность. Не стоит отрекаться от этого. Между тем, некоторые из нашей среды проявляют легкомыслие. Есть поползновение пустить струю жидоедства в освободительное движение. Я против этого. Однако, вот, не угодно ли полюбоваться. Вы, наверно, уже читали интервью какого-то немецкого журналиста с ген. Жиленковым, шефом нашей пропаганды? Не читали? Глупейшая бестактность. Мне стыдно за него. Я знаю, Жиленков неглупый парень, но у него один грех: алкоголь. У каждого из нас есть свои грехи: у того — женщины, у того — картшки, у того — водка. Жиленков же отменный алкоголик. Не разбавив в компании, пьет с кем попалю. Немцы на этом его и поймали. Наполни и выпытали, а после опубликовали...

«Сколько раз они приставали ко мне, выскажись да и только по еврейскому вопросу в духе Геббельса, а я не так прост, как им кажется. — они нас всех за дураков считают, — изотрез отказался. А у Жиленкова получился сплошной конфуз. Опровергать не станешь, поздно. А что ему сделаешь за такую штуку? По существу, гнать в шею, — но не могу, не самостоятелен еще. Была бы самостоятельность, такие выступления были бы невозможны. Скажу, я выругал его на чем свет стоит. Да что от этого толку? и кто про это знает?

Я, конечно, сам не берусь руководить прессой, но в разговоре с целым рядом журналистов я категорически высказался против каких бы то ни было выступлений в антисемитском духе. Это не по-русски. Разве прилично делать выступления против евреев после проведенного гитлеровцами их физического уничтожения и о предательском отношении к ним советской власти во время войны. Ведь Сталин знал, что немцы готовят евреям в оккупированных областях. Почему же евреев не вывели перед сдачей советских городов? Я считаю, что тактика у Сталина и Гитлера в этом вопросе одна и та же, только Гитлер честнее, если позволено говорить о честности в таком ремесле. В своем

разбое он лествует прямо, а Сталин, как истинный азиат, притворяется другом обреченной им жертвы»*)).

Но отказываясь сам делать заявления по еврейскому вопросу «в духе Геббельса», Власов, конечно, не мог изменить общей атмосферы, которая в тогдашней Германии была насыщена самым махровым антисемитизмом. В феврале-марте 1943 года натиск на Власова по этому вопросу был особенно сильный. В качестве отягчающего момента часто указывали на еврейское происхождение Зыкова. Этому последнего спасал только Геббельс, которому приписывали фразу: «Позвольте мне знать, еврей он или нет. Сейчас он нам нужен, — и он будет продолжать свою работу». С легкой руки Геббельса многие говорили: «он слишком умен, — пусть пока работает». Но разговоров всё же было очень много. Один из молодых профессоров, киевлянин, стоявший тогда близко к «власовскому» движению, вспоминает:

«Противники «власовского» движения в министерстве пропаганды, у Розенберга и в главной квартире С. С. больше всего упирали на сдержанность Власова в еврейском вопросе. Я лично много раз слышал от достаточно высоко поставленных немецких чиновников такую фразу: чего ждать от Власова, когда у него политическим советником еврей?»

В этих условиях Власову в начале марта было сообщено, что министерства пропаганды и министерство Розенберга желают иметь с ним встречу для окончательного выяснения его позиции по еврейскому вопросу. Уклониться от этой беседы было нельзя: это значило бы похоронить все надежды на легализацию движения. Сам Власов принять в ней участие все же отказался, поручив это дело Зыкову и Малышкину. Упомянутый выше молодой профессор-киевлянин играл во время этой встречи роль переводчика и в письме к автору этих строк передает следующие о ней подробности:

«Со стороны министерства пропаганды присутствовали г.г. Хумпф и Шницлей, от Русского Комитета — ген.-м. Малыш-

*) Ср. Усов: «Кто такой генерал Власов?», — «Россия», Нью-Йорк, от 4 августа 1948 года (мелкие разночтения объясняются тем, что воспоминания эти нами цитируются по копии, присланной из Германии). — Интервью Жиленкова, о котором говорит Власов, было напечатано в декабре 1944 года в «Фолькише Беобахтер».

кин и Зыков. Перед этой встречей я два раза специально беседовал с Зыковым и Малышкиным. Мы тогда выработали следующую формулу: «Евреи не являются одним из народов России, и потому Комитет их не представляет». Формула эта звучит довольно нелепо, но если представить себе обстановку в тот момент и условия работы с немцами, то станет понятно, что ничего иного сказать тогда было нельзя. В той или иной форме эта фраза позднее приводилась всегда, когда немцы заводили разговор на эту тему. Творцом этой формулы был Зыков».

Эта формулировка была недостаточна для наци, — но она и так шла дальше, чем то считал допустимым Власов. Зыков доказывал необходимость быть дипломатами и подчеркивал, что нет никакого основания надеяться на согласие немцев на выступление РОА с лозунгами, прямо противоречащими общей политике наци в еврейском вопросе. Максимум, чего можно было, по его мнению, добиться — это дать такую формулировку, которая ставила бы «Русское Освободительное Движение» вне рамок спора. Повидимому, это было понято и в немецких кругах, которые сочли возможным удовлетвориться вышеприведенной формулировкой.

15

В конце марта 1943 года последовало, наконец, решение немецких высших инстанций допустить открытое выступление Власова. Его воззвание было опубликовано в печати (текст «смоленских пунктов» был опубликован только в конце мая — начале июня), а сам он, по приглашению командования северным немецким фронтом, получил возможность посетить Ригу, Смоленск, Псков и ряд других городов и сел и выступить там на народных собраниях. Нам, к сожалению, не удалось найти газетных отчетов того времени об этих выступлениях, но в нашем распоряжении имеются записи рассказов ряда людей, которые в свое время присутствовали на такого рода собраниях. Все они в один голос говорят, что выступления Власова производили огромное впечатление своей независимостью. Выступая в Риге в театре, он открыто отклонил предложение сделать перевод его речи на немецкий язык, заявив, что говорит для русской аудитории, — и это в то время, когда в партере сидел чуть ли не в полном составе штаб немецкого командования. Выступая в Гатчине, он говорил, что будущая освобожденная от большевиков Россия рада

будет приветствовать немцев в Петрограде, как своих гостей, — в то время, как немцы всё еще уверяли, что Ленинград они не берут исключительно потому, что не хотят брать на себя обузу кормления голодного населения. Наиболее подробный рассказ о тогдашних выступлениях Власова имеется в неизданных воспоминаниях одного псковского журналиста, который написал нечто вроде летописи псковских событий за период немецкой оккупации. Сторонник «власовского» движения, автор дает, конечно, свое освещение всех событий того времени. Но его рассказ весьма интересен, ибо он показывает, как выступления Власова воспринимались «власовцами» в глухой провинции, — что именно в этих выступлениях вербовало ему сторонников.

Выступление Власова в Пскове состоялось в самом начале мая. Большой зал театра, вмещавший свыше 2-х тысяч человек, был переполнен. Приехало много крестьян из подгородных деревень, — и многие не могли попасть, на улице стояли толпы. Сцена была украшена немецкими и русскими трехцветными флагами. Речь Власова слушали с напряженным вниманием.

«Ценность речи генерала, — пишет псковский летописец, — заключалась в том, что он говорил о всех вещах совершенно по-новому для псковичей. Он говорил то, что думал каждый настоящий русский. — и так, как об этом нужно было говорить, обращаясь к русскому населению, а не так, как о подобного рода вопросах «изъяснялась» немецкая пропаганда. В своей речи генерал коснулся всех основных вопросов РОД, уделив должное внимание и вопросу борьбы с большевизмом, и вопросу сотрудничества с немцами, и вопросу государственно-политического и хозяйственного устройства новой России».

Выступление Власова привело немцев в большое смущение. Автор воспоминаний писал отчет об этом выступлении для псковской русской газеты, — в печати он не узнал написанного: «цензура и усердные редактора (немцы) так его исковеркали, что я, признаться, был рад, что отчет появился без подписи».

Кроме Пскова, Власов выступал в ряде уездных городов и больших сел области, — преимущественно перед крестьянами. Псковский летописец подводит следующие итоги этой поездки:

«Поездка ген. Власова по городам и селам оккупированных областей России имела огромный успех. Даже самые большие

оптимисты были потрясены приемом, который оказывали генералу Власову простые рабочие и крестьяне. Поездка доказала, что русский народ в своем подавляющем большинстве настроен резко враждебно к большевизму, что он готов идти за ген. Власовым, признавая его своим идейным, политическим и военным руководителем в борьбе с большевизмом. Однако, в этих народных демонстрациях доверия к ген. Власову, было нечто, что встревожило и напугало немцев. Во всех заявлениях, во всех декларациях, красной чертой проходило ярко выраженное стремление вести борьбу против большевизма собственными силами. Ни слова о «фюрере Великогермании», ни слова о «великом германском народе», протянувшем «братскую руку помощи» мученикам большевизма. От помощи немцев никто не отказывался, однако, ясно чувствовалось, что в прочих отношениях немцы для русского народа интереса не представляют. Немцы почувствовали в этих речах и заявлениях опасность того, что антибольшевистское РОД может стать и антинемецким. Видимо этим следует объяснить тот факт, что вместо всеми ожидаемых дальнейших решительных шагов со стороны немцев в области разрешения наболевшего «русского вопроса», РОД после поездки генерала Власова не только не получило дальнейшего размаха, а, наоборот, как-то непонятно для широких русских слоев застыло на одном месте. Вернее, оно развивалось и ширилось, но это происходило только за счет инициативы самого русского населения, без поддержки со стороны высших организаций».

Этот рассказ, конечно, дает идеализированную картину. Настроение населения в Псковской области, — особенно в деревнях, — к маю 1943 года было уже далеко не единодушным. Большевики играли на антинемецких настроениях населения, умело пользовались карательными мероприятиями немцев для возбуждения партизанского движения и старательно переводили последнее в русло подлинной гражданской войны внутри деревни — против противников колхозов. И тем не менее в основном рассказ псковского летописца несомненно правилен. Этот вывод заставляют сделать бесспорные факты: реакция немцев на пропагандистское турне Власова. Эта реакция была вполне определенной: из упомянутой выше истории «власовского» движения, составленной для нужд немецкого командования Лабсом, мы знаем, что Гитлер отдал распоряжение отозвать Власова с фронта, а затем запретить ему вообще пропаганду на оккупированных территориях России. Отзыв с фронта произошел в середине мая 1943 года, а

10 июня Кейтель сообщил Розенбергу о запрещении Гитлером пропагандистской деятельности Власова на занятых немцами территориях. В это же время представитель Розенберга на заседании «Русского Комитета» от 26 мая 1943 года сделал заявление, что Гитлер «в высшей степени скептически» смотрит на попытки развернуть деятельность этого Комитета.

Уступив временно в этом вопросе, Розенберг теперь брал реванш. В одном только вопросе он считал нужным учесть опыт борьбы вокруг «власовского» предприятия: 3 июня 1943 года была издана особая декларация о ликвидации колхозов и введении частной собственности на землю. В течении почти двух лет Розенберг упорно держался за колхозы, рассматривая их, как наиболее выгодную для немцев форму извлечения хлеба из русской деревни. Теперь он согласился изменить политику, рассматривая частную собственность на землю, «как средство успешно поддержать борьбу на фронте с помощью пропаганды отвечающей крестьянским инстинктам народов Востока» (из письма Розенберга к Кейтелю от 17. июня 1943 года).

16

Очень сложным был вопрос о военных формированиях РОА. Для немецкого военного командования он был основным во всем предприятии; огромное значение ему придавали и руководители «власовского» движения. Но подходили они к нему с разными требованиями.

Первое время руководители движения конкретно думали только о создании кадров офицеров-пропагандистов. Перед каждым, кто прошел курсы в школе, ставили вопрос о вступлении в РОА. По существу, это был лишь формальный вопрос, так как в школу шли только те, у кого решение идти в РОА уже созрело. Тем не менее каждый окончивший школу имел право от вступления в РОА отказаться. Если же он давал согласие, то он должен был подписать торжественное обязательство, — своего рода клятву; текст этого обязательства гласил:

«Я вступаю в Русскую Освободительную Армию для борьбы против Сталина и его клики за светлое будущее русского народа. Вместе с германским, русский народ свергнет ненавистный большевизм и создаст в своей стране справедливый порядок».

После этого его имя вносилось в списки чинов РОА и ему вручалась членская книжка этой армии, за соответствующим номером. Эта книжка была напечатана на немецком и русском языках, и в ней, помимо всего прочего, стояли сформулированные в четырех пунктах «цели движения»; пункты эти были следующие:

- «1. Земля крестьянам.
2. Хорошо оплачиваемая работа для рабочих.
3. Национальная независимость русского народа, как равноправного члена семьи народов России.
4. Новая Россия без большевиков и капиталистов»*).

Эта последняя формула, — «без большевиков и капиталистов», — была предложена тем же Зыковым, принята после долгого обсуждения и стала одной из важнейших агитационных формулировок движения. Около этого же времени она появляется и в тех обобщенных требованиях, которые стали предпосылать «смоленским пунктам»; эти обобщенные требования гласили:

- «1. Уничтожение большевизма и в частности Сталина и его клики.
2. Заключение почетного мира с Германией.
3. Создание в сотрудничестве с Германией и нациями, борющимися за новый порядок в Европе, Новой России без большевиков и капиталистов».

Обе эти краткие редакции требований «власовского» движения крайне важны для историка: они не только были распространены в огромных количествах экземпляров, но и играли главную роль во всей устной пропаганде.

Указанная работа по формированию кадров РОА шла,

*) Оба последние документы нами даются в обратном переводе с английского, — по тексту, который напечатан в «News Digest» (информационный бюллетень, который в годы войны издавался в Лондоне британским министерством информации) от 11 мая 1943 г.

*) Берем эти пункты в редакции, которая опубликована в ном. 57 «Парижского Вестника» от 12 июня 1943 года. По содержанию, они полностью совпадают с тем вариантом, который дан в ном. 2 белградского «Русского Дела» от 13 июня 1943 года (небольшие стилистические расхождения объясняются тем, что текст «Русск. Дела» является обратным переводом с немецкого).

конечно, очень медленно, но вела к созданию действительно устойчивого ядра. Решение немецкого командования об открытом выступлении Власова перенесло вопрос в совсем иную плоскость. Вначале немцы не только настаивали на открытой вербовке добровольцев, но и старались рекламировать РОА, перечисляя в нее уже существовавшие в немецких армиях русские добровольческие соединения. Перечисления эти носили исключительно внешний характер: делали новые нашивки на рукава, но существа положения этих частей не меняли. Командование оставалось в немецких руках, — как на местах, так и в центре (несколько позднее было создано общее командование для всех русских добровольческих соединений, — и во главе его был поставлен немец, ген. Кестринг, бывший военный атташе в Москве). Власову эти части ни в каком отношении подчинены не были, — ни в оперативном, ни в административном. Ему часто даже не сообщали, что данная часть получила наименование части РОА, — и ни он, ни «Русский Комитет» не имели точного представления, где именно и какие части РОА находятся, как много в них числится людей и т. д. О ведении списков личного состава, конечно, не приходилось и думать, — тем более о подписях под торжественными обязательствами и о вручении личных членских книжек.

Правда, почти всегда в каждой такой части находились люди, разделявшие взгляды руководителей «власовского» движения, — и эти люди разными путями находили возможность вступить в сношения с Власовым. Но эти сношения носили почти частный характер. Их использовали для распространения литературы, посылали в такие части организаторов-пропагандистов, которые закрепляли связи, оформляли их, — но только в плоскости организационно-политической. Ни одного приказа по РОА до конца 1944 года Власов издать не мог — не имел на то никакого права. «Власовской» армией люди, носившие на рукавах нашивку РОА, ни в какой мере не были. Формальное зачисление их в РОА на деле означало начало борьбы за создание последней.

В период поездки Власова на северо-восточный фронт в «Русском Комитете» родился проект другой поездки его представителей, — на этот раз на Запад, в Бельгию и Францию, с

целью установить сношения со старой эмиграцией и ознакомить ее с программой и характером движения.

Вопрос об отношении к старой эмиграции в кругу руководителей «власовского» движения вставал неоднократно, но не вызывал большого сочувствия. Отношения со старой эмиграцией не налаживались. В частности, определенным противником ее был Зыков. Причина была не в том, что «власовцы» были сторонниками участия в вооруженной борьбе против большевиков рука об руку с немцами. Старая эмиграция, которая была видна на поверхности гитлеровской Германии, сама полностью поддерживала Гитлера в его походе.

Ее возглавлял ген. Бискупский, которого тесные узы политической и личной дружбы связывали с самим Гитлером, Розенбергом и др. еще с начала 1920 года, когда в его вилле под Мюнхеном находили дружеский прием многие пионеры нацизма. В минуты откровенности Бискупский сам рассказывал, что ему пришлось скрывать Гитлера в первые дни после мюнхенского путча 1923 года. По его словам, его жена должна была тогда заложить свои драгоценности, чтобы достать деньги на побег Гитлера. Гитлер таких вещей не забывал и в 1933 году дал свое согласие на предложение Розенберга назначить Бискупского на пост вождя всей русской эмиграции в Германии. В помощники Бискупский взял Таборицкого и Шабельского-Борка, которые в 1922 году организовали покушение в Берлине на Милюкова и убили при этом Набокова. За истекшие с тех пор годы Таборицкий совсем онемечился, носил мундир офицера СС и избегал говорить по-русски. Именно он вел картотеку русской эмиграции, т. е. занимался политическим за нею наблюдением. Работая в подчинении у Розенберга, Бискупский и его помощники, естественно, проводили политику Розенберга и были решительными противниками «власовского» движения. Молодой советский военный врач, который долгое время был чем-то вроде чиновника для особых поручений при Власове, рассказывал автору этих строк, что во время своего объезда Германии летом 1943 года во всех провинциальных отделениях управления по делам русской эмиграции он видел на стенах приказы Бискупского, запрещавшего русским эмигрантам какое бы то ни было участие во «власовском» движении, которое квалифицировалось как подозрительное по симпатиям к демократии.

Враждебную к «власовцам» позицию занимало и «Новое Слово», — единственная газета на русском языке, выходившая в Германии (если не считать «Жидоеда», нерегулярно выхо-

дившего русского приложения к «Штюрмеру»; редактором этого приложения был Марков 2). За всё время до лета 1944 г. она напечатала только одну заметку о «власовском» движении, — краткие выдержки из первого воззвания Власова, что вызвало недовольство Розенберга. После этого газета предпочитала о движении вообще ничего не писать, даже не давать хроникерских заметок.

Была только одна группа старой эмиграции, которая вошла во «власовское» движение и сыграла весьма значительную роль в его истории, — это был «Национально-Трудовой Союз Нового Поколения», ныне называющий себя «русскими солидаристами». Об этой организации речь будет в дальнейшем. Очень похоже, что именно этой организации принадлежала идея открытого выступления «власовцев» перед аудиторией старой эмиграции. Конечно, реализован этот план мог быть только с согласия соответствующих инстанций, т. е. военного командования, с одной стороны, и министерства пропаганды, с другой. Состав «делегации» был подобран полковником Мартином, — в нее вошли ген.-м. Малышкин, поручик Давиденков и кап. Белов. Последний, старый эмигрант, никакой роли во «власовском» движении не играл. Поручик Давиденков, в прошлом студент Ленинградского университета, пошедший в 1938 году в ссылку по одному делу с сыном Гумилева (это ему принадлежат воспоминания о последнем в «Парижском Вестнике» за подписью Анин), вскоре после поездки в Париж порвал с «власовским» движением и ушел в лагерь казаков-«самостийников», к атаману Краснову; выданный в 1945 году большевикам, он в настоящее время находится, повидимому, на Колыме. Таким образом, авторитетным представителем «власовского» движения в делегации был только Малышкин.

Центральным моментом всей поездки был большой митинг в Париже, в зале Ваграм, 24 июля 1943 года, под председательством Жеребкова, который выполнял в Париже функции Бискупского, но подчинен был не Розенбергу, а Гиммлеру и Геббельсу. Выступление на этом митинге ген. Малышкина произвело сильное впечатление даже на демократические круги русской эмиграции, стоявшие в непримиримой оппозиции к немцам. Об этом впечатлении очень интересно рассказал В. А. Маклаков в частном письме к автору этих строк (печатаю отрывок, — конечно, с разрешения В. А. Маклакова):

»Я сам на собрании, где выступал Малышкин, не был и сужу

о нем по рассказам многих, кто на нем присутствовал. Для них в этом выступлении было нечто неожиданное. Все мы считали Власова человеком, который себя продал Германии и ей помогает против России. Таким был сам Жеребков во всех его выступлениях, где он доказывал, что Гитлер лучше русских знает, какой порядок нужно будет ввести в России. Было назначено собрание под председательством этого Жеребкова, на котором должны были выступить «власовцы». Все ожидали, что они будут говорить, как Жеребков. И вдруг на этом собрании Малышкин сказал, что Россия ничьей рабой не будет, что она заведет у себя свои порядки, какие она считает правильными, и что те, кто хочет покорить ее иностранцам, очень ошибутся. Эти неожиданные слова отлекли внимание от той казенной гитлеровской рамки, в которой они появились. Произвели впечатление только они. В отчете «Парижского Вестника» всё было смягчено, но сущность осталась. Но на собрании, по отзывам даже тех, кто пришел заряженным против Власова, это произвело впечатление бомбы. Сторонники Жеребкова были смущены. Многие срывались с места, подходили к нему и в чем-то убеждали. Он от них только отмахивался и дал Малышкину договорить. Возможно, что он имел инструкции и что всё было подстроено с ведома Гитлера. Тем не менее впечатление было огромное, и немедленно пошли слухи, что Малышкина арестовали.

Согласия Гитлера на такое выступление Малышкина не имелось, — но за спиною последнего действительно имелась большая поддержка, которая и сделала возможным его выступление. Это была поддержка Геббельса и его представителей в Париже, которые лично присутствовали на митинге. В отчете «Парижского Вестника» речь Малышкина занимает почти полностью две полосы, — она действительно очень интересна для понимания «власовского» движения.

В ней очень много места уделено вопросам внешней политики — русско-германским отношениям. Малышкин говорил, что «гитлеровская Германия теперь поставлена в такое положение, что на ее стороне сгруппированы все прогрессивные силы в борьбе против большевизма». Он настойчиво подчеркивал, что «победа вооруженных сил Германии является вместе с тем и нашей победой». Для него эти мысли — лишние аргументы в пользу необходимости «создания союза между двумя великими народами — германским и русским». Аргументы, которые он приводил в пользу этого союза, свидетельствуют, что он знаком не только со старыми апологетами этой

политики, которая в немецкой литературе известна под именем бисмарковской концепции (это против нее так сражался Гитлер в «Майн Кампф»), но и с новейшими писателями, защищавшими ту же идею геополитическими аргументами. В частности, явственно проступает влияние Вальтера Шубарта (он даже упомянул это имя, — только в отчете стоит не Шубарт, а Шильдер), книга которого «Европа и душа Востока» появилась в 1938 году в Швейцарии и оказала большое влияние на консервативные круги немецкого общества. Произвела она впечатление и на некоторые части русской эмиграции; выдержки из нее как раз в 1943 году были изданы нелегально по-русски, — переводчиками и издателями были «солидаристы». Именно по этим выдержкам, несомненно, Малышкин и был знаком с идеями Шубарта.

С точки зрения этой основной концепции Малышкин критикует немецкую политику, которая в 1941 году не сделала того, что нужно было сделать, чтобы убедить русский народ, «что немецкая армия воюет только против большевизма, а не против русского народа». Малышкин заявлял: «Никогда Россия рабской страной не была, она никогда не была колонией и не будет». Чтобы понять всё значение этих слов, необходимо вспомнить, что это говорил военнопленный...

Не менее определенную позицию занял Малышкин и в вопросах внутренней русской политики. «Власовское» движение, по его определению, является «логическим развитием тех событий, которые начались в 1917 году в виде подлинной народной революции» (курсив здесь и в дальнейшем — «Пар. В.»). В октябре 1917 года русский народ оказался обманутым, его совлекли с правильного пути — но «освободительное движение должно довершить ту национальную революцию, которая была начата в 1917 году».

Обращаясь к представителям старой эмиграции, Малышкин говорил, что в ее среде имеются люди, которые мечтают о «реставрации царской, дворянской, помещичьей России». Это — наивная и вредная утопия. «История вспять не поворачивает». «Возврата к прошлому быть не может». Своих взглядов на будущее устройство России Малышкин не развешивает; об этом, говорит он, «мы пока не имеем возможности заявить». Но «когда придет время, мы об этом скажем». Пока же Малышкин подробно излагает и обосновывает те три обобщенных пункта «власовской»

программы, которые приведены в предыдущей главе, и кратко перечисляет 13 пунктов «смоленской программы» Власова.

Необходимо отметить, что особый отдел своей речи Малышкин посвящает РОА и подчеркивает, что «Русской Освободительной Армии, как таковой, т. е. полностью, с русским командованием, русским военным центром и т. д.» не существует. Малышкин доказывает, что это весьма вредно с точки зрения интересов борьбы против большевизма и уже приводит к печальным результатам.

Каждый, кто ознакомится с этой речью в целом, не может не признать правильность рассказа В. А. Маклакова: речь не могла не произвести впечатления бомбы. Она была сказана человеком, который, правда, полностью защищал идею совместной с немцами борьбы против большевистской власти и был сторонником далеко идущего союза «двух великих народов — германского и русского», — но который пытался защищать национальные интересы России и оставаться демократом: стоял на почве февральской революции и решительно боролся против реставраторов. Это сильно отличало его речь от речей других ораторов, выступавших на митинге. Все они произносили прямо про-гитлеровские речи, у Малышкина была только «казенная гитлеровская рамка». Сама же речь Малышкина была настолько ярка и определена, что она, как правильно указывает В. А. Маклаков, заставляла забывать об этой рамке. И именно эта речь правильно отражала действительные настроения руководящей группы «власовского» движения: за это говорят все подлинные документы о предшествующих этапах последнего, которые опубликованы выше, — и подлинные же документы об его дальнейших этапах, которые будут опубликованы в следующем очерке.

18

Таковы были содержание и подлинное значение речи Малышкина. Но в полемической литературе последних месяцев эта речь приводилась как доказательство наличия во «власовском» движении элементов антисемитизма. В виду важности вопроса разберем подробнее этот аргумент: можно по-разному расценивать значение «власовского» движения, — но факты, на основании которых делаются выводы, должны быть точно проверены.

В отчете о парижском выступлении Малышкина, как оно передано «Парижским Вестником», действительно, имеются три места (точнее: ровно три слова), которые дали основание для разговоров об его антисемитизме. Весь вопрос в том, были ли эти слова действительно произнесены Малышкиным или они вписаны в отчет об его речи антисемитской редакцией «Парижского Вестника»? Прямой ответ на этот вопрос можно было бы дать, если бы мы располагали точной стенограммой этой речи. Такой стенограммы, к сожалению, не существует. Но имеется достаточно много оснований, чтобы взять под сомнение правдоподобность этих мест отчета «Парижского Вестника». Исторической науке часто приходится иметь дело с важными, но спорными документами, — и она выработала ряд приемов критической их проверки на основании косвенных признаков.

Первым в таких случаях ставится общий вопрос: в какой мере данный источник заслуживает доверия вообще? Защитники Малышкина, — как, например, редакция «Борьбы», — утверждают, что «Парижский Вестник» вообще искажал печатавшиеся в нем материалы, придавая путем вставок от себя («интерполяции») «коричневую», нацистскую окраску документам, которые в действительности такой окраски не имели. Обосновано ли это утверждение? Можно ли доказать, что «Парижский Вестник» к таким приемам действительно прибегал?

На этот вопрос мы имеем возможность ответить категорическим «да». К такому приему «Парижский Вестник» действительно прибегал. Один пример: в передовой статье номера от 20 марта 1943 года (это тот самый номер газеты, в котором напечатаны выдержки из первого воззвания Власова) дана цитата из воспоминаний Седерхольма о скитаниях по советским тюрьмам. Седерхольм рисует кошмарную обстановку увоза из одной тюрьмы людей, назначенных к расстрелу. В этой цитате имеется фраза, которая придает антисемитскую окраску всему рассказу, — в котором без нее ничего антисемитского нет. Вот эта фраза: «Во главе ГИУ тогда стоял иудей Ягода». Фраза эта дана, как составная часть общей цитаты из книги Седерхольма, — внутри общих кавычек. Но каждый желающий легко может удостовериться, что в книге Седерхольма ни этой фразы, ни вообще антисемитских выпадов не имеется.

Должен добавить, что сомневаться в применении антисемитами подобных приемов могут лишь люди, незнакомые с их писаниями. Автор этой статьи в 1934-35 гг выступал в качестве русского эксперта-свидетеля на известном процессе в Берне по вопросу о подложности «Протоколов Сионских Мудрецов» (вместе с Бурцевым, Милоковым и Сватиковым) и в этой связи вынужден был довольно подробно ознакомиться с мировой антисемитской литературой. Изучение этой литературы привело меня к выводу, что метод «интерполяции» антисемитских фраз в цитаты из авторов, чуждых антисемитизму, было обычным приемом новейших антисемитских писателей, — начиная от Дрюммона и Нилуса и кончая полковником Фляйшхауэром, главным антисемитским экспертом на указанном процессе. Из этого, конечно, не следует, что все цитаты этих писателей фальсифицированы, но опыт учит, что ни одной из приводимых ими цитат нельзя верить без тщательной проверки. «Интерполяции» — не индивидуальная особенность того или иного антисемитского писателя. Про этот прием с полным правом можно сказать, что он был видовой особенностью всей группы писателей этого лагеря. «Парижский Вестник», когда он применял этот прием, только поддерживал своего рода семейную традицию...

Итак, «Парижский Вестник» прибегал к «интерполяциям». Поэтому утверждение, что он применил этот прием к речи Малышкина, не содержит в себе ничего невозможного. Но на этом не следует обрывать анализ. Посмотрим, какие точно антисемитские места имеются в речи Малышкина по отчету «Парижского Вестника»?

Наиболее бросающейся в глаза является фраза, якобы сказанная Малышкиным, о том, что целью «власовского» движения является «построение Новой России без большевиков, жидов и капиталистов». Правдоподобно ли приписывание Малышкину этих слов? Читатель, ознакомившийся с приведенными выше документами, конечно, помнит, что среди ударных лозунгов «власовцев» имелся и лозунг, содержащий эти слова, — только без вставки «жидов». Официальные документы «власовцев как раннего, так и позднего периода одинаково говорят о «Новой России без большевиков и капиталистов». Это был один из наиболее излюбленных их лозунгов, — и в частности зал Ваграм в Париже, когда в нем выступал Малышкин, был убран транспарантами с надписью: «Против Сталина, за мир, за Новую Россию, без большевиков и капи-

талистов». Слово «жид» этих транспарантов не пачкало (см. отчет о митинге в том же «Парижском Вестнике» от 31 июля 1943 года). Правдоподобно ли, что Малышкин, который принимал активное участие в формулировке этого лозунга, счел необходимым в своей речи внести в него столь существенное «исправление»?

Психологически это было бы понятно только в одном случае: если бы в лице Малышкина мы имели дело с таким закоренелым антисемитом, который считал бы необходимым при всяком удобном и неудобном случае выступать с антисемитскими заявлениями, — даже ценой исправления официальной программы того движения, одним из наиболее видных представителей которого он был. Но в таком случае он не мог бы ограничиться вставкою одного ничем не мотивированного слова, а попытался бы дать то или иное обоснование этой вставки. Он необходимо должен был бы ввести в свою речь какую-либо антисемитскую мысль, — развернуть ее в одной или нескольких фразах.

Не следует забывать: подлинные антисемиты имеют свои аргументы и вовсе их не скрывают. Особенно не скрывали они их в оккупированных Гитлером странах летом 1943 года. Эти аргументы вздорные с нашей точки зрения, но они оказывают влияние на аудиторию известного типа. Если бы Малышкин был настолько антисемитом, что считал бы необходимым исправлять официальную программу «власовцев», какие соображения могли бы заставить его воздержаться от приведения соответствующих аргументов? А между тем и в двух других случаях отчет «Парижского Вестника» приписывает Малышкину не антисемитские мысли, а только отдельные слова, вставленные во фразы, которые сами по себе антисемитскими не являются: в одном случае его заставляют говорить, что в октябре 1917 года народ был обманут не просто кучкой большевиков, а «кучкой жидов и большевиков»; в другом — режим, который в России установлен, определен не как просто большевистское, а «иудо-большевистское иго». Это — всё, что имеет антисемитский налет в речи Малышкина по отчету «Парижского Вестника». Он довольно подробно говорит и о большевистской революции, и о порядках, которые существуют под большевиками; критикует ряд сторон советского строя; в частности, говорит о национальном вопросе, защищая право наций на самоопределение, и т. д., — и ни в одном случае не вводит в свои рассуждения ни одного из ходячих антисемит-

ских аргументов. Он, правда, не подчеркивает особо, что требование национального самоопределения относится и к евреям. Но он ни намеком не вводит для последних каких-либо ограничений... Похоже ли это на речь закоренелого антисемита? К этому надо добавить, что в распоряжении автора этой статьи имеются сообщения людей, которые присутствовали на митинге 24 июля 1943 года и которые утверждают, что в своей речи Малышкин вообще ни разу не упомянул о евреях.

После всего сказанного читатель может сам судить, в какой мере можно доверять в данном пункте свидетельству «Парижского Вестника» — органа, о котором документально установлено, что он заведомо занимался вписыванием антисемитских фраз в цитаты из писаний честных людей.

Поведение редакции «Парижского Вестника» в конечном счете легко понять. Жеребков сделал ставку на «власовское» движение, опираясь на поддержку представителей Геббельса, но вел всё время вполне определенную линию: причисывал «власовцев» под ту мерку, которая нравилась Геббельсу. Речь Малышкина их не могла не напугать: В. А. Маклаков рассказывает, что немедленно же после собрания по Парижу пошли слухи об аресте дерзкого оратора. Нам сообщают некоторые подробности: еще во время собрания Малышкина предупредили, что некоторые из представителей Розенберга и Гиммлера, присутствовавших на собрании, немедленно после окончания его речи помчались на прямой провод, чтобы сделать доклады в Берлин. Уходя они не скрывали, что будут добиваться ареста Малышкина: выступление его они расценивали приблизительно так же, как его, по сообщению В. А. Маклакова, расценивали едва ли не все, кто присутствовал на собрании, — а именно прежде всего как анти-нацистское и про-русское.

Малышкину был дан совет немедленно же уехать в Берлин, — что он и сделал. Всю ночь до отхода поезда он просидел у знакомых, — в разговорах и воспоминаниях. Арест его не пугал. Он рассказывал, что и он лично, и все другие зачинатели движения с самого начала примирились с возможностью не только ареста немцами, но и гибели, — что они вообще считают себя людьми обреченными, которым не удастся живыми выскочить из начавшейся переделки. По его словам, их всех заботило другое: удастся ли дать необходимый начальный толчок движению, — удастся ли с нужной полнотой развернуть его знамя? Рассказы об этих замечаниях Ма-

лышкина так точно совпадают с идущими от совсем других людей рассказами о настроениях Зыкова (они приведены выше), что сомневаться в их правильности нет никакой возможности... Митинг в зале Ваграм именно потому радовал Малышкина, что он смог на нем развернуть знамя движения, — и он всё спрашивал, достаточно ли в его речи были подчеркнуты такие-то и такие-то моменты... Добавим, что приказ об аресте был действительно отдан, но он уже не застал Малышкина в Париже, — а в Берлине «дело Малышкина» вошло составной частью в большое «дело РОД»...

В этой обстановке Жеребков и редакция «Парижского Вестника» сделали то, что они только и могли сделать: постарались так подать читателям речь Малышкина, чтобы она была возможно менее неприемлема для наци, т. е. выкинули из нее наиболее острые места и вставили слова, придававшие ей антисемитский оттенок...

Б. И. Николаевский

(Продолжение следует).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ *)

Пролетарский суд

Несмотря на то, что мы ехали довольно долго и было время для того, чтобы упасть духом, слушая причитания вконец расстроившегося Бориса, я вылез из «ворона» во дворе суда в самом оптимистическом настроении. Хорошо зная Ленинград, я легко узнал в здании, окружавшем наш двор, часть бывшего Главного Штаба. Меня, вообще говоря, могли судить только в двух местах, — или в Специальной Коллегии Областного Суда на Фонтанке, или в Трибунале Военного Округа, в помещении Главного Штаба. Военный Трибунал мог судить меня потому, что он часто рассматривал дела по обвинению в шпионаже, независимо от того, были ли обвиняемые военные или штатские. Трибунал считался судом более строгим, хотя и Спецколлегия очень часто выносила смертные приговоры. Поэтому, прибытие в Главный Штаб было уже само по себе дурным признаком, но то ли солнечный день и обстановка, несхожая с тюремной, то ли какие-то неосознанные надежды, то ли еще что-нибудь, но я чувствовал себя великолепно, разве что с небольшим нервным подъемом.

Нас быстро провели в здание, и после недолгого блуждания по корридорам, заперли за решетку, разделявшую на две половины довольно просторную и светлую комнату. На другой половине стояли «на караул» два бравых молодца в форме войск НКВД.

Борис был мрачен, как туча, скулил, и на все обращения к нему сердито огрызался. Владимир принял нелепый, ненатурально веселый вид и своим отвратительным голосом напевал какие-то пошлые арии из опереток.

Ждали мы довольно долго. Пришел какой-то солдат и принес нам на блюде по паре бутербродов с колбасой, по яблоку и по стакану чая. Так как Борис был в расстроенных чув-

*) Отрывки из ненапечатанной книги. Книга В. Петрова принята к изданию на английском языке (Ред.).

ствах, а Владимир делал вид, что он только что пришел с парадного обеда, я спокойно уничтожил все три порции.

Не успел я дожевать последнее яблоко, как открылась входная дверь и в камеру вошел караул: два лейтенанта и три солдата. Отперев нашу решетку, один из лейтенантов потребовал наши копии обвинительных заключений, а затем приказал нам выйти. Он построил нас в колонну: впереди я, потом солдат с винтовкой, потом Борис, потом опять солдат, потом Владимир, развязно засунувший руки в карманы, и опять солдат. Затем он вытащил из кобуры наган и, громким голосом предупредив нас, что при попытке бежать мы будем застрелены на месте, стал во главе колонны, другой лейтенант — в конце шествия, и мы двинулись в путь.

Я полагаю, что со стороны это выглядело довольно торжественно. Мы шли по длинным, запутанным корридорам, полным разной публикой, как военной, так и штатской, и все испуганно смотрели на нас, но смотрели не прямо, а украдкой; как видно, на этот счет здесь существовали особые инструкции.

Минут через пять мы пришли в большую, пустынную комнату, с закрашенными окнами. В одной стороне комнаты было устроено возвышение, на котором стоял стол, покрытый красным сукном. Прямо перед столом, внизу, стояли три стула, на которые нас усадили, меня — в середину, Бориса справа, а Владимира — слева от меня. Сзади нас вытянулись и замерли три солдата с винтовками в руках. Лейтенант, не выпуская нагана из рук, еще немного повертелся, потом, решив, видимо, что приготовления к спектаклю закончены, куда-то убежал. Другой лейтенант остался сторожить двери снаружи. Сидим, ждем продолжения.

Вскоре распахнулась дверь и знакомый лейтенант, влетев в комнату, неестественно высоким голосом заорал: «Встать! Трибунал идет!» Мы немедленно вскочили, выворачивая головы по направлению дверей. Показался Трибунал — трое военных в высоких чинах и один без чинов, как оказалось, секретарь, сразу прошедший в угол за незамеченный нами ранее столик.

Трибунал уселся за стол с красным сукном, а лейтенант вытянулся около двери, судорожно сжимая в руке свой наган. Мы нерешительно сели, сначала я, а потом приятели. Трибунал стал шелестеть бумагами, разбирая принесенные с собой дела, о чем-то перешептываясь между собой и поглядывая на нас. Потом, сидящий посередине, обращаясь к стоящему у двери лейтенанту, спросил:

— «Почему их», — тут он указал на нас, — «всего трое?»

Тот вскочил, что-то зашептал, склонившись к уху председателя, подбежал и секретарь, и все начали дружно рыться в толстых портфелях. Наконец, они отобрали несколько папок, потом оставшееся сложили опять в портфели и, обратясь уже к нам, председатель произнес:

— «Встаньте!» — Мы встали. Затем:

— «Вы находитесь в особом присутствии Военного Трибунала ЛВО, в составе...» — тут он назвал три фамилии, «имеете ли вы возражения против состава суда?»

Мы возражений не имели, а потому он продолжал, быстро и неразборчиво, упоминая какие-то статьи и параграфы, говорить нам, что под страхом таких-то и таких-то наказаний нам запрещается говорить неправду. Потом спросил, получили ли мы копии обвинительного заключения и, не дождавшись ответа, стал это обвинительное заключение громко читать. У меня создалось впечатление, что он читает его впервые и никогда не видал раньше. Я даже думаю, что он читал ту самую копию, которую четверть часа назад лейтенант отобрал у меня: там были оторваны поля — на папиросы, в Крестах.

Чтение обвинительного заключения продолжалось около получаса. Закончив, он позволил нам сесть, но сразу вслед за тем назвал мою фамилию, и мне пришлось встать снова. Спросив мое имя, отчество, фамилию и год рождения, он перешел к моим родителям:

— «Кто ваш отец?»

— «Мой отец служащий, работает в Москве, в Наркомате...»

— «У него сохранились эсэровские связи?»

— «Я не знаю. Он мне никогда не говорил, что был эсэром» — сказал я чистейшую правду.

— «Вы думаете, мы вам верим? Нисколько. Но все равно, скажите, кто бывал у вас дома в Москве?»

Я назвал две-три фамилии, которые он записал.

— «С кем переписывался ваш отец?»

— «Не знаю».

— «Вы знаете, может быть, за что вашего отца два раза сажали в тюрьму?»

— «Не знаю. В те годы — с 1922-го по 1929-й — я не жил с ним».

— «И он вам никогда не говорил?»

— «Никогда». — (И это тоже была истинная правда).

— «Кто была ваша мать?»

— «Была и есть. Учительница, с 1912-го года».

— «Почему она не жила с вашим отцом?»

— «Не знаю».

Расспросив еще о некоторых подробностях моей жизни в Москве, которые он знал, повидимому, не хуже меня, председатель суда перешел к пунктам моего обвинения. Показав мои злополучные дневники, он спросил:

— «Это вы писали?»

— «Да, три года тому назад...»

— «Это Трибунал не интересуется, — когда. Давности мы не признаем», — сказал судья, передавая мои тетрадки своим товарищам, которые немедленно погрузились в чтение мест из дневника, которые Захаров отметил красным карандашом.

— «Это ваши книги?» — спросил судья, потрясая надиным «подарком»*).

— «Нет, я их никогда не видел. Мне их подбросили накануне ареста. Думаю, что эти книги принадлежат Спецотделу нашего института...»

Судьи начали шептаться и просматривать какие-то бумажки. Потом:

— «Вы занимались шпионажем?»

— «Нет. Я только был филателистом».

— «Я тоже филателист», — сказал судья, — но у меня коллекционирование марок не совмещается со шпионской деятельностью».

— «У меня тоже»... — сказал я.

Поговорив немного на тему о том, как можно совместить шпионаж с филателизмом, мы перешли к вопросу о том, как я агитировал против советской власти в своей заграничной переписке.

— «Из писем вашего американца из Сан-Франциско ясно видно, что вы ругали советскую власть».

— «Этого вы видеть не можете. Американец, если не коммунист сам, во всяком случае, сочувствует советскому режиму. Я ему посылал туда журнал «Большевик» и московские газеты. Он изучает русский язык»...

— «Вы в этом уверены?» — сомневаясь, спросил судья.

— «Абсолютно. Вот в этом-то вы можете убедиться из его писем».

Они опять погрузились в бумажки. Наступило молчание, прерываемое только шелестом бумаги. Я тем временем сел.

*) Книги, которые были подброшены автору накануне ареста, как улика — в чтении контр-революционной литературы.

Потом судья начал опрос Бориса. Расспросив его биографию, судья вдруг задал ему вопрос:

— «За что вас высылали из Ленинграда два года тому назад?»

— «Вот в чем дело! — подумал я, — Борис мне никогда не говорил об этом. Здесь секрет влияния следователя!»*)

Действительно, Борис вдруг смешался:

— «Да, меня высылали, но гражданин Захаров**) мне обещал»...

— «Да, знаю, довольно», — прервал его судья, который тем временем просмотрел какую-то бумажку. — «Расскажите Трибуналу о деятельности вот его», — кивнул в мою сторону судья. И Борис скучным голосом стал повторять все небылицы, которые он говорил на следствии. Когда он кончил, судья спросил меня:

— «Это все правда?»

— «Это все вранье, от начала до конца, и вы знаете это так же хорошо, как Борис, как знал это следователь»... — раздраженно сказал я.

Опять за столом, покрытым красным сукном, началось перешептывание между судьями. Судья строго позвонил в колокольчик, видимо призывая меня к порядку, а потом взялся за Владимира. Вслед за биографической частью, он вдруг спросил:

— «Вы художник-импрессионист, не правда ли?»

— «Совершенно верно», — сказал Владимир, держась с вызывающим видом за спинку стула, на котором он сидел перед этим. Владимир был страстным последователем импрессионизма в живописи и на этой почве у него бывали постоянные стычки с Борисом.

— «А вы знаете, что это типично буржуазное течение, нездоровое и разлагающее?» — спросил судья, видимо только что вычитав это в одной из бумаг.

Здесь мой Владимир, став в дурацкую позу, визгливым голосом стал доказывать Трибуналу, что импрессионизм — одно из лучших достижений в живописи, что мы должны принимать лучшее и использовать опыт буржуазной культуры для строительства социализма, и прочую чепуху. Судья слушал-слушал, но потом прервал Владимира и сказал, глядя на молчаливых соседей своих:

*) Борис «чистосердечно каялся» на следствии и взводил на меня всевозможные небылицы.

**) Захаров — следователь.

— «Ну, кажется, все ясно. У вас есть вопросы к подсудимым?»

Сначала один, а потом другой, начали задавать нам вопросы, предварительно справляясь со своими шпаргалками. При этом правый спрашивал с явной целью «утопить» меня, злым голосом, с ноткой издевательского недоверия ко всему, что я говорю, в то время как другой, левый, задавал вопросы, из которых было видно желание спасти мое положение. Я отвечал все в том же тоне непоколебимого убеждения в собственной невинности. Левый одним вопросом поставил Бориса в неловкое положение:

— «Как вы думаете, к чему мы приговорим вас?» — спросил он.

— «Я думаю, что вы меня оправдаете»... — несколько неуверенно сказал Борис, — мне следователь говорил»...

— «Не будьте так уверены. Здесь не следствие, а Трибунал. Чем больше преступления его, — тут он показал на меня, — тем больше ваше преступление, как не донесшего на него своевременно»...

Наконец, главный судья встал, просматривая еще раз обвинительное заключение. Вдруг он сел опять.

— «Да, здесь есть еще один пункт обвинения, — произнес он, обращаясь ко мне, — вы организовывали антисоветские группы среди студентов в институте?»

— «Нет, не организовывал. Я вообще никакой антисоветской деятельностью никогда не занимался, думаю, что для вас это уже очевидно»... — сказал я.

— «Ну, хорошо. Теперь говорите ваше последнее слово».

Я поднялся. Что я мог сказать? Я чувствовал, что убедить мне их не в чем: слишком очевидной была нелепость всего этого «процесса» и они сами не могли верить в серьезность обвинения. Тем не менее, я воспользовался «последним словом» для того, чтобы еще раз повторить им всю мою историю, так, как она была на самом деле, чтобы укрепить их в убеждении, что я ни в чем не виноват. После меня выступил Борис, с удивительно глупой и сбивчивой речью, в которой говорил о своем раскаянии, о том, что он вполне осознал свою ошибку (то, что он не донес на меня раньше!), и просил о прощении и снисхождении. В заключение, Владимир, видимо считая, что его обвиняют в пристрастии к импрессионизму, произнес длинную, полную специальных справок, речь, в защиту не себя, а именно этого несчастного импрессионизма. Судьи слушали со скучающим видом, но не прерывали.

Затем судья встал снова.

— «Судебное следствие окончено. Выйдите в соседнюю комнату», — здесь он сделал знак неподвижно стоявшим за нашими спинами охранникам. Мы встали, те, поворачиваясь, прищелкнули каблуками, снова подбежал лейтенант с наганом, принимая команду над нашей колонной, и мы вышли в соседнюю комнату, где я увидел... Захарова. Выходя из зала суда, я заметил, как молчаливый секретарь подошел к столу, за которым сидели судьи, и вступил с ними в разговор. Наша судьба решалась.

Я чувствовал себя совершенно спокойно. Я был уверен, что меня не расстреляют. Так же знал я, что прямо на свободу меня выпустить не могут, ибо не станет же Трибунал дискредитировать НКВД, — это всё учреждения одного порядка. Но в то же время я немножко надеялся на очень мягкий приговор, так года полтора-два. Все-таки, обвинение было слишком заметно шито белыми нитками, а некоторые моменты просто были глупы...

Борис сразу же подошел к Захарову и стал что-то говорить ему впол-голоса. Захаров же, нарочито громким голосом, глядя в мою сторону, отвечал ему:

— «Ничего не знаю. Я провел следствие, а решать дело будет Трибунал. На его решения я влиять не могу».

Вообще говоря, Захаров провел следствие, как я убедился в этом, с предельной добросовестностью, конечно, со своей точки зрения. Подавляющее большинство людей, проходивших в те годы через тюрьмы НКВД, не смели и мечтать о столь обстоятельном следствии. Обыкновенно, один-два допроса (а иногда и ни одного), и через несколько месяцев подследственному объявляют короткий, вынесенный самим же НКВД заочно, приговор: «признан виновным в преступлениях, предусмотренных такой-то статьей Уголовного Кодекса, и приговорен к 5-ти—10-ти годам заключения в концентрационный лагерь». Смертные приговоры заочно выносились сравнительно редко, если не считать первых месяцев после убийства Кирова...

Совещание судей продолжалось недолго. Через двадцать минут вбежал все тот же лейтенант и повел нас обратно. Мы выстроились перед судейским столом. Судьи тоже встали и председатель скучным голосом довольно невнятно прочел приговор, начинавшийся словами:

— «Именем Союза Советских Социалистических Республик»... — после чего кратко излагалось мое обвинение, а затем:

— «Рассмотрев в судебном следствии все дело, признал... виновным в следующих преступлениях», которыми было:

1. Изготовление и хранение антисоветской литературы.
2. Попытка организовать антисоветскую организацию (с кем, когда, где — сказано не было).
3. Намерение грабить сберкассы и кооперативы (?) — что предусмотрено статьей 58 пунктами 10 и 11, — и приговаривался я к 6-ти годам лишения свободы.

Мои приятели признаны виновными в «недоносительстве», т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-12, и приговорены к 3-м годам тюрьмы каждый.

Приговор мог быть обжалован в течение 72 часов в Верховный Суд СССР, в Военную Коллегию.

Не успели мы дослушать последних слов, как лейтенант скомандовал нам итти за ним. Даже не сказав «до свидания», мы вышли из зала, в следующей комнате снова построились в колонну тем же порядком, и отправились на свое старое место, — за решетку, на другом конце здания. Там уже сидели какие то другие, незнакомые мне люди, дожидавшиеся своей очереди быть судимыми. Как я узнал, судили одновременно три состава Трибунала, в разных комнатах.

Мы сидели молча на скамейке, отдавшись каждый своим мыслям, переживая все происшедшее.

День на свободе*)

Однажды вечером явился в камеру служащий из канцелярии и спросил, нет ли кого-либо желающего поработать недели две на проведении в тюрьме пожарной сигнализации. Я вызвался, так как немного знал монтерское дело, и на следующее утро вышел на работу. Работа была несложная, меня никто не подгонял и я с удовольствием бродил по всему зданию, пробивал дыры в стенах, вмазывал ролики, тянул провода и устанавливал сигнальные кнопки. Со мной работал еще один старик-механик с Невского завода.

Раз, когда я возился над установкой очередной кнопки, около меня остановился проходивший мимо начальник тюрьмы Казаков. Постояв некоторое время молча, он вдруг начал меня

*) После суда автор попадает в Ленинградскую Пересыльную тюрьму, где работает сначала в химическом цеху (выработка клетчатки из тряпья, для военных нужд), а потом, около 3-х месяцев остается безработным.

расспрашивать, каким образом я попал в тюрьму. Я ему коротко рассказал и он, задав еще несколько вопросов, ушел.

На другой день после этого меня разыскал на чердаке тюрьмы один из канцелярских курьеров и повел в канцелярию к начальнику. Увидев меня, Казаков прервал разговор, который он вел с кем-то, и обратился ко мне:

— «Ты можешь сделать осветительную проводку?»

— «Не очень хорошо, но могу», — ответил я.

— «Так вот, сейчас тебя проведут ко мне на квартиру, а там жена скажет, что нужно сделать».

— «Но, гражданин начальник, я не могу ручаться за качество»...

— «Ничего, будет гореть свет, и ладно. Позовите Карасева!» — обратился он к одному из присутствовавших. Через минуту вызванный стрелок вытянулся перед ним.

— «Отведите его ко мне!»

— «Прикажете дожидаться там, товарищ начальник?»

— «Не нужно. Жена запрет двери, чтобы он не сбежал»...

Я проворно сбежал в камеру, надел мое старенькое пальтишко, вернулся к ожидавшемуся меня стрелку, и мы вышли из тюрьмы.

На улицах лежал снег, как лежал он в ту ночь, когда меня арестовали. Было очень холодно, немного сыро, но удивительно странное чувство охватило меня, когда тюрьма осталась позади, когда навстречу нам попадались прохожие, свободные люди, даже не подозревающие, что на них смотрит человек, которому еще более 5-ти лет предстоит пробыть за решеткой. Стрелок шел рядом, винтовки у него не было, хотя на поясе, стягивавшем его полушубок, болтался наган. Впрочем, мысли о побеге у меня не было. Я считал побег несовместимым с сознанием своей невиновности.

Мы пришли скоро: начальник жил недалеко от тюрьмы. Стрелок позвонил и еще молодая, симпатичная женщина открыла нам дверь.

— «Знаю, знаю, мне муж говорил, — сказала она, прерывая объяснения моего сопровождавшего, — можете идти, я его покараулю».

Стрелок ушел, а мы вошли в квартиру. В передней я снял пальто и держа подмышкой ящичек с инструментами, который я прихватил из тюрьмы, вслед за хозяйкой прошел в кабинет Казакова. Она мне объяснила, что нужно протянуть провод к дивану, лежа на котором читал книги по вечерам ее муж. Работы было пустяки — на пару часов. Я уже хотел приниматься

за дело, но хозяйка повела меня в соседнюю комнату, где на столе был приготовлен завтрак.

— «Садитесь, поешьте, пожалуйста», — говорила она, сама присаживаясь к столу. Я сел и с благодарностью уничтожил все, что она мне подала. Потом я принялся за работу, во время которой хозяйка все время со мной говорила, сидя тут же, на диване...

Скоро я с грустью заметил, что дело идет к концу и что моя маленькая экспедиция заканчивается. Вдруг открылась дверь и вошел сам Казаков, пришедший обедать.

— «Что, уже готово? Быстро!»

— «Да, почти, гражданин начальник».

Он сел рядом с женой и о чем-то шептался с ней, пока я заканчивал установку лампы.

— «Вот и готово. Сделал, как мог», — объявил я.

— «Что же, теперь в тюрьму?» — спросил он меня. Я не знал, что отвечать.

— «Вот что, — продолжал он, — сейчас час дня. Проверка у вас в камере в 9 часов. На восемь часов я могу отпустить тебя в город, но... — он пристально посмотрел мне в глаза, — ты мне дашь слово, что к проверке будешь на месте и что ни одна живая душа в тюрьме не узнает о твоей прогулке. Имей в виду также, — сказал он, — что если тебя не окажется на месте во время, меня ждут большие неприятности». — Он подчеркнул последние слова. — «Так обещаешь?» Я от волнения мог только кивнуть головой.

— «У тебя деньги есть?» — спросил Казаков.

— «Да, пять рублей», — задыхаясь сказал я.

— «Вот, возьми еще»... — порывшись в бумажнике, он протянул мне два червонца.

Когда он выпустил меня из дверей, у меня, наверно, был полусумасшедший вид. Дойдя до угла, я замедлил шаги и стал думать, как мне использовать мои восемь часов. Мысль о бегстве не приходила мне в голову.

Приняв решение, я ускорил шаги, вышел на Староневский, перешел через дорогу и углубился в район Советских (б. Рождественских) улиц. Через несколько минут я уже звонил у когда-то знакомого подъезда. Дверь мне открыла жена моего друга, Зина.

— «Кого вам нужно?»... — но тут она, не договорив фразы, вскрикнула, — «ты ли это! Откуда? Заходи в комнату».

Мы вошли, я впереди, она за мной. С каким-то страхом она осматривала меня.

— «Ты что... бежал?»... — спросила она меня, — «мы ведь все знали, уже на второй день после твоего ареста: звонил по телефону твой товарищ из общежития. Откуда же ты теперь?»

— «Не волнуйся, Зиночка. Все обстоит, как нельзя лучше. Мне дали 6 лет и если на то будет воля начальства, я намерен их отсидеть. Но сейчас я свободен, понимаешь ли ты? — свободен! Ровно на восемь часов».

И я рассказал ей коротко, что со мной произошло.

— «И ты собираешься вернуться? Но ведь это, прости меня, идиотизм. Слушай, через час я достану тебе деньги и ты немедленно выедешь в Москву скорым. Или, если хочешь, оставайся пока у нас. Никто подозревать не будет, соседи у нас хорошие. А там, через неделю-две, когда тебя уже бросят искать, спокойно уедешь, куда захочешь. Вася (ее муж, работавший на крупной должности в одном из ленинградских трестов), тебе все устроит».

Милая Зина еще долго бы уговаривала меня в том же роде, но я остановил ее.

— «Нет, Зиночка. Я вернусь обратно. Во-первых, я не хочу переходить на положение травимого зайца, а во-вторых, я не подведу Казакова. Это решено. Но если хочешь, часть времени, имеющегося в моем распоряжении, мы проведем вместе». — Зина пожала плечами.

— «Ты неисправим. Фантазером был, фантазером и останешься. Боюсь, что и тюрьма не излечит тебя. Ну, говори, что ты хочешь делать?»

— «Во-первых, вымыться. Нагреть ванну. Потом ты позвешь, кого я скажу тебе. Потом закажешь Вале (нашей общей знакомой, работавшей в театральной кассе) два билета в Александринку»...

— «Ну, хорошо, дел, как видно, много. Вот папиросы, кури, я сейчас»... — и она скрылась за дверью. Вернулась быстро, опять исчезла.

— «Ну вот. Вода греется. Я позвонила Гале, сказала, чтобы она немедленно пришла ко мне. Когда ты пойдешь купаться, я побегу за покупками. А пока рассказывай о себе»... — она села рядом со мной.

Гале... Сердце мое вдруг куда-то покатилося... Галя была та, существование которой было основной причиной, почему я решил почти год назад ответить Наде решительным «нет». Зина без слов поняла меня.

— «Галя помнит о тебе. Вспоминает часто; она много плакала, когда тебя забрали, и не верила тому, что о тебе расска-

зывали, насчет контрреволюции. Говорили, что в твоём институте целое общее собрание было посвящено арестованным студентам. Тебя называли, как одного из главарей. Но никто не верил. Если бы ты знал, сколько народу позабирали, ужас. Везде, везде... Скажи, кого ты хочешь, чтобы я позвала?»

Я назвал ей двух наших хороших друзей, одного студента и одного молодого инженера. И ещё одну девушку. Увы! Из сотен моих знакомых по Ленинграду, только Зина и её муж, Галя и трое других были теми, кому я мог верить безоговорочно.

— «Хорошо, я соберу их. Так рассказывай! — с нетерпением перебила она меня, — ты же понимаешь, как я все хочу знать. Почему ты не писал ничего? Ведь мы могли бы носить тебе передачи, все легче было бы»...

— «Рассказывать я буду, когда все соберутся. А пока буду спрашивать я. А о передачах не смей и думать! Чтобы никто, слышишь ты, никто, не смел знать, что мы с тобой, с Василием, знакомы. Чтобы ноги вашей не было ни в тюрьме, ни в НКВД!»

И начались разговоры... Я расспрашивал обо всем, от чего был оторван вот уже год, о людях, о делах, о событиях... Вдруг Зина вскочила:

— «А про ванну-то и забыли. Иди скорей, мойся, а я побегу по магазинам».

Я прошёл в ванную, разделся быстро, и с огромным наслаждением погрузился в воду. Только что я начал намыливать голову, как вдруг в дверь постучала Зина:

— «Это я. Не бойся, не смотрю, — сказала она, входя, — вот тут тебе белье, Васькин костюм, ботинки. Переоденешься. А своё брось в угол. Ну, я побежала».

То ли от мыла, то ли от другой причины, но слезы полились у меня из глаз. Мои друзья! Настоящие! Мой маленький мирок, который я скрывал ото всех, никто в институте не знал о существовании этих друзей. Не знали о них и Борис с Владимиром. И вот, ещё уцелел... Надолго ли?

Быстро закончив мыться, я оделся и вернулся в комнату. Вдруг послышался звонок и через минуту в дверь постучали.

— «Можно? Ты дома, Зина?» — спросил голос, знакомый и непозабываемый...

— «Можно! Войдите!» — хриплым от волнения голосом сказал я, стоя у окна.

Дверь открылась и на пороге показалась Галя... В лёгком пальтишке, раздумавшаяся от быстрой ходьбы.

— «А где Зина? Кто это?... — произнесла она, приглядываясь ко мне своими немного близорукими глазами и подходя

ближе, — Владимир!!! Ты?!» — и она бросилась ко мне, протянув руки... Я не мог произнести ни слова...

.....

Скоро вернулась Зина, с ворохом покупок.

— «А, ты уже здесь, Галя? Ну, накупила всего, едва до-тащила. Ого! Уже три часа, скоро Васька придет, а у меня еще обед не готов. Ничего ничего, разговаривайте, сейчас Нинка прибежит — я забежала к ней — она мне поможет».

Три часа! Еще шесть часов моей свободы! Как много и как мало...

Зина бегала на кухню и обратно, звонила куда-то по телефону, расставляла на столе бутылки, тарелки и прочее, а мы с Галей сидели на диване, держась за руки, и никак не могли наговориться.

Опять позвонили. Пулей влетела Нина и повисла у меня на шее. Холодная, вся покрытая снегом, сумасшедшая девчѐнка, которую мы все очень любили. Тут Зина, притворно сердясь, потащила ее вон, раздеваться. Нина отбивалась, но все же сбросила пальто и калоши и опять кинулась ко мне, на диван.

— «Бездельники! Кто же мне помогать будет? А ну-ка живо, поднимайтесь! Все! и ты, Владимир, а то их не оторвешь от тебя».

Мы поднялись и началась та особенно приятная праздничная возня, которая всегда сопровождала наши вечеринки в прошлом. А сегодня ведь действительно был праздник! Галя завела патефон, раздалась музыка, одна из любимых мной песен. На стол ставились рюмки, графинчики и прочие необходимые предметы. Девушки носились вихрем по квартире. У Васи и Зины была большая комната, с приличной мебелировкой, она же столовая, она же спальня, она же гостиная. Но было очень уютно. Василий хорошо зарабатывал и очень любил, когда мы собирались у него. Кроме него, только я да еще один из друзей, Саша, имели сносные заработки. Второй друг, умница и весельчак Николай, Коля, никогда не имел ни копейки в кармане, всегда удивляясь, куда это у него деньги деваются. Он был лучшим студентом своего курса в университете и подавал большие надежды. Как и я, впрочем...

У девочек же денег вообще не бывало. Поэтому, когда мы устраивали наши вечеринки, расход делили на нас троих, при чем Вася всегда жульничал, беря на себя львиную¹ долю закупок.

Приготовления подходили к концу. Наконец, мы все ря-

дышком уселись на диване, поджидая прихода Василия (Зина ему уже позвонила и просила сообщить Николаю и Саше).

День за окном уже угасал, а мы все сидели, прижавшись друг к другу, разговаривая вполголоса. Вдруг Галя не выдержала и расплакалась. За ней залилась Нина, вытирала глаза уже Зина. Не выдержал и я...

В передней раздались голоса и шум, почти сразу же запахнулась дверь и в комнату вбежали мои дорогие друзья: Василий, Николай, Александр. Зина зажгла люстру над столом. Начались снова объятия, поцелуи, расспросы.

— «Специально такси взял, чтобы этих молодцов собрать по городу, — объявил Василий. — О, да вы тут, я вижу, времени не теряли! — воскликнул он, увидев накрытый стол и обнимая жену. — Ну, это правильно! За стол, друзья, вспомним старину!» — говорил он, с мокрыми от слез глазами.

Веселый тон давался с трудом. Я подошел к плакавшей в уголке дивана Гале:

— «Галя, милая, не надо! Ведь только пять часов нам еще быть вместе! Не плачь, а то мы все начнем реветь, что радости-то?»

Наконец, я уговорил ее и мы побежали в ванную умыться. Когда вернулись обратно, все уже подбодрилось немножко. С еще мокрыми щеками, Нина уже весело болтала, Николай расспрашивал ее обо мне, все приступили к Зине, как знавшей более всех. Саша настраивал свою скрипку: он был неплохим инженером, но ненавидел свое дело, мечтая о музыке, к которой у него был большой талант...

Все с шумом уселись за стол. Как когда-то хлопнула пробка от шампанского, бутылку которого Василий купил по дороге. Бокалы наполнились.

— «За нашего Владимира!» — провозгласили все хором. И опять пошли объятия, поцелуи и непрощенные слезы.

Разговор не умолкал ни на минуту. Я рассказывал о всех своих приключениях. Вопросы сыпались один за другим, я не успевал отвечать. Одновременно расспрашивал всех о том, что изменилось в окружающем за эти месяцы. По их рассказам, картина разгрома Ленинграда была жуткая. Люди исчезали один за другим; возврата не было никому. Из учреждений, с заводов, из учебных заведений, отовсюду. Мы говорили полупотопом, сблизившись над столом...

Обед кончился. Мы перешли на диван. Кому не хватило места, придвинули стулья. Зина заботливо закрыла ставни. Оставили гореть только одну лампочку. В полумраке комнаты

сидел я со своими друзьями и говорил им о том, что узнал я за время разлуки, о том, что я верю в возможность счастливого исхода для себя лично, раньше или позже, что всем нам нужно собрать все силы, всю выдержку и пережить это страшное время, что оно не может тянуться долго... Василий покачал головой:

— «Ты все надеешься на что-то, веришь в какую-то высшую справедливость, напрасно: нет для нас иного исхода, как забыть совсем, что мы люди... Только так можно уцелеть. И вот притворяешься, лицемеришь, кричишь «ура» в общем хоре. Тошно, Владимир. Вот ты ушел от нас... Кто будет следующий?» Саша тихонько поднялся с места:

— «Ты прав, Вася, забыть, уйти от действительности, один исход», — сказал он, беря свою скрипку. Мы умолкли, отдаваясь каждый своим думам. Рука Гали крепко сжимала мою руку... Музыка смолкла.

— «Ты не раздумал ехать в театр? — спросила вдруг Зина, — билеты оставлены. Но ведь ты едва успеешь досмотреть первое действие. Начинается в 7, а в 9 тебе нужно быть уже... дома?»

— «Нет, я поеду. Хочу, сколько можно глотнуть жизни, чтоб уже запомнить»...

— «Тогда скоро уже нужно идти; ах, Владимир»...

— «Подумай, Володя, — сказал Василий, — стоит ли тебе возвращаться? Деньги у меня есть, документы как-нибудь достанем... Я понимаю тебя, твои соображения, но взвесь хорошенько: ведь больше пяти лет еще, срок очень большой. Выдержишь ли? Боюсь, что будет тебе очень тяжело»...

— «Нет, не уговаривайте. Это решено», — твердо сказал я.

— «Я его понимаю, — произнес Николай, — жить беглецом, бояться собственной тени, дрожать день и ночь, и все равно, рано или поздно, быть пойманным, — нет! Уж лучше тюрьма»... И Галя меня поддержала:

— «Владимир не обманет человека, которому дал слово. Нет, так лучше».

Я встал.

— «Ну, прощайте, дорогие мои. Не поминайте лихом. Бог даст, живым останусь, а увидимся ли, нет — неизвестно. Будем надеяться. Мне не пишите, не старайтесь ничем помочь: я не пропаду и так, а себе вы можете большую беду сделать. Спасибо за дружбу, что не отреклись от меня»...

— «Как тебе не стыдно так говорить!» — с упреком воскликнула Зина, обнимая меня. Василий, Саша, Ниночка, все

бросились ко мне. Началось прощание. Наконец, выбрались в переднюю. Тут я спохватился.

— «Да ведь на мне васькин костюм! Скорее переодеться!»

— «Не дури, дружок. Костюм останется на тебе. И спрячь вот это, без разговоров. Тебе пригодится», — говорил он, засовывая мне в карман деньги. Я только сжал ему руку.

Наконец, мы оказались на улице. Я и Галя. Взявшись за руки, быстрыми шагами мы пошли по направлению к Невскому. С темного неба медленно сыпался снег и приятно хрустел под ногами. Знакомая, милая картина родного города!

На Знаменской площади взяли такси — деньги были! — и через десять минут мы уже пробирались сквозь толпу у входа в Александринский театр. Оставив Галю в сторонке, я протолкался к окошку администратора, которому сказал пару слов, служащих паролем в таких случаях, и немедленно получил два билета в бельэтаж, предмет зависти многих, толпившихся вокруг. Театры СССР всегда полны, ибо это одно из немногих, что остается населению, чтобы забыться от постылой действительности...

Только заняв наши места и развернув программку, которую я купил на-ходу, мы узнали, что сегодня идет «Борис Годунов», с Симоновым в главной роли. Впрочем, для меня это было безразлично. Я хотел лишь окунуться в знакомую, милую моему сердцу атмосферу хорошего театра, ибо отпуск мой заканчивался. Я уже поглядывал на галины часы...

Когда погас свет, и поднялся занавес, мы, посмотрев пять минут на происходившее на сцене, вышли в аванложу, сели на крытый красным бархатом диванчик и почти целый час говорили о том, о чем может говорить 20-летний юноша и восемнадцатилетняя девушка, в таком своеобразном положении. Когда наступило время итти и мы встали, то держа Галю за руки и смотря в ее синие глаза, я сказал:

— «Ты мне обещаешь одно: забыть меня до того дня, когда я вернусь обратно. Ты ничем не связана, остаешься свободна, и будешь поступать так, как будто бы меня и на свете не было. Иначе ты отравишь себе все существование. Обещаешь?»

— «Постараюсь... Я понимаю»... — прошептала Галя, с полными слез глазами.

Мы вышли в коридор, оделись и, быстро сбежав вниз, сели в такси.

— «Константиноградская 6» — сказал я шоферу. Мы поехали. Освещенные улицы, витрины магазинов, толпы людей,

куда-то идущие по покрытым снегом тротуарам, мелькали перед глазами. Потом автомобиль свернул в боковые, темные улицы и наконец остановился перед знакомыми железными воротами. Сказав шоферу адрес Гали, я заплатил ему вперед, в последний раз обнял милую девушку и, выскочив, захлопнул дверцу. Стекло вдруг опустилось:

— «Ты иди, я подожду, пока ты войдешь... — проговорила Галя, — прощай, может быть навсегда».

— «Прощай! — ответил я, повернулся и направился к калитке. Позвонил. Открылось окошечко. В меня вглядывалась голова в шлеме.

— «Кто здесь?»

— «Свои, открывай, Карасев!» — ответил я, узнав своего провожатого.

— «Ну, молодец, брат, а то я уже не знал, что и делать. Скорей! Сейчас проверка начнется», — говорил он, открывая калитку.

Уже войдя, я в последний раз обернулся, махнув рукой Гале. Автомобиль тронулся. Калитка захлопнулась.

Я бегом бросился в камеру. Все двери раскрывались передо мной. Едва я успел сбросить пальто, как раздалась команда:

— «На проверку стройся!» — и мы все стали выстраиваться в шеренги. Вошел Казаков с дежурным по тюрьме. Глаза его беспокойно бегали по лицам стоявших заключенных, пока не нашли меня. Увидев, что я на месте, он удовлетворенно кивнул головой, приветливо улыбнулся и вышел.

Прямым последствием этого эпизода было то, что в пределах тюрьмы я стал совершенно свободным. Для этого не нужно было даже приказа Казакова. Закон подобострастия обязывал всех служащих из числа «социально-близких»*) оказывать мне внимание, как человеку, удостоившемуся благосклонности начальника тюрьмы. Денег у меня, по тюремным масштабам, было много: Василий мне дал больше 200 рублей. Товарищи были хорошие, смена лиц происходила часто. Были интересные книги, кино, газеты. Я был почти доволен. Один из заключенных, профессор математики университета, совсем старик, получивший 10 лет за переписку с заграницей, давал мне уроки высшей математики. У другого, забавного, низенького и толстого инженера-путейца, я проходил курс стереофотограмметрии (фото-топографии). Одно время я брал и уроки немецкого языка у протестантского пастора, осужденного по обвине-

*) Так называют в тюрьме уголовных и «бытовиков».

нию в шпионаже, изучал (теоретически) автомобиль под руководством славного парнишки-механика. Последний утверждал через месяц занятий, что он бы мне уже выдал права на вождение автобуса...

Одним словом, я не терял времени даром. Благодаря усиленной практике, я выдвинулся в число лучших игроков в шахматы во всетюремном масштабе и раз даже получил приз: коробку хороших папирос. Письма я получал только от матери. Совершенно сознательно я отказался от поддержания старых дружеских связей: я знал, с каким огромным риском связана переписка с заключенными для тех, кто еще почему-либо не находился в тюрьме.

Так подошел Новый Год, 1936-й.

В. Петров

Н. А. БЕРДЯЕВ — МЫСЛИТЕЛЬ

24-го марта 1948 г. в своем доме в Клараме под Парижем скончался Николай Александрович Бердяев, выдающийся русский религиозный философ. Русское общество мало следило за работой его острой, неутомимой мысли. Оно сильнее всего реагировало на его политические выпады, часто неожиданные и парадоксальные. Сравнительно немногие имели счастье знать и любить его как человека. Но весь мир знал Бердяева как религиозного философа. В Европе и в Америке его ценят гораздо выше, чем в русской эмиграции и, конечно, в самой России. Объяснение, вероятно, в том, что Бердяев со своей философией личности, свободы и творчества более связан духовно с Западом, чем с Россией; но в то же время он вобрал в себя много ценных элементов русского мирозерцания (через Достоевского, Хомякова, Вл. Соловьева), которые являются для Запада новым откровением. Запад, конечно, ошибается, считая Бердяева типичным выразителем русского православия; Бердяева самого беспокоило это давнее недоразумение. Но мы преступно несправедливы, игнорируя большого русского мыслителя, писавшего не школьные книги, не академические исследования, но страницы, полные жизненного (по модному экзистенциального) смысла, обращенные к каждому.

Бердяев писал горячо, всегда в борьбе на нескольких фронтах, не страшась преувеличений и противоречий. «Духовное солнце не бесстрастно», сказал он в одной из последних своих книг. Встречаясь с этими противоречиями, некоторые склонны даже отрицать единство его мысли. Но этот взгляд совершенно ошибочен. Противоречия скопляются на поверхности, в его отталкиваниях, скорее чем в утверждениях. В глубине он оставался верным своей основной жизненной интуиции, которая сложилась в цельное метафизическое мирозерцание уже в его первых настоящих книгах: «Философия Свободы» (1911 г.) и «Смысл Творчества» (1916 г.).

У Бердяева в молодости было много учителей, таких далеких и несхожих. Из западных «отцов» достаточно назвать Якова Беме и Канта, Маркса и Ничше. Самое сочетание этих не-

совместимых имен исключает мысль об эклектическом синтезе. Их невозможно примирить, но можно перелить, расплавив в личном опыте, в совершенно новое и оригинальное мировоззрение. Такова была философия Бердяева, враждебная всякой систематике, необычайно радикальная и в выражении и по существу, но вытекающая из единства жизненного и нравственного опыта. Это единство мы и попытаемся установить в немногих, наиболее отчетливых и твердых линиях.

Основная жизненная интуиция Бердяева — острое ощущение царящего в мире зла. В этой интуиции он продолжает традицию Достоевского (Ивана Карамазова), но также и русской революционной интеллигенции, с которой он столько копий переломил в первые годы своего идеалистического исповедания (период «Вех»). Борьба со злом, революционно-рыцарская установка по отношению к миру отличает Бердяева от многих мыслителей русского православного возрождения. Не смиренное или эстетическое приятие мира, как Божественного всеединства (основа русского «софианства»), но борьба с миром, в образе падшей природы, общества и человека, составляет жизненный нерв его творчества. Бердяев почти всегда должен отталкиваться от чего-либо, от какой-либо лжи, для того, чтобы выяснить свою истину. Он открыто признает себя дуалистом. Монизм, влекущий большинство философов, особенно русских, ему всегда был чужд. Вот почему он сразу отверг Платона, и до конца оставался верен Канту, при всей разительной несхожести их духовных типов. Между истинным миром «вещей в себе» и миром явлений должна быть пропасть, для того, чтобы Бердяев мог поверить в Божественное происхождение истинного мира. Манихейский (или маркионитский) соблазн злого бога-творца должен был когда-то искушать его. Он преодолел его своим учением о грехопадении. Оно столь же радикально, как Кальвиновское, но вместе с тем почти во всем ему противоположно. Последствия греха ощущаются Бердяевым всего сильнее не в человеке, а в природе. Бердяев видит природное зло не только в жестокости борьбы за существование, в страдании и смерти, но в самом факте роковой необходимости, несвободы, которая составляет сущность материи. Человек, с его возможностями духовной свободы, брошен в слепой механический мир, который поработщает и губит его. В последние годы своей жизни, познакомившись с философией немецкого экзистенциализма, Бердяев еще более заострил свое мироотрицание. Зло — в самой объектности мира, в том, что он представляется нам как собрание вещей или объектов. Но

это злой кошмар нашего греховного сна. Подлинно реальны только субъекты, т. е. свободные духи. Освобождение от власти мира или вещей составляет цель человеческой жизни.

При своем остром ощущении мирового зла Бердяев не может допустить никакой оптимистической теодицеи. Бог не есть самодержавный правитель мира. Сама эта мысль, делающая Бога ответственным за зло, неизбежно вызывает у Бердяева прометеевский бунт. Он предпочитает атеизм, воинствующий во имя справедливости и сострадания, вере во всемогущее Провидение. Бердяев верит в Бога, который, сотворив мир, отрекся от Своего всемогущества ради свободы твари — даже если свобода эта оказывается губительной. Любовь Божия в том, что Он разделяет страдания человека, злоупотребившего своей свободой. Воплотившийся и страдающий Бог делает возможным ответную любовь к Нему человека. Но Бог и не безвластен. Он действует в мире чрез человека, вдохновляя его, посылая ему Свою благодать. Однако, благодать эта не является непреодолимой. Человек может отвергнуть ее или следовать за ней. Но без нее, без Бога падший человек бессилен, и дело его в мире безнадежно. Эту истину Бердяев подчеркивал с достаточной силой в пору его юношеской борьбы с атеистической интеллигенцией. Бердяев верит в сотрудничество Бога и человека, в богочеловечество, пониманию которого он научился у Вл. Соловьева. Бердяев говорит о Царстве Божием, как о конечном идеале, но Царство строится не только Богом, но и усилиями человека. Так религиозная философия Бердяева становится не столько учением о Боге, сколько учением о человеке: антропологией в богословском смысле.

Огромная религиозная ценность человека — в том, что он, несмотря на свое падение, имеет в себе божественное начало, «образ Божий», который пребывает в его духе, в его «я», или личности. Его телесное и душевное естество погружено в мир падшей природы и поработшено им; но дух его, или личность остается носителем свободы. Бердяев не презирает тела подобно платоникам, ибо тело создано быть органом духа, для выражения его во-вне. Однако, в отличие от современных софианцев, интерес Бердяева сосредоточен на духе человека. Четыре основных понятия, взаимно связанных, в сущности разные аспекты одной идеи, определяют религиозную тему Бердяева: Личность, Дух, Свобода и Творчество. Не даром самые значительные его книги носят заглавия: «Смысл творчества», «Философия свободного духа», «О назначении человека».

Личность в понимании Бердяева радикально отличается от индивидуальности, как своеобразия, неповторимой комбинации черт. Индивидуальность или особь принадлежит природному миру и разделяет с ним рабство и смертность. Бердяев враг индивидуализма, мирозерцания по преимуществу буржуазного, но любит называть свою философию персонализмом. Эта терминология, вероятно, немецкого происхождения, прививается ныне во Франции именно под влиянием Бердяева и его французских учеников. В английском языке ее проведение наталкивается на большие трудности.

Личность есть духовно-творческое и свободное начало в человеке.

Известно, как трудно определение духа в тех школах, где он противопоставляется душе. Бердяев не давал определений. Он противопоставлял дух душевно-телесному человеку как начало свободы в царстве необходимости. Но он не ограничивал духа его проявлениями в религиозной жизни. Познание, искусство, человеческие отношения — все это сферы духовности. Дух там, где свобода.

Однако свобода царит лишь в Царстве Божием. В нашей жизни она позволяет только просветы, прорывы из природного мира. В борьбе с природным рабством человек имеет Бога своим вождем и вдохновителем. Но его свобода утверждает себя и в отношении к Богу. Бердяев признает Откровение не как внешний авторитет, а как свободно избранный путь, в согласии с опытом и высшими потребностями личности. Бердяев не хочет быть рабом и Бога, и все рабские формы богопочитания ему чужды и даже ненавистны.

Для метафизического обоснования такой свободы Бердяев создает своеобразную теорию, отчасти заимствованную у Якова Беме, германского мистика 16-17-го века. По Беме, есть нечто более первичное, онтологически, чем Бог. Божество, Божественный мир первичнее личного Бога, а Бездна (Ungrund) первичнее Божества. Эта Бездна содержит в себе все возможности, как Аристотелевская материя. Для Бердяева поэтому она есть чистая свобода. Другими словами, свобода не создана Богом, но Он сам рождается (не в порядке времени) из свободы и из этой же свободы, из Ничто, которое потенциально содержит в себе Все, Он творит мир. От того-то в основе мира и человека лежит свобода, и свобода не только к добру, но и ко злу. Эта Бемевская идея несет у Бердяева двойную службу: объясняет наличие зла в мире, т. е. делает возможным

теодицею; и определяет свободу человека не только по отношению к миру, но и к Богу. Но такая концепция свободы трудно примирима с христианским пониманием Бога, как Существа Абсолютного. Здесь мы имеем дело с наиболее уязвимым местом философии Бердяева.

Столь же своеобразна и Бердяевская концепция творчества. Творчество это цель жизни человека на земле — то, для чего Бог создал его. Грехопадение не отменило его призвания, поскольку сохранило его свободу. Если христианство есть религия спасения, то это спасение чрез творчество, а не только через аскетическое очищение от греха. Иногда, впрочем, Бердяев противопоставляет творчество спасению или святости как иной жизненный путь. Не отрицая необходимости аскезы, как средства самовоспитания, он против нее переоценки, которая из средства делает ее целью. И грешный человек может творить. Грех искажает всякое человеческое творчество, но не обесценивает его.

Все платонизирующие системы этики и эстетики, т. е. системы идеалистические видят смысл творчества в усмотрении и следовании божественным прототипам или идеям, лежащим в основе тварного мира. Отталкиваясь от реализма (натурализма), который ищет подражания природе или жизни, идеализм все же ограничивает человеческое творчество подражанием, или воспроизведением уже данных, или сокрытых в мире идей. Бердяев решается утверждать в творчестве возможность принципиально нового, т. е. нового даже для Бога. Бог хочет от человека продолжения Его творения, и для этого дал ему творческую способность (Свой образ). В этом смысл всего трагического эксперимента, каким является создание Богом свободного существа.

Грех делает невозможным не творчество, а его совершенство. Всякое творчество, в условиях падшего мира, обречено на неудачу. И главная из этих неудач, для Бердяева, есть объективизация творчества, т. е. превращение его в продукт или вещь, подчиненные закону необходимости. Книга, картина, даже симфония — тленны и обременены тяжестью мира: они лишь отдаленно соответствуют мечте творца о совершенно свободной мысли и жизни. Еще более объективны, т. е. несвободны наши поступки и социальные институты, создаваемые людьми. Творческий огонь застывает в лаву, которая сама делается препятствием для творчества. Это значит, что для Бердяева ценен творческий акт, а не его результат, не «произведение»

искусства или мысли. Отсюда понятно, что он враг даже стремления к законченному совершенству: враг всякого классицизма. Пушкин не нашел места в его «Русской идее».

Это пренебрежение к совершенству объясняет и писательский стиль самого Бердяева. Враг всякой системы, не верящий в возможность мысли, свободной от противоречий, Бердяев хочет сохранить в своих писаниях возможно полную свободу своей кипящей, взволнованной мысли. Нечего и говорить, что он не унижается до доказательств. Подобно французскому поэту Пегю, он стремится все к новому выражению одной и той же мысли, не зачеркивая уже найденных, бросает нить и снова возвращается к ней. Он мастер удачных, образных определений, но они часто тонут среди черновых набросков. Мы лишь предчувствуем блестящий писательский дар, запущенный как старый русский сад, заросший сорными травами.

Неизбежную неудачу, обреченность всякого человеческого творчества Бердяев называет его эсхатологизмом. Это указание конца, границы, смертности мира и человека. Но конец не последний, неудача не окончательна. Бог спасает творчество человека и воскрешает его за гранью истории, в Царстве Божием.

Легко и соблазнительно причислить Бердяева к линии духовных анархистов. Но это заключение будет ошибочным. Разумеется, интересы личности для него всегда дороже общества. И он прошел чрез искушение Штирнером. Но для него, социалиста, не без помощи Хомякова, открылось, что личность не может осуществить себя в отрыве от других «я». Одиночество означает ее иссыхание и гибель. Я находит себя через Ты. И не только в романтическом слиянии двух, но и в Мы как в свободном общении многих. Бердяев охотно берет Хомяковское учение о соборности как преодолении конфликта между индивидуальностью и коллективом в общем деле, любви и сознании. Однако, чаще всего он указывает на опасности, подстерегающие личность при ее выходе в план социальный. Это опасности объективации, образования институтов, застывших форм вместо реального (экзистенциального) общения. Признавая общение, Бердяев ведет войну с обществом. «Социальное» вообще для него является понятием порочным. Помимо всех грехов и неправды, которыми отягощена социальная жизнь, сам характер социальности, как обыденности, уже порочен. Сильнее всего греховность общества проявляется в государстве — во всяком, а не только тираническом. Но и брак есть обыденность, угашающая любовь. И Церковь как институт есть социальная объективация, т. е. деформация Церкви как общения в Духе и

любви. Бердяев за свою долгую христианскую жизнь не переставал обличать грехи исторической церкви как и грехи государства. В этом он видел преимущественно пророческое или «профетическое», как он любил говорить несколько скромнее, служение. Свою философскую публицистику, всегда пронизанную злободневностью, но *sub specie aeternitatis*, он причислял именно к профетической литературе. Отказываясь от звания богослова, с оттенком презрительности относясь к самому богословию, он имел высокое самосознание христианского пророка в облики и стиле современного журнализма. В этом все-таки заключалось его социальное служение Церкви.

Борясь с социальностью, Бердяев всю жизнь оставался социалистом. Он никогда не был ортодоксальным марксистом, хотя бы потому, что никогда не был материалистом. Но даже с Марксом его разрыв был не полным и не окончательным. В эмиграции он постепенно возвращался к учителю своей юности. В Марксе он ценил прежде всего критика капиталистического строя, беспощадно разоблачавшего его маски и фикции. Но он видел в нем и задатки гуманиста, боровшегося против обезчеловечения работника машиной и безличным строем хозяйства. Опубликование ранних, до-марксистских сочинений Маркса не мало способствовало укреплению этого взгляда на Маркса как на гуманиста, заставляя Бердяева забывать подчас, как много Маркс сам содействовал обезличению и механизации пролетариата и рабочего движения.

В Бердяевском социализме сравнительно мало ощущается сострадание или мотив каритативный. Или же он целомудренно скрыт за негодованием против эксплуатации человека. Цель социалистического движения для Бердяева — освобождение личности в бесклассовом обществе. Личность и здесь на первом плане, и социализм свой Бердяев предпочитает называть персоналистическим. Против этатизма Маркса или его учеников, Бердяев иногда выдвигал общинный или кооперативный социализм Прудона, дающий личности большие гарантии свободы. Но, может быть, есть и еще один мотив, самый личный и сильный в социалистическом комплексе Бердяева: его ненависть к буржуазии. Ненависть эта направлена не столько на буржуазию как господствующий класс в современном обществе, сколько на ее психологический тип: на «буржуа» во французском смысле слова — мелочного, скупого гедониста, потерявшего веру во все высокие ценности и всякую способность к героическим добродетелям. Отношение Бердяева к буржуа не имеет ничего общего с завистью пролетария. Оно ближе к ненависти худож-

ника, богемы, но в ней есть нечто и от дворянского презрения к выскочке, купчишке, который вытеснил благородный рыцарский тип, не имея для себя никакого нравственного оправдания. В социализме Бердяева столь же много дворянского, как в анархизме Толстого. Свою ненависть к буржуа-плебею Бердяев распространял и на прошлое и не хотел видеть в этом классе никаких исторических заслуг. Ни современная наука, ни голландская живопись, ни освобождение сервов — от средневековых коммун до Французской Революции — для Бердяева не связывались с буржуазией. Даже Маркс был более справедлив к ее освободительной миссии. Бердяев явно предпочитал и античное рабство и средневековое крепостничество капитализму. И, очевидно, не положение трудящихся классов или степень их эксплуатации определяли его предпочтение.

Насколько постоянны были социалистические симпатии Бердяева, настолько текучи и неустойчивы его политические взгляды. Безусловно для него было одно: защита личности и ее свободы — и то лишь в высших ее проявлениях: мысли, совести, слова. К политическим формам он относился почти равнодушно, часто меняя свои симпатии. Отчасти это вытекало из его презрения к формальному началу в жизни вообще, особенно к праву в жизни социальной. В годы ревизии своего революционного мировоззрения (1900—1910), Бердяев был очень скромнен. Он соглашался на конституционную монархию, он признавал демократию относительно лучшей из политических форм. Но чем дальше, тем более его отношение к демократии становится критическим. Особенно в те годы, когда во Франции он столкнулся с теневыми сторонами ее в Третьей Республике. Конечно, главной причиной холодности и даже отталкивания Бердяева от западной демократии был социальный субстрат ее: буржуазия в ее упадке. Мещанство и пошлость, царящие в нравах и вкусах общества, погоня за низменными наслаждениями как цель и смысл жизни, равнение на среднего человека как мерило ценностей, — все это претило Бердяеву с его духовным аристократизмом. Особенно должно было возмущать его как философа новейшее философское обоснование демократии на релятивизме. Отказавшись от христианского идеала своей молодости, и даже от рационализма своих зрелых лет, современная демократия ищет оправдания принципу большинства в относительности всякой истины и всякой ценности. Но такое мировоззрение разрушает культуру и обезличивает человека. Политический атоанизм, изолирующий личность в демократиях современных (вернее XIX века), раз-

рушающий всю сложную ткань древних общественных союзов, кроме государства, также, разумеется, не мог не вызывать протеста Бердяева с его идеалом общения.

Однако, все эти законные мотивы отталкивания от демократии не искупают того софизма, который, чем дальше, тем ярче выступает в аргументации Бердяева. Это мотив формальности демократии. В его устах, формальность означает фиктивность. Это значит, что свободы слова, печати и проч., столь насущные для философа, становятся вдруг мнимыми, раз дело касается масс. Бердяев усваивает здесь гиперболический язык раннего социализма, который был неуместен и сто лет тому назад. Бердяев как будто проглядел все успехи рабочего движения, с его мощными союзами, значительным политическим влиянием и даже долей социальной обеспеченности. Пролетариат для него остается вечно голодной, бесправной и темной массой, не ощущающей даже потребности в свободе. Свобода для него то же, что свобода незанятого извозчика в известном анекдоте Прудона. Только полной оторванностью от живого рабочего класса можно объяснить эту аберрацию философа.

В двух практических и важных пунктах Бердяев расходится с современной демократией и приближается к фашизму в его русской или западной форме. Во-первых, в своем абсолютном отказе от экономической свободы. Он прав, конечно, в том, что социализм невозможен без ограничения свободы в экономической сфере. Но, не желая искать, вместе с современными социалистами, нового сочетания начал личной свободы и общественной регламентации, он заранее и целиком отдает государству всю полноту хозяйственной власти. Тем самым он лишает всякой независимости и хозяйственного интереса и крестьянство и ремесленников, включая «свободные» профессии, делая государство ничем не ограниченным властелином их судьбы. Отстаивая духовную свободу — для тех немногих, кто живет творчеством духовных ценностей — он, не замечая сам того, создает остров свободы для мыслителей и поэтов в океане всеобщего рабства.

Если в полном отрицании экономической свободы Бердяев приближается к коммунизму, то в корпоративной организации государства он разделяет принципы и восточного (советского) и западного фашизма. «Формальной» группировке граждан по территориальным округам и политическим партиям противопоставляется их организация по профессиональным трудовым корпорациям. Предполагается, что трудовые связи более реальны, чем поместные и политические. Это было бы верно при

возрождении творческого и этического средневекового отношения к труду как к искусству и долгу. При современном утилитаризме, особенно в связи с уничтожением многопартийности, корпоративная система делается политической основой для тирании. Так Бердяев, который из всех социальных форм более всего ненавидел государство, отступает перед ним почти по всему фронту — из ненависти к духовному типу буржуа.

Сообразно с колебаниями его политической мысли, менялось и его отношение к большевизму в России. Было время (1917—1922 г.г.), когда его негодование против коммунистической тирании не имело границ. Он сам жил в стране пролетарской революции и видел ее человеческое, а не только доктринерское лицо. Впрочем и тогда уже он кое-что принимал в ней: напр., приобщение широких масс к культуре и даже праведное возмездие. Действительно, Бердяев усвоил идею Де-Местра, что революции — суд Божий над народами. Из этой христианской идеи (не особенно связанной с его личной теологией), Бердяев сделал вывод, что нельзя идти против Божьего суда: всякая контр-революция осуждена, и революция может быть преодолена лишь изнутри, в своей имманентной эволюции. Это определило его отрицательное отношение к русскому белому движению и всей почти политической эмиграции, от крайне-правых до социалистов, боровшихся с большевизмом как с внешней и враждебной силой, поработившей Россию.

Оказавшись поневоле в эмиграции (Бердяев был выслан из СССР), он скоро был вынужден вести борьбу на два фронта: против капитализма и коммунизма одновременно. Это была позиция достойная философа и христианина. Одна из его книжечек «Правда и ложь коммунизма» своим заглавием указывает на его двойственную установку.

Однако, за время второй мировой войны это равновесие было нарушено — в пользу Советской России. Бердяев оказался захваченным потоком русских патриотических настроений, вспыхнувших с необычайной силой в среде русской эмиграции во Франции. И хотя в его статьях этого времени преобладают социальные, а именно анти-капиталистические ноты, но национальные мотивы про-советской стратегии не подлежат сомнению. Россия представлялась освободительницей мира от гитлеровского фашизма. Сходство двух тоталитарных режимов забывалось. Жила вера, ни на чем не основанная, в близость больших перемен во внутренней политике большевистской партии. Тогда-то Бердяев написал книгу, одну из последних своих книг, — «Русская Идея», где выразил неожиданную для него

славянофильскую веру в особое религиозно-историческое призвание России. В течение многих лет он боролся против национализма как одного из самых страшных ядов нашей эпохи. Вместе с Вл. Соловьевым он утверждал всеобщие, но различные призвания каждого народа. Он не отказался от этой веры и теперь. Но Россия имеет особое преимущество перед другими народами: в самой силе и качестве ее религиозного мироощущения. «Русский народ принадлежит к религиозному типу»... «Этические идеи русского человека очень отличны от этических идей западных народов, и это более христианские идеи». И русская идея более «общинна», чем западная. Вот почему для «нового Иерусалима» «путь уготовляется в России». Социальная революция в России есть этап на этом пути.

Многие друзья и ученики Бердяева были глубоко и тяжело поражены этим последним уклоном учителя. Особенно странно было, что Бердяев, который всю жизнь шел против течений, господствующих вокруг него, оказался вторящим толпе и властителям текущего дня. Являлась мысль о старческом ослаблении его духовных сил. Впрочем, чем дальше разворачивались события, тем более разочаровывался Бердяев в своих ожиданиях от Советского Союза. Уже он поднимал свой голос в защиту свободы слова, попираемой в России. Друзья передают, что под конец от его первоначального энтузиазма ничего не осталось. Однако, он не пожелал выразить в печати свое новое накопившееся возмущение — чтобы не дать лишних аргументов сторонникам войны против СССР. Войны он боялся больше всего на свете.

В «Русской идее» самой характерной чертой русской религиозности Бердяев считает эсхатологизм. Его подбор типичных русских мыслителей по этому признаку страдает некоторой искусственностью. Ни Пушкин, ни почвенники, преемники московской традиции, не вошли в линию «Русской идеи». Поднятый русской революцией, задолго до ее взрыва, вихрь разрушительных и эсхатологических идей объявляется выразителем смысла всей тысячелетней истории России. Но этот выбор русской магистрали показателен для самого Бердяева. Он, действительно, самый эсхатологический из всех русских религиозных мыслителей. Подобно многим людям своего поколения, он переключил в христианскую эсхатологию революционные настроения эпохи. Эсхатологизм Бердяева вырастает из совершенно других религиозно-психологических корней, нежели традиционно-христианский, особенно православный. Не уход из истории и не сознание ничтожества человеческого культурного

дела порождает его жажду конца. Ее рождает революционное недовольство всем существующим и тоска по конечном и радикальном преображении мира. Эсхатология Бердяева не есть отвержение истории, но завершение ее.

Бердяев считает себя философом истории по преимуществу. Его отношение к основным формам падшего мира — пространству и времени — не одинаково. Мир пространства, содержащий в себе материю, поработщает человека. Мир времени создает возможность истории как арены человеческого коллективного творчества. Правда, человеческое творчество реализуется в истории лишь частично. Эта неудача, а также смертность его, делают историю не бессмысленной, но трагически несовершенной. Все существующее должно сгореть в огне личных и исторических катастроф. Но конец истории, которого жаждет Бердяев, не только уничтожение социального, но и осуществление Царства Божия. Суд и осуждение зла лишь подчиненный момент в торжестве Царства. Бердяев готов даже допустить Оригеновский апокатастасис — всеобщее спасение, если бы этому не препятствовало его признание последней ценности свободы. Ад есть не кара Божия, но право тварной свободы. Эсхатология Бердяева полна оптимизма, несмотря на ее катастрофичность. Сама катастрофичность, вероятно, источник радости для революционного духа, как трагическая игра для Ницше. Мы уже видели, как свет этой вселенской эсхатологии падает на все человеческое творчество, делая невозможным, для Бердяева даже противным, всякое законченное, пребывающее совершенство.

И однако, в плане истории, т. е. эсхатологии, Бердяева и подстерегало последнее искушение. Он знает и любит повторять, что вся история соткана из преступлений. Но финальная Осанна заставляет его часто забывать, что история есть поле свободы и борьбы. Добро и зло борются в мировом процессе чрез человека. В этой борьбе личность зачастую обречена стать жертвой бессмысленных социальных сил. Ее давит и губит не одна природа, но и история. И Бог ждет от нее сопротивления действующим в истории силам зла.

Соблазн Бердяева — признать разумность истории *en bloc*, заставив личность перед ней преклониться. Бог, который молчит для него в природе, говорит в истории — и не только чрез пророков, ее обличающих, но и чрез ее временных и грешных владык. Это соблазн оптимистического гегельянства, столь роковой для русской интеллигенции, начиная с Белинского, через марксистов, до наших «пореволюционеров» всех оттенков.

Монизм, от которого бежал Бердяев-философ, подстерегал его в истории. Не желая покоряться ни законам природы, ни авторитетам человеческим и даже Божественным, Бердяев склонил свою гордую голову перед историей, в одной из ее самых страшных и отвратительных фаз: перед коммунистической революцией.

Может ли этот политический, хотя бы и последний грех, заставить нас забыть о подвиге целой жизни, об исключительной духовной красоте и благородстве ушедшего учителя? Время скоро исцеляет политические раны. «Двенадцать» Блока не мешают уже нам почитать поэта, как Пушкин дорог нам всем, несмотря на «Клеветникам России». Н. А. Бердяев войдет навсегда в историю России как образ живого и страстного религиозного искателя и борца, как человек, впервые открывший Западу все богатство и сложность, всю противоречивость и глубину русского религиозного гения.

Г. Федотов

Б. Э. НОЛЬДЕ

Ушел последний из плеяды выдающихся русских государствоведов до-советского периода русской истории.

Поразительна судьба этих государствоведов. Государству, как «паразиту», предстояло, по Ленину, «отмереть». Но до того «отмерли», далеко не всегда своей смертью, государствоведы в России.

Мартиролог был открыт зверским умерщвлением разнужданной матросней в больнице — вместе с Шингаревым — Федора Федоровича Кокошкина, в ночь после разгона Учредительного Собрания.

Тремя годами позже, в порядке «организованного» красного террора был расстрелян, вместе с Гумилевым, Таганцевым и др., Николай Иванович Лазаревский.

В те же годы гражданской войны «своей» смертью — от сыпняка — умерли Владимир Матвеевич Гессен и Богдан Александрович Кистяковский.

В Берлине монархисты-реставраторы, целясь в П. Н. Милюкова, убили Владимира Дмитриевича Набокова.

Десятилетием позже наложил на себя руки в Варшаве знаменитый Лев Иосифович Петражицкий.

На пражском кладбище похоронили Павла Ивановича Новгородцева.

На парижском кладбище лежит прах сравнительно молодого Павла Павловича Гронского, незадолго до смерти лишившегося рассудка.

И вот сейчас в Лозанне оборвалась, уже в 70-летнем возрасте, жизнь Бориса Эмануиловича Нольде.

**
*

Борис Эмануилович был ученым, как говорится, — Божьей милостью. Он был первоклассным юристом, обладал острым аналитическим умом, огромными знаниями, живым интересом и

«вкусом» к проблемам права. И писал он отличным, простым, сжатым и точным, элегантным языком.

Специальностью Б. Э. было публичное право — международное (в 1917 году он занял кафедру международного права знаменитого Ф. Ф. Мартенса в Петербургском университете), государственное, финансовое. Но интересовался он и другими отраслями права: гражданским, торговым, морским. Он читал курсы и лекции в университетах России, Франции, Бельгии, Голландии и печатал статьи, учебники, монографии на русском, немецком, французском и английском языках.

Б. Э. был теоретиком права — историком, догматиком, компаративистом и политиком права. Вместе с тем он и практически участвовал в выработке правовых норм. В автобиографических данных, которые приводит Нольде в печатном издании курсов, прочитанных им в гаагской Академии международного права, имеется длинный перечень международных конференций, в которых Б. Э. участвовал по должности сначала юрисконсульта министерства иностранных дел (1907—1914), потом директора юридического, а затем экономического и административного отделов того же министерства иностранных дел. Здесь и 2-ая конференция мира в Гааге, и морская конференция, и конференция по охране тюленей от истребления, и конференция о финансах на Балканах, и т. д.

Б. Э. был историком права и в то же время был первоклассным историком идей, дипломатических отношений, общественных движений, жизни отдельных государственных деятелей и мыслителей. И этой отраслью знаний он занимался с увлечением всю жизнь, посвящая ей досуги от профессиональной работы и службы. Б. Э. был плодовитый писатель. Он не только знал свое ремесло и был отличным стилистом, он и любил его. Он писал книги и статьи — в специальных журналах и в общих. Не брезговал и газетами.

Было бы долго перечислять все, написанное покойным. Отметим только, что, наряду со специальными работами, как «Оговорка о наибольшем благоприятствовании и преференциальных тарифах», «Деньги в международном праве» и т. п., перу Нольде принадлежат и такие труды, как — «Россия в экономической войне» (по-английски, в известной серии по «Истории (первой) мировой войны», изданной Институтом Карнеги), «Старый режим и русская революция» (по-французски), «Юрий Самарин и его время», «Петербургская миссия Бисмарка» (по-русски и по-немецки), «Франко-русский союз» (по-французски) и т. д.

Государствовед не может не упомянуть и замечательных «Очерков русского государственного права», выпущенных Нольде еще в 1911 году. Третья часть этой обширной книги, написанной для юристов, конечно, переживет своего автора и не может не привлечь к себе внимания будущего политика, который столкнется с вопросом о взаимоотношении между русским «имперским» правом и правом местным — «областных автономий», возникших «на собственном праве» разного объема и по силе разных юридических титулов.

Интересно отметить, что под конец жизни Б. Э. вернулся, по существу, к той же проблеме, которой интересовался еще в молодости, но уже в историческом, а не юридическом аспекте. В письме, полученном мною год тому назад, Нольде пишет: «...Я поглощен огромной, затейной мною, исторической работой, посвященной «имперскому» развитию России. Кроме строк историков о взятии Казани или Очакова, или Теок Тепе, никто не занимался у нас этой имперской историей в целом. Двигается эта работа медленно, ибо все в ней исследование. Я одолел пока среднюю Волгу, Урал и Западную Сибирь, черноморские степи от Екатеринодара до Кишинева и сейчас поглощен Кавказом».

Говоря о Нольде-государствоведе, не могу не упомянуть и небольшого очерка, помещенного в сборнике статей «Современные Проблемы» под моей редакцией в Париже в 21-ом году. Очерк назывался «Народное представительство и представительство интересов». В нем было всего 14 страниц убористой печати, но он представляет собой, на мой взгляд, образец сжатой, но убедительной критики всех видов наролоправства, построенных на представительстве не лиц, а «групп» или «интересов», «советов», «корпораций» и т. п.*)

Дарования и знания Нольде были по заслугам оценены и русским юридическим миром — правительственным и общественным, — и юридическими авторитетами других стран. В 1914 году его избрали членом постоянной Палаты арбитражного суда в Гааге. Он состоял членом Международного Института Права—высшего авторитета в науке права—и нераз составлял доклады Институту. А осенью 1947 года, невзирая на свою бесподанность и верность «нансеновскому» паспорту,

*) Б. Э. и сам оценил этот свой очерк. Под заглавием «Современная демократия» автор перепечатал его в своем сборнике «Далекое и близкое». — Париж. 1930.

Нольде был избран председателем этого высокого учреждения.

Интересуясь историей права, Б. Э. интересовался, как уже было сказано, и историей вообще; и, интересуясь политикой права, он стал заниматься и чистой или практической политикой. Эта сторона его деятельности была наиболее слабой.

Б. Э. имел, конечно, свои политические — умеренно-либеральные — взгляды. Вряд ли можно утверждать, однако, что он имел и твердые убеждения. И объясняется это скорее всего его отношением к политике, как ценности второго порядка, и общим складом его ума и характера. Всю жизнь занимаясь всяческими проблемами и доктринами, Б. Э. не грешил доктринерством и брал вещи такими, какими они ему представлялись, — «реалистически», без прикрас, с законным скепсисом.

Реальность — обстоятельства военного времени и неудачи России в первую мировую войну — привела Нольде в партию к.-д., в ее Центральный Комитет. В февральский период русской истории Нольде стал одним из товарищей министра иностранных дел при П. Н. Милюкове-министре. Вместе с последним он и ушел из министерства. На том же правом крыле к.-д.ской партии, руководимом Милюковым, застал Нольде и октябрьский переворот.

Приблизительно тогда же началось между ними и личное и политическое расхождение, с годами только обострившееся. Раньше других к.-д. пришел Нольде к убеждению, что революцию «сделали» отнюдь не для того, чтобы успешно завершить войну. Эту «концепцию Милюкова», — которая была, может быть и близорукой, но концепцией не одного только П. Н., а большинства руководителей «революционной» и не-революционной демократии, — Нольде называет «одним из низнейших самообманов этой богатой всякими фикциями эпохи». «У Дана, Гоца, Скобелева, даже Керенского... сознание невозможности в одно и то же время вести войну и канализовать революцию было гораздо более ясным, чем у официальных вождей кадетов».

Кто помнит лозунги февральской эпохи, не может не подметить — правда, задним числом — тождества взглядов Нольде со взглядом тех, кто утверждал: либо революция «съест» войну, либо война «съест» революцию. Нольде свидетельствует, что уже тогда он, вместе с Набоковым, Аджемовым, Винавером, предлагал «свернуть с путей нашего классического империализма». Если это и было так в 17-ом году, в 18-ом пути названных лиц явно разошлись. После заключения сепаратного мира в Брест-Литовске большевиками, Нольде оказался на ко-

роткое время снова с Милюковым, Новгородцевым и другими кадетами, которые, вопреки большинству партии, руководимому Винавером, настаивали на сепаратном соглашении с немцами в целях свержения большевистской власти.

Попав, как и все кадеты, в число «врагов народа», Нольде тем не менее продолжал читать лекции в петроградском университете и морской академии до 1919 года, когда покинул Россию, чтобы навсегда перейти на положение полу-правного апатрида-«нансениста». В эмиграции Нольде окончательно разошелся с левым крылом кадетов, образовавших свое республиканско-демократическое объединение. Он вообще отошел от политики, но чувствовал себя единомышленником Набокова, редактировавшего берлинский «Руль», и стал сотрудничать в парижском органе Струве-Гукасова «Возрождение».

Б. Э. дорожил своим званием барона и никогда не возражал против того, что многие его титуловали. Не расставался он также и со своей розеткой офицера почетного легиона, которую получил задолго до того, как попал во Францию на положение эмигранта. И вместе с тем, невзирая на все свои унаследованные и благоприобретенные чины и звания, Б. Э. был исключительно простым, на редкость доступным «демократом». Он не оставлял без ответа ни одного письма и отвечал на каждое не позднее чем через 48 часов.

Небольшого роста, с волосами светло-рыжеватого цвета, сухой и подобранный, всегда безукоризненно одетый, в котелке или канотье, с галстуком, повязанным бабочкой, в пенснэ, которое к концу жизни сменили роговые очки, попыхивал он папироской и, улыбаясь, а то по-детски и подхихикивая, непринужденно беседовал со всяким, кому было до него дело.

Б. Э. любил жизнь и имел вкус — ко многому и разному. Он знал толк в искусно приготовленной пище, мог оценить хорошую папиросу после завтрака и обеда или пол-стакана — не больше — выдержанного вина. В 60-летнем возрасте он стал управлять автомобилем и продолжал ездить верхом. Приобретя имение в департаменте Сарт, он занялся садоводством и древонасаждением. Но таким же «гурманом» был он и в отношении духовных радостей жизни. Он поглощал огромное количество книг самого разнообразного содержания. Интересовался не только тем, что составляло его специальность и профессию. И писал, писал по собственному замыслу и почину, и по редакторскому «заказу», не отказываясь даже от небольшой рецензии.

Я знал Б. Э. Нольде по литературе задолго до того, как познакомился с ним лично. Это случилось 25 мая 1917 года, когда открылось Особое Собрание по выработке закона о выборах в Учредительное Собрание. Нольде вошел в это Собрание в качестве специалиста, наряду с Ф. Ф. Кокошкиным (председатель), Н. Н. Авиновым (секретарь), В. М. Гессеном, И. И. Лазаревским, В. Д. Набоковым, В. А. Маклаковым и др.

Держался он там очень скромно, даже как-то в тени. Ни разу не выступил при обсуждении общих вопросов или «принципов». Зато он взял на себя технически едва ли не наиболее трудную задачу — разработать и представить доклад об организации выборов на фронте от армии и флота. Как позднее Б. Э. писал, соответствующая часть Положения о выборах «навсегда останется единственным в своем роде прецедентом в истории избирательного права. Всеобщие выборы в их самой современной и тончайшей постановке приходилось применить в полевых окопах, лицом к лицу с немецкой тяжелой артиллерией. Сколько настойчивости, выдержки и политики надо было вкладывать в эту работу, чтобы не сделать из выборов на фронте простого предлога для дезертирства. Приходилось с трудом отбиваться от максимализма левых коллег, частью все еще не успевших к тому времени научиться государственному делу».

Нольде превосходно справился с своей задачей. И когда, по завершении работ Собрания, надо было из 70-членного собрания выделить 15-членную Всероссийскую Комиссию по выборам, которая следила бы за осуществлением того, что было написано в Положении о выборах, Б. Э. был избран в эту Комиссию за специальные заслуги, как незаменимый эксперт.

Участие в этой Всероссийской Комиссии по выборам привело Нольде, вместе с другими ее членами, к аресту, по распоряжению Ленина, и заключению в Смольном Институте, который в первое время после октябрьского переворота служил не только штаб-квартирой большевиков, но и арестным домом для их противников.

Нас продержали в Смольном с неделю — в небольшой комнате, «общей камере». Было тесно и неудобно. Особенно чувствительным заключение было для наших более солидных коллег, непривыкших проводить дни и ночи под замком в мало-знакомой компании. Однако, они с честью выдержали испытание: не нарушая коллегиальной солидарности, они приспособились к новым условиям, стараясь в меру возможности соблюдать свой уклад жизни.

Вспоминаю, как поразил воображение карауливших нас красноармейцев Набоков, когда стал мыться, не обращая внимания на окружающих, в распластанном на полу резиновом тазу, или когда он начинал бриться, вынимая из ящика очередную бритву из семи, предназначавшихся на каждый день недели. И Нольде обзавелся походной кроватью, которую приставил к стене, и создал подобие своего «угла», отделявшего его от других, спавших где попало: на стульях, на деревянном диване, на полу, даже на столе.

Мы не только убивали время, но и пытались развлекаться как могли. На третий день заключения решено было устраивать по вечерам общую беседу на тему, которую предоставлялось выбрать очередному докладчику. Идея «паритета» прочно вошла в общее сознание, и наши коллеги справа настояли на чередовании докладчиков — правых и левых.

Первый доклад или сообщение сделал Набоков. В живой форме рассказал он, как вместе с Нольде, вооружившись первым томом Свода Законов, составили они акт об отречении от престола великого князя Михаила Александровича и о передаче «всей полноты власти» Временному Правительству. Это произошло утром 3-го марта у князя Путятина на Дворцовой площади, в комнате его дочери, за детским учебным столом. В своих воспоминаниях о 17-ом годе Набоков подробно воспроизвел свой рассказ в печати.

Следующим докладчиком, в порядке паритета, был Леонтий Моисеевич Брамсон. Он рассказал интересный эпизод, позднее опубликованный, — свое посещение Ясной Поляны и беседу с Толстым.

Третий вечер занят был историческим экскурсом Нольде в то, что именовалось тогда тайной дипломатией, и что представляли собой неопубликованные соглашения и договоры России с другими государствами. Можно только пожалеть, что этот рассказ не был напечатан. Это было бы чрезвычайно поучительно даже для нынешних, кой-чему успевших поднаучиться советских дипломатов*).

*) Среди документов, опубликованных большевиками в качестве «секретных договоров», оказались и найденные ими в архивах простые «справки» и «записки», составленные в министерстве иностранных дел для собственных нужд.

Этому не приходится удивляться, если знать, кто и как занят был подготовкой к опубликованию тайных договоров. В выпущенной в 1945 г. советской «Истории Дипломатии. Том Второй. Дипло-

После четвертого сообщения, которое делал я, пришло уведомление об избрании меня членом Учредительного Собрания по тверскому избирательному округу, и всех, заключенных вместе со мной, освободили. То были еще идиллические времена: Урицкий еще не был главой Че-Ка, а всего лишь Комиссаром по выборам в Учредительное Собрание.

Вспоминаю еще эпизод, по которому пришлось встретиться — и столкнуться — с Б. Э. Нольде.

Это было в связи с расследованием действий царских министров, которым занята была специальная комиссия. Ее возглавлял Н. К. Муравьев, а участвовал в ней среди прочих сотрудников — Александр Блок. Комиссия собрала весь материал и оказалась перед вопросом: как поступить с арестованными? Если предать суду, то кто на это уполномочен и на основании каких законов составить обвинительный акт? На основании старых, «их» же законов, которые они нарушили, или на основании общих норм права, «естественного» или «интуитивного», не получившего выражения в писанном законе?

Это был тот же вопрос, который встал перед международным правосознанием и перед организацией нюрнбергского и других процессов. Отпустить явного преступника на том основании, что он предусмотрительно не закрепил в тексте наказуемость своих деяний и меру ответственности за них, или покарать его, несмотря на формальный пробел в законе?

Б. Э. Нольде и я были приглашены Комиссией дать по этому вопросу свои заключения. Квалификация Нольде как эксперта была самоочевидной. Меня же пригласили, очевидно, либо в порядке все того же «паритета», либо как автора не-

матия в Новое Время» можно прочесть, что тайные документы были опубликованы «сотрудником Наркоминдела матросом Маркиным... Вместе с другими красногвардейцами Маркин просиживал ночи, добываясь расшифрования документов».

В этой «Истории» содержатся и заведомо лживые утверждения, например, что «и Временное Правительство непрочь было заключить мир с Германией, а некоторые его деятели, как бывший министр иностранных дел Милюков, прямо предлагали опереться на немцев для подавления революции» (стр 305 и 310).

Ложь — и клевета — заключаются в том, что, когда Милюков это предлагал, он не был уже министром, а большевики уже сделали сами то, что ставят теперь в вину Милюкову и, уже без всяких оснований, — Временному Правительству.

задолго до того опубликованной работы о судебной ответственности министров. Как бы то ни было, но наши заключения резко разошлись.

Нольде считал, что, кроме мелких правонарушений и злоупотреблений, Комиссии на основании существовавших законов не удастся ничего установить в отношении привлеченных к ответственности. А потому он рекомендовал «не срамиться», дела против Белецкого, Хвостова, Щегловитова и др. прекратить и арестованных отпустить с миром, посоветовав им впредь не грешить.

Я держался другого мнения. Считаясь с политической обстановкой и основываясь на многочисленных прецедентах из практики французских революций и переворотов, я предлагал Комиссии, по заключении предварительного следствия, направить все дела на усмотрение Учредительного Собрания, наделенного всей полнотой власти и, тем самым, облеченного правом и предания суду, и осуществления судебных функций.

**
*

Известно, что совместное заключение, как школа или военная служба, сближает людей самых различных положений, среды, воспитания, устремлений. И в парижской эмиграции у меня сохранились с Б. Э., несмотря на политические разногласия, самые дружественные отношения, хотя встречались мы сравнительно редко и больше «по делам» — общественным, литературным, академическим.

Нольде принял близкое участие в организации и деятельности созданного в Париже Российского Общества в защиту Лиги Наций. Он сотрудничал в «Современных Записках», не отказываясь никогда от написания статей, в которых был заинтересован не столько автор, сколько журнал и его читатели. Мы встречались с ним и на заседаниях русского юридического факультета при Институте Славяноведения. Лично — материально или профессионально — Б. Э. несколько не был заинтересован в существовании этого учреждения. Тем не менее в течение ряда лет он отдавал ему свое время и внимание в качестве декана.

Он вел собрания с необычайной скромностью и сдержанностью, никогда не отвечая на иногда нервные выходки коллег, среди которых были люди самых различных политических настроений. Б. Э. не был блестящим оратором. Он и не любил

публичных выступлений перед неподготовленной аудиторией. Скорее застенчивый, он предпочитал не вступать в спор и либо отмалчивался, либо отделялся шуткой или ироническим замечанием «в сторону».

Он был незлобив и ни в какой мере не злопамятен, как бы сознавая, что в споре вопрос в конечном счете решается не тем, за кем останется последнее слово или кто больше уязвит противника. Когда вышла книжечка Нольде «Старый режим и русская революция», я дал о ней очень неблагоприятный отзыв в еженедельнике «Дни». Я считал, что говорить о крестьянской реформе 1861 года, что она произвела «сполиацию» помещичьей земли и тем самым как бы предрешила успех большевизма, является не только анахронизмом исторически, но и совершенно неприемлемым морально-политически: искажая всю перспективу, такое толкование снимает частично ответственность с большевизма и перелагает ее на реформу, не завершенную, но в корне своем более чем оправданную.

При очередной нашей встрече Б. Э. не сделал вид будто ничего не произошло или что он не знает о моей статье. Лукаво улыбаясь и добродушно подхихкивая, он с того и начал:

— Читал, читал, как Вы меня разнесли!.. Напрасно!.. Знаете, мне лично эта книжечка нравится!..

Это было все. На наших отношениях это не оставило следа. Б. Э. попрежнему оставался приветливым и любезным. Из многолетнего своего опыта, авторского и редакторского, я хорошо знаю, как редко можно встретить незлопамятного человека — особенно среди тех, кто по всей справедливости считает себя «не последним сыном своей родины».

Наступление Гитлера на Париж навсегда разделило нас: Нольде уехал к себе в имение, я — в Соединенные Штаты. Знаю, что Б. Э. достойно прожил все годы немецкой оккупации. Не без огорчения прочел, по окончании войны, излишние его славословия по адресу «безукоризненной» советской дипломатии наряду с его же совершенно трезвым опасением, как бы советская власть не увлеклась и не «надела аркан на политику соседних самостоятельных народностей». Я тогда же отозвался на эти взгляды Нольде (в ст. «Сан-Франциская Хартия» в 11-й книжке «Нов. Журнала»).

Не вступая со мной в прямую полемику, Б. Э. писал мне значительно позже: «Я вижу, что Вы живо следите за всеми переживаниями русской здешней колонии. Прежние «водоразделы» более или менее исчезли и сейчас они проходят иначе: отчасти по переживаниям годов немецкой оккупации, отчасти

по переживаниям первых годов «освобождения» и приснопамятного визита к Богомолу. Лично я ни одной минуты не сомневался в победе союзников и ни одной минуты не сочувствовал «про-советской» ориентации после конца войны. Советы вели себя весьма умно во время войны и ведут себя до крайности глупо со времени ее окончания. Объяснение этой эволюции весьма просто: сочетание восточного лукавства Сталина и отсутствия всякого политического воспитания в нем и в его «головотяпском» окружении».

**
*

Судьба жестоко обошлась с русскими государствоведами. Она преследует и русское государствоведение.

После Ф. Ф. Кокошкина остались две большие рукописи, над которыми он работал много лет. Обе были посвящены образованию сложного государства и формам национального объединения: автономии, федерации, союзу государств, унии и т. д. Вопреки увещаниям друзей и учеников, Ф. Ф. не спешил с опубликованием заключений, к которым пришел в итоге долгих размышлений и двукратной поездки в Лондон для изучения механизма британской империи. Ф. Ф. хотел еще и еще раз продумать и проверить свои выводы. После умерщвления Кокошкина и «огосударствления» научной мысли в СССР, об опубликовании работ признанного «врага народа», конечно, не могло быть и речи.

Иначе обстоит дело с незаконченной, но значительно продвинутой работой Б. Э. об «имперском» развитии России. Она, к счастью, вне досягаемости гасителей свободной мысли. И нам представляется, что долг наследников и почитателей памяти Б. Э. сделать все возможное, чтобы его труд увидел свет, хотя бы в том виде, в каком его оставил покойный.

М. Вишняк

БИБЛИОГРАФИЯ

LENIN. By David Shub. N. Y., Doubleday, 1948. 438 pp.

Для своей биографии Ленина Д. Н. Шуб использовал огромный материал, накопившийся в русской мемуарной и исторической литературе, советской и эмигрантской. Можно сказать, что ни одно из ранее появившихся жизнеописаний Ленина не может сравняться с этой новой его биографией по полноте и богатству фактического своего содержания. На основе собранного им материала Д. Н. Шубу удалось дать яркое изложение всех этапов жизненного пути Ленина и нарисовать убедительный его образ. Автор скуп на выводы и обобщения, не вдается в психологический анализ и не прибегает к драматическим литературным эффектам. Тем замечательнее то впечатление цельности, которое производит его книга, и тот ни на минуту неослабевающий интерес, с которым она читается. С этой точки зрения книгу Д. Н. Шуба надо признать несомненным литературным достижением.

О Ленине-человеке (поскольку «человека» в нем можно отделить от «политика») мы знаем очень мало. Объясняется это отчасти сравнительной скудостью наличного чисто-биографического материала, отчасти же преобладавшим среди его биографов подходом. Биографии, появившиеся в Советской России, написаны, конечно, в духе обязательного партийного славословия. Книги русских и иностранных авторов, вышедшие за пределами России, сосредоточивались на политической деятельности и исторической роли Ленина. И для Д. Н. Шуба центр тяжести естественно лежит в Ленине-политике. Но в большей мере, чем кто-либо из его предшественников, он уделяет внимание и личной стороне ленинской биографии. Думается, что в этой области читатели Д. Н. Шуба найдут больше всего для себя нового. Но не мало нового — или во всяком случае забытого или недостаточно известного — найдут они и в его трактовке революционной карьеры Ленина. Главное же достоинство книги Д. Н. Шуба заключается в том, что она с непререкаемой, на мой взгляд, убедительностью показывает роковую неизбежность развития ле-

нинской политической стратегии и тактики, всего его революционного замысла — в ту систему тоталитарной террористической диктатуры, которая получила такое законченное выражение в руках его ученика и преемника Сталина. Для иностранного читателя, к которому обращена книга Д. Н. Шуба, вывод этот, не навязываемый, а наглядно показываемый автором, будет особенно поучителен.

Если избранный Д. Н. Шубом биографический метод имеет свои явные преимущества, то в некоторых отношениях он имеет и свои неудобства. Автор не ставил своей задачей написать историю русского революционного движения и революции 1917 года. Но, конечно, избежать характеристики общего исторического фона деятельности Ленина он не мог. И вот здесь, в виду краткости и суммарности его изложения, возможны со стороны читателя некоторые недоразумения. Так в первой, после «пролога», главе, дающей краткий очерк революционного движения до 1917 года, слишком подчеркнуты те течения, от которых тянутся прямые нити к Ленину, к некоторому ущербу полноты исторической картины. В изображении событий 1917 года сосредоточение интереса на Ленине и руководимой им партии тоже может повести (я уверен — вопреки желанию самого автора) к несколько одностороннему впечатлению: о работе Временного Правительства, о созидательных процессах в стране и о народном сопротивлении большевизму соблазну говорится сравнительно так мало, что ленинский захват власти может показаться как бы исторически предопределенным.

И еще одно замечание общего характера. В одной из заключительных глав автор характеризует Ленина как «диктатора без тщеславия». Мелкого личного тщеславия в Ленине может быть и не было: трудно представить его себе в генеральском мундире, принимающим — хотя бы и из политического расчета — тот финиш грубой лести и славословия, который так густо клубится вокруг Сталина. Но в нем несомненно было огромное честолюбие и властолюбие. Именно оно, на ряду с беспощадностью и неразборчивостью в средствах, отличало его от русских революционеров «классического типа», и временами кажется, что в этой «воли к власти» был главный двигатель его революционной деятельности. Могут сказать, что Ленин стремился к власти только потому, что считал себя единым обладателем истины. Но психологически это дела в сущности не меняет.

Для работы такого объема и столь насыщенной фактическим материалом, в книге Д. Н. Шуба очень мало неточностей или пропусков. Но кое-какие неточности и пропуски всё же есть, и долг рецензента — их отметить. Говоря о второй половине 60-х годов,

автор называет в числе революционных лидеров «молодого дворянина» Бакунина — Бакунину в то время было больше пятидесяти лет. Лавров не был таким уж «постепеновцем», каким его изображает автор. Неточно утверждение, что Ткачев «овладел умами многих русских студентов» — до конца своей жизни Ткачев имел мало последователей в русской революционной среде. При изложении борьбы Ленина против русского «ревизионизма» странным образом забыто шумевшее «Кредо» Е. Д. Кусковой и С. Н. Прокоповича. Едва ли можно признать правильной характеристику меньшевнической позиции, как «нежелание пожертвовать буржуазной свободой во имя осуществления социализма»: в меньшевнической схеме «буржуазная свобода» была путем к осуществлению социализма. И в те годы, по крайней мере на словах, того же взгляда держался и Ленин, на что указывает и Д. Н. Шуб. Не знаю, можно ли сказать, что «всю свою жизнь Плеханов сокрушался по поводу своей лондонской речи» (о благе революции, как верховном критерии). Во всяком случае неверно, что непосредственно после съезда Плеханов благодарил Мартова за смягчающие разъяснения: Плехановское «мерси» было явно ироническим. Неудачно формулирована автором позиция тех политических деятелей, которые в марте 1917 года не возлагали надежд на согласие вел. кн. Михаила Александровича принять престол: у читателя может получиться впечатление, что они руководились соображениями личной безопасности — впечатление, на которое автор едва ли рассчитывал.

М. Карпович

HAROLD J. LASKI. THE AMERICAN DEMOCRACY: A COMMENTARY AND AN INTERPRETATION. N. Y. The Viking Press, 1948, 761 pages, \$6.50.

Новая книга профессора Ласки, по наружным признакам и по содержанию в некоторых своих частях, представляет собою монументальный труд. В этой работе английского ученого и политика покрыты почти все стороны сложной американской жизни: история, политика, право, экономика, рабочее движение, религия, образование, пресса, радио и даже кинематографическое искусство.

Колоссальная эрудиция и исключительное трудолюбие автора, сочетающиеся во многих частях книги с большим литературным блеском, сделали эту очередную работу Ласки большим событием в

Америке, и по всей вероятности, на европейском континенте. Необходимо заметить, однако, что органические недостатки книги таковы, что она вряд ли войдет, в качестве ценного вклада, в интеллектуальный инвентарь нашей эпохи.

В переживаемое нами время нельзя написать значительную книгу об Америке, о значении новых путей в ее внутренней и внешней политике, не поняв полностью того глубокого, по существу революционного перерождения, — политического, экономического и социального, — которое началось в 1933-м году, со времени вступления Рузвельта в Белый Дом. И так как эпилог этой драмы, ее послевоенные годы, отмечен интенсивной борьбой между этой новой Америкой, выступающей в качестве знаменосца мировой демократии, и кремлевской олигархией, представляющей собою, по существу, «последние тучи» рассеянной грозной тоталитарной бури, в дополнение к пониманию Америки, необходимо также ясное понимание того режима, который, наложив тяжелую руку на русский народ, угрожает теперь существованию всей демократической цивилизации.

Основной недостаток книги Ласки заключается в том, что по отношению к современной Америке он полуслеп, а по отношению к кремлевской диктатуре слеп абсолютно: слеп интеллектуально и морально. В книге его есть много интересных, содержательных и блестяще написанных страниц, но ценность ее в целом сведена почти на нет постоянными срывами автора в примитивный марксистский трафарет и, одновременно, все еще продолжающейся у него идеализацией кремлевской диктатуры.

Ласки признает, что избрание Рузвельта в 1932-м году и двенадцать лет его администрации «открыли новую эпоху в американской истории» и что эпоха эта «потрясла С. Штаты до самого основания» (стр. 35-36). В дальнейшем изложении, на стр. 177, он замечает, что «великая депрессия превратила Америку в государство социальной кооперации» (social service state). Вслед за известным американским экономистом, профессором Луи Хэкер, Ласки называет новую, по-рузвельтовскую эпоху в американской жизни эпохой «государственного капитализма» (стр. 178). Расходится он с проф. Хэкер в том, что в то время, как последний считает, что новая эпоха сделала Америку «экономически обеспеченной и политически свободной», по мнению Ласки, эта эпоха, как и предыдущая эпоха в хозяйственном развитии Америки, должна неизбежно привести к новому кризису.

Корень зла, по мнению Ласки, заключается в том, что и после рузвельтовских реформ, «собственность и контроль (экономической жизни) остались в тех же руках» (стр. 178). Неизбежность нового

кризиса в Америке Ласки видит «в огромной сверх-производительности американской индустрии и нежелании заводчиков и банкиров платить такую заработную плату рабочим, при которой домашнее потребление было бы для них так же выгодно, как и сбыт на внешних рынках» (стр. 535-6).

В этих основных положениях Ласки, представляющих собой перелом любимых мыслей советских экономистов и политических стратегов, все, решительно все, фантастично. В то время как, в строго юридическом смысле, собственность на средства производства в Америке осталась в тех же руках, в которых она была до рузвельтовской эпохи, контроль экономической жизни, в очень значительной степени, переместился в другие руки — в рабочие организации и в руки демократического правительства.

Одним из самых важных последствий рузвельтовских реформ является гигантский рост организованного труда в Америке. В течение пятнадцати лет, 1933-48 г.г., количество организованных рабочих в Америке выросло с 3,5 миллионов до 15-ти миллионов. Значение этого необычайно важного факта вполне оценил известный американский ученый, профессор политической экономии в Гарвардском Университете, Сомнер Сликтер, в статье, красноречиво озаглавленной, «Are We Becoming A Laboristic State?», появившейся в New York Times от 16-го мая, с. г.

«Значение этого роста юнионов», писал проф. Сликтер, «гораздо большее, чем просто замена индивидуального сговора об условиях труда сговором коллективным. Явление это знаменует собой постепенное перерождение Америки из общества капиталистического в общество трудовое» («It means that the United States is gradually shifting from a capitalistic community to a laboristic one»). По мнению проф. Сликтера, это новое явление постепенно отразится на всех этических и правовых понятиях страны и на ее политическом будущем.

По самой природе своего одностороннего, догматического мышления, Ласки этого явления правильно оценить не мог. Как и у советских публицистов, у него на палитре только две краски: белая и черная. Белой краской покрываются все явления в России под кремлевской диктатурой, и некоторые его оговорки и дружеская «критика» советских условий, проскальзывающая здесь и там, по существу ничего не изменяют. Черная краска, обильная и густая, резервирована для такого же суммарного покрытия всех явлений, происходящих за пределами кремлевской сатрапии.

Советский Союз для Ласки — «страна социализма» (стр. 537), и к «русскому эксперименту», на протяжении 30-ти лет сопровождаемому терзанием и убийством миллионов людей, он, по всем данным,

относится с большей симпатией, чем к своему собственному, английскому эксперименту по созданию демократического социализма, проводимому в мирном, конституционном порядке. О мирном, но очень глубоком перерождении «капиталистической» Америки и говорить не приходится: здесь Ласки, не понимая самого главного, по существу ничего не понимает.

Как мы видели, вопреки утверждению Ласки, со времени Рузвельта произошло очень важное перемещение контроля промышленной жизни Америки. На этом следует остановиться подробнее. Государственная защита права рабочих на организацию и на коллективный сговор с работодателями об условиях труда привела к организации американских рабочих в главных, массовых индустриях. — стальной, автомобильной, электрической и т. п., — там, где до Рузвельта рабочих организаций не было. Проведение в Конгрессе закона, известного под именем **National Labor Relations Act**, в начале рузвельтовской администрации, не было классовым законодательством. Как и все рузвельтовские реформы, этот законодательный акт был продиктован здоровым пониманием общенациональных интересов. Организованный труд является важным элементом в общегосударственной организации современной демократии.

В результате этой реформы выиграли не только рабочие, но и вся страна. Только благодаря непрерывному давлению со стороны этих организованных рабочих сил, послевоенная инфляция не привела к экономической катастрофе в Америке. В то время как, под влиянием превышения спроса над предложением, цены на предметы первой необходимости в Америке, начиная с 1939-го года, выросли, в среднем, на 70 проц., заработная плата в промышленности, за этот же период, повысилась на 112 проц. По данным Департамента Труда в Вашингтоне, опубликованным 20-го октября 1947-го года, реальная заработная плата, за последние восемь лет, поднялась на 30 проц. Проф. Колумбийского Университета, Фридерик Миллс, выдающийся авторитет по этому вопросу, в своей работе, «*The Structure of Post-War Prices*», определяет повышение реальной заработной платы в Америке, начиная с 1939-го года, в 34 процента.

Одновременно, за этот же период, по вычислениям проф. Миллс, реальный заработок американских фермеров, защищенных со времен Рузвельта законодательством, установившем так называемые «*parity prices*» повысился на 100 проц.*). Таким образом, в результате

*) Существо «*parity prices*» заключается в том, что правительство в Вашингтоне, в начале каждого сезона, устанавливает минимальные цены на фермерские продукты на основе текущих цен на продукты индустрии.

рузвельтовских реформ, в Америке создан громадный и устойчивый внутренний рынок, и для американских «заводчиков и банкиров» нет необходимости погони за рынками внешними, в которой проф. Ласки видит главную причину выдуманного им нового «американского империализма».

Вместо «сверх-производительности», в Америке сейчас товарный голод, на удовлетворение которого потребуется много лет. Жилищный дефицит определяется, по крайней мере, в 10 миллионов единиц, а начавшееся скромное удовлетворение этого голода идет на базе меньше миллиона единиц в год. Автомобильный дефицит определяется в размере от 10 до 12 миллионов единиц и, принимая во внимание текущие нужды, только около миллиона автомобилей в год идет на погашение этого дефицита. Значительное увеличение производства в автомобильной промышленности невозможно, так как в стране, помимо прочего, также и стальной голод, исчисляемый от 10 до 15 миллионов тонн в год.

Начавши с непонимания и искажения основных фактов политической и экономической жизни послевоенной Америки, Ласки катится дальше по наклонной плоскости старо-марксистского трафарета. Логика его такова: американским заводчикам и банкирам нужны внешние рынки; все страны, за исключением Америки, разорены войной, и поэтому Америка должна снабжать их миллиардами долларов на покупку американских продуктов; страны эти «не покупатели, в обычном смысле, а «просители» (*«petitioners»*). Заключение: «В таких условиях, Объединенные Нации, как всегда (*sic!*) за исключением России (*«always with the exception of Russia»*), превращаются в организацию... экономического господства С. Штатов» (стр. 537).

Книга Ласки, если бы он работал в России, должна была бы заслужить премию Сталина, и автор ее мог бы быть назначен в префектуру пребывающего в опале советского экономиста Варги, если бы в этой книге, здесь и там, не были рассеяны «еретические» оговорки. Так, заключив, на стр. 82-й, что, по мере того, как новая эпоха развертывается в С. Штатах, они должны превратиться, неизвестно по какой роковой дилемме, «в общество, которое полностью осуществит демократический идеал, или полностью его отвергнет», Ласки все-таки прибавляет: «Объективные силы мировой истории двигают Америку в демократическом направлении... В этом историческая миссия современной Америки».

Среди этих объективных факторов, внутренние силы обновленной американской демократии играют громадную роль. Не понимая насколько это осуждает все его замалчивания преступлений сталинского империализма и все его обвинения С. Штатов в несуществую-

щем «новом американском империализме», Ласки правильно замечает, что во всех странах «внешняя политика неотделима от политики внутренней» (стр. 562). Советская политика лицемерия и грубого насилия во всех странах, куда кремлевская олигархия сумела протянуть свои щупальцы, неотделима от политики жестокого угнетения, которое она практикует над своим собственным народом.

С другой стороны, американская послевоенная внешняя политика, которая охраняет очаги свободы во многих странах Европы, и, одновременно, в плане Маршалла, протягивает им руку щедрой экономической помощи, — эта политика отражает те новые движения в американской жизни, которые, на наших глазах, все в большей и большей степени превращают Америку в страну не только политической, но и экономической демократии.

А. И. Зак

David Hecht. Russian Radicals Look to America, 1825—1894.
Harvard University Press, Cambridge, 1947. 242 pp.

Настоящая книга, написанная молодым американским ученым, владеющим русским языком, затрагивает весьма интересную проблему о духовных и политических контактах между Россией и Соединенными Штатами. Автор разбирает последовательно взгляды Герцена, Огарева, Бакунина, Чернышевского, Лаврова и Чайковского. Такой обзор требует подробного углубления в весьма богатый книжный и журнально-газетный материал за ряд десятилетий. И надо отдать справедливость автору: он в общем выполнил свою задачу с большой тщательностью и обнаружил основательное знакомство с литературой предмета.

По поводу основной темы книги следует заметить, что русские радикалы «обращали свой взор к Америке» задолго до Герцена и после Лаврова-Чайковского. Даже и советское тридцатилетнее стремление «догнать и перегнать Америку» относится к той же теме. Вот почему точное определение хронологических пределов исследования является крайне важным. Подзаголовок книги гласит «1825-1894». Между тем изложение в книге начинается с Герцена, т. е. с 1840-х годов, если не говорить о кратком упоминании декабризма (стр. 17-18), и заканчивается 1880-ми годами. Неужели 1894 года взят только как год смерти Александра III? Подзаголовок, поэтому, произволен,

не отражает хронологических рамок исследования и обещает читателю больше, чем книга дает.

Разбирая взгляды Герцена, автор правильно указал на большое влияние, оказанное на Герцена классическим трудом Токвиля об американской демократии. Америка и Россия рисовались Токвилю, как два исполина, отправные точки которых разны и пути которых противоположны, но из которых каждый предназначен решать судьбы одной половины земного шара. Эта «гео-политическая» концепция Токвиля близка сердцу не всегда западнического западника Герцена. Он приветствует Америку (особенно после 1848 года) только по скольку она совлекла с себя мешанского ветхого Адама и не является «исправленным иданием старой Европы». Этим и объясняются те сдвиги и перемены во взглядах Искандера на Америку, которые так смущают автора (стр. 29-30). Для декабристов американская декларация независимости 1776 года, билль о правах и федерализм заслоняли всю социально-экономическую суть Америки. Несколько десятков лет позже Герцен уже стоял лицом к лицу с рабовладельческим американским Югом и разворачивающейся индустриализацией Соединенных Штатов. Он боялся социального провала Америки, подобного европейскому провалу 1848 года, потому что мятежный Искандер был не только политическим радикалом. Вот основа видимого разнобоя и кидания Герцена из стороны в сторону. Это недостаточно выявлено автором.

И еще одно упущение автора. Он, правда, цитирует знаменитую статью Герцена «Америка и Сибирь» в «Колоколе» от 1-го декабря 1858 года. Но он, очевидно, не дал себе труда прочесть американскую статью, на которую реагировал Герцен. Эта статья была напечатана в филадельфийской газете «Evening Bulletin» 8-го октября того же года. Статья эта была написана по поводу заключения русско-китайского договора 1858 года о расширении Сибири до Амура, ставшего границей России с Китаем. Приобретение всей этой новой огромной области, начатое и проведенное графом Николаем Муравьевым (кузеном Бакунина), живо обсуждалось американской прессой. Американская газета считала, что и Америка должна отпраздновать это событие, обещающее торговый и промышленный расцвет Восточной Сибири, в чем Америка заинтересована как ближайший сосед России. Статья заканчивается почти герценовским утверждением о предустановленной солидарности обеих стран: «Когда Тихоокеанская железная дорога будет у нас закончена, а Россия будет иметь на этом океане открытый берег, — тогда оба народа смогут обратить свои взоры друг к другу: американцы на запад, а русские на восток через Тихий океан, и тогда оба повернутся спиной к Европе». Только в

свете этой американской статьи становится понятной и ответная статья Герцена, в которой мы находим следующее изумительное сопоставление Америки и России: «Обе страны преизбыточествуют силами, пластицизмом... Обе расплываются на бесконечных долинах... Обе с разных сторон доходят через страшные пространства, помечая везде свой путь городами, селами, колониями, до берегов Тихого океана, этого Средиземного моря будущего».

Автор живо описал впечатления Бакунина, прнехавшего в Америку в 1861 году, после его побег из Сибири. Автор извлек все возможное из скудного материала. Характерно для Бакунина, что он отметил политические преимущества Америки и прежде всего ее федерализм, независимость личности и провинциальное самоуправление. Вместе с тем, он, конечно, осудил «банальность материального благополучия» Соединенных Штатов. После своего возвращения в Европу в связи со своей политической деятельностью он больше останавливается на социальном вопросе и на положении наемного труда и рабов в Америке.

Из всех российских радикальных публицистов середины 19-го века, Чернышевский дал наиболее солидную и уравновешенную оценку Соединенных Штатов. Центр тяжести книги несомненно составляют три превосходных главы, посвященные этому мыслителю. Здесь автор подробно разбирает вопрос отмены рабства в Америке. При этом он устанавливает пристрастия и искажения Чернышевского. Но ему не всегда удастся раскрыть мотивы, руководившие русским публицистом. Так, например, он правильно указывает, что нельзя сводить историческое появление южно-американского плантаторства к его преемственности от старой английской аристократии (стр. 99-100). Но автор неправильно объяснил причину тенденциозных преувеличений Чернышевского. Последний делал это не для того, чтобы превознести благородство «свободного Севера» над рабовладельческим Югом, а для того, чтобы показать, что нет существенного различия между плантаторами южных штатов, как потомков французско-английского дворянства, и русскими помещиками, потомками старых бояр и дворян. Так как для русского радикального публициста крепостное право в России еще не было целиком отменено февральским актом царского правительства в 1861 году и предстояла еще длительная борьба для полного освобождения крестьян, то он хотел подстегнуть эту русскую борьбу показом массовой борьбы свободного Севера против рабовладельческого Юга. Ведь это с легкой руки Герцена и Чернышевского русских помещиков стали называть «плантаторами». Почему же тогда и американских плантаторов не назвать «помещиками-аристократами», забывая о мануфак-

турном, полу-фабричном характере южного рабовладения, частью основанного на банковском кредите?

В области конституционной и административной Чернышевский, располагая большой фактической осведомленностью, тем не менее также не освободился от явной тенденциозности. Автор правильно отметил «забавные ошибки» и «самообман» Чернышевского в этой области. Но и здесь Чернышевский руководился идеологической предвзятостью: в России он стремился к федерализации и был противником централизации; вот почему он так высмеивает Токвиля, установившего в Америке тенденцию развития от федализма к централизму. В огромной рецензии на перевод книги Токвиля, напечатанной в «Современнике» (1861 году, № 6), Чернышевский проводит аргументы из русской истории для опровержения взглядов Токвиля.

В главах, посвященных Лаврову, автор останавливается на его идеализации американского федализма и на его разочаровании в Соединенных Штатах, как стране активной борьбы за социализм. Попытки Н. Чернышевского и балтийца Гайнса (Фрея) устроить социалистические поселения в Америке имели случайный характер, по сравнению с органическим «хождением в народ», и не обогатили русскую радикальную литературу об Америке.

Не будет излишним отметить, что книга совершенно не упоминает влияния учения Генри Джорджа на русскую радикальную мысль, в частности народническую.

Если верно заключительное утверждение автора (стр. 220), что после девяностых годов русское революционное движение, становившееся все более марксистским, потеряло вместе с тем и последние остатки американских «иллюзий», то не менее верно, однако, и то, что советский марксизм не мог за тридцать лет избавиться от давления не-иллюзорной американской действительности, ее экономической и политической мощи.

М. Лазерсон

АНДРЕЙ СЕДЫХ «Звездочеты с Босфора». Рассказы. Нью-Йорк, 1948. Печатано типографией Бр. Раузен, Нью-Йорк.

После обширного для такой небольшой книги предисловия И. А. Бунина, трудно что-нибудь новое отметить в книге рассказов Андрея Седых. Бунин как будто всё сказал, подчеркнув легкость формы, неподдельную простоту, талант наблюдательности, живость, юмор, — и все это «без единого фальшивого слова».

Я бы прибавил к этому перечислению достоинств один упрек автору: он не дает себе воли, не доверяет своему дарованию, и как бы подавляет в себе беллетриста. В результате читатель не столько задумывается над его творчеством, сколько умиляется им или отдыхает на нем.

Одно можно сказать — что с книгой Андрея Седых читателю скучно ни на минуту не будет. К несносному роду скучной литературы она никак не принадлежит. При всей разноценности включенного в нее материала, читатель проглотит ее залпом и не пожалеет об этом. Автор воспринимает действительность открытыми глазами, не морализируя, не навязывая никакой философии — зато с умом и живостью, с легкостью и улыбкой. И в свете этого своего светлого отношения к жизни подает Андрей Седых и человеческую драму, и детские воспоминания, и бытовой анекдот. Цветиста и пестра действительность, присмотримся же к ее узору сквозь призму непритязательных и в то же время по особому очаровательных рассказов Андрея Седых.

В книге собрано 16 рассказов, различных по теме, по жанру, по манере письма. На первое место я бы выдвинул рассказ, давший название сборнику, посвященный константинопольской эмигрантской молодежи начала 20-х годов и весь проникнутый юмором; затем один из крымских очерков, «Гидра, Керчь», в котором как бы осязаешь быт с его пряными запахами; американский рассказ «Наследники Майка» и два детских рассказа, «Парад Алле» и «Бартыжники», опять на фоне Крыма, о котором автор то и дело вспоминает.

Нужно отметить и три рассказа, которые, при всей своей легкости рисунка, полны внутренней серьезности: это — «Хадшарма», крымский очерк о татарской свадьбе, в котором звучит щемящая душу нота обреченности; «Пашино счастье» — эпопея типичной няни из Москвы, разделившей судьбу русских эмигрантов, вышедших из народных глубин; наконец, «Миссис Катя Джэксон» — уже современная эпопея молодой девушки из ди-пи, которую спасает от насильственного увоза на постылую родину фиктивный брак с британским офицером. Что объединяет эту группу рассказов — это про-

чувствованное изображение в лирической манере страдающей личности, этой беспомощной игрушки в руках фатума или случая.

Особняком стоит замечательный рассказ «Мой легионер», колоритный, жанровый, солдатский рассказ о нелегальной поездке в СССР. Остальные рассказы большей частью построены на анекдоте, носят газетный, фельетонный характер. Но читать без улыбки их невозможно.

Григорий Аронсон

ПО ПОВОДУ ЗАМЕТКИ Б. С. ИЖБОЛДИНА

(Письмо в редакцию)

В заметке «Памяти М. В. Бернацкого», помещенной в 17-й книге «Нового Журнала», Б. С. Ижболдин говорит, что Бернацкий «звел государственную монополию на вывоз зерна» и что «правые круги были недовольны тем, что Бернацкий запретил частный вывоз зерна». И то и другое — не совсем верно.

Вывозом зерна — тогда единственно реальной валюты, которою оплачивались все необходимые для армии заграничные поставки, — ведало не Управление Финансов, а Управление Торговли и Промышленности. В виду сравнительной ничтожности запасов хлеба на территории, где действовала власть нашей армии, надо было беречь каждое зерно. Поэтому немедленно после назначения меня начальником Управления Торговли и Промышленности я предложил Главнокомандующему издать приказ, направлявший весь вывоз зерна за границу только через это Управление. Чтобы преждевременная огласка этого намерения не повела к заключению новых — возможно даже фиктивных — договоров, эта мера не обсуждалась в совете при Главнокомандующем, и Михаил Владимирович, как и все другие, узнал о ней только тогда, когда приказ был опубликован и вступил в силу. Назвать ее государственной монополией едва ли правильно. Продавать и покупать зерно в пределах территории белой армии мог продолжать свободно всякий и только для вывоза его за границу экспортер получал разрешение, если 80% собранного им зерна он переуступал в распоряжение Управления Торговли и Промышленности по твердой цене — 2 рубля за пуд. Весь груз направлялся по адресу уполномоченного управления (С. Н. Гербея) в Констан-

тинополе и там, если он и собственник 20% находили вместе покупателя, груз продавался целиком (это было важно во избежание расходов при перегрузке пароходов) но каждый мог продать свою часть и отдельно.

Можно ли это назвать монополией? Тогда на это так не смотрели, и потому «правые» круги, к каковым принадлежал в качестве председателя Союза земельных собственников Таврин и я сам, не чувствовали себя никак стесненными в своих правах, да и цена на зерно, установленная приказом была скорее выше, чем ниже рыночной. Недовольные новой мерой, конечно, были, но это были только прежние экспортеры, баснословные прибыли которых были теперь сильно урезаны. Во всяком случае принятая нами мера нашла полное признание со стороны особого совещания, созванного Главнокомандующим, с участием ряда лиц, приехавших для этого специально в Севастополь (П. Л. Барк, В. И. Гурко и др.).

Влад. Налбандов.

ОТ РЕДАКЦИИ

Печатая в кн. 18-ой «Нового Журнала» рассказ А. Н. Толстого «Никита Шубин», редакция сообщала: «Насколько мы знаем, в печати он до сих пор не появлялся». К сожалению, в этом вопросе редакция оказалась недостаточно осведомленной, в чем и приносит свои извинения читателям журнала. Выяснилось, что рассказ был напечатан — правда, под другим заглавием («Необыкновенное приключение Никиты Рощина») и в несколько другой редакции (с другим «эпилогом») — отдельным изданием в Париже в 1921-ом г. и в сборнике «Лунная сырость» в Берлине в 1922-ом г.), было и советское издание этого сборника.

Повидимому полученная редакцией из Лондона рукопись представляет собою ранний вариант рассказа, позднее переделанный автором. Помимо этого обстоятельства, редакция утешает себя тем, что рассказ А. Н. Толстого был забыт даже некоторыми специалистами по русской литературе, к которым она обращалась за справкой. Вполне возможно что для большинства читателей журнала рассказ явился «новым» и что поэтому они не отнесутся слишком строго к допущенной редакцией оплошности.

ПОПРАВКИ

В 17-ой кн. «Нового Журнала». в «Коне рыжем» Р. Гуля, на стр. 85-ой, 1-ая строка сверху, следует читать: «Новочеркасск» вместо «Новороссийск».

В 18-ой кн., в статье М. Карповича, на стр. 152-ой, 21-ая строка сверху, следует читать: «палатской Польши». — В статье В. Вейдле, на стр. 182-ой, 8-ая строка сверху, следует читать: «ни ее. ни чьим либо» вместо «ни ее, ни чьей другой». — Заглавие отдела «Библиография» следует перенести со стр. 342-ой на стр. 330-ую.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Периодическое литературно-политическое издание

•

Цена одной книги 2 доллара 75 центов.

Цена трех книг 6 долларов 50 центов.

•

Адрес редакции и конторы:

Mrs. M. E. ZETLIN, 112 West 72nd Street,
New York 23, N. Y.

Telephone: ENdicott 2-9893

ENdicott 2-4800

Там же принимается подписка
